

Неман

3

МИНСК • 1977

НАШ ТРУД ТЕБЕ, РОДИНА!

К 60-летию Великого Октября



Нравится молодым работницам с Минского полиграфкомбината имени Якуба Коласа их работа, потому и улыбаются они так радостно. Машинистка-фальцовщица Татьяна Сотникова, которую вы видите на снимке справа, уже 16 лет работает в печатном цехе предприятия. На несколько лет позже своей подруги пришла сюда Галина Курашевич, тоже освоившая профессию машинистки-фальцовщицы. Обе они активно участвуют в общественной жизни: Галина Курашевич — член цехкома печатного цеха, а Татьяна Сотникова — член партбюро комбината.

И когда у вас в руках окажется продукция полиграфкомбината имени Якуба Коласа — давно желанная книга, красивый альбом или хорошо оформленный блокнот,— вспомните добрым словом этих работниц. Они очень стараются, чтобы их работа приносила людям радость.

Фото А. Коледы.

Алесь БАЧИЛО



РОДНИК

И днем, и ночью в зарослях лещины
Журчит вода
В зеленой тишине.
А в глубине,
На золоченом дне,
Желтеют камни, корешки, песчинки.

Отмыла их глубинная вода,
Что чистоту блюдет и в зной и в стужу.
Лист упадет,
Стрекозьих крыл слюда —
Струя живая оттолкнет их тут же.

У родника один закон в цене —
Своей он сути
Сохраняет верность:
Он чистым остается в глубине,
А мусор весь выносит на поверхность.
Вот почему привычка нам дана:
Когда мы через край пьем,
По старинке,
Обычно воду черпаем со дна,
В ведре —
Сдуваем сверху все соринки.

Наши матери...

Поныне горе и тревога
Еще приходят в ваши сны...
О наши матери, как много
Вы пережили в дни войны.

На запад — в ночь — смотрели хаты,
Надежду робкую тая...
А где-то падали солдаты,
Солдаты... Ваши сыновья.

С кровавых далей, словно чуда,
Вы ждали первенцев своих.

Но приходили к вам оттуда
Лишь похоронки вместо них.

Серела, как шинель, дорога, —
С нее вы не спускали глаз.
Вас горе старило до срока,
Одна беда сгибала вас.
Вы злую долю проклинали,
Но верили судьбе своей.
И сколько жили — столько ждали
Своих погибших сыновей.

Земной поклон вам от порога —
За вашу веру в трудный час...
О наши матери,
Как много
Вам пережить пришлось за нас!

Фронтовой альбом

Мы памяти павших навеки верны —
Нам боль фронтовая знакома...
Как будто суровую память войны,
Листаю страницы альбома.

В архивах военных стареет война,
Историей стали походы.
Успела и нас побелить седина,
А вас... не состарили годы.

Как будто нарочно вам доля-вдова
Отмерила солнца немного:
Кому восемнадцать,
Кому двадцать два
Весеннего юного срока.

А вам так хотелось и жить, и дружить,
А вы же о счастье мечтали...
Как горько далекие дни ворошить, —
Слезами туманятся дали.
За лесом бледнеет и гаснет заря,
Седой небосклон остывает...
А память о прошлом, как пламя костра,
Прорвавшись сквозь дым,
Оживает.

В архивах военных стареет война,
Историей стали походы.
Успела и нас побелить седина,
А вас...
не состарили годы.

●

Еще ржаным теплом несет с полей.
А в небе
тают крики журавлей...
Вдруг сердце будто сквозняком продует —
Вернутся ли, крылатые, опять!
Отлет осенний, —
кто тебя придумал,
И почему так больно улетать!

Хотя и ярче светят звезды юга
И солнце щедро свет на землю льет,
Но плачет журавлиная разлука
Над нивою осенней
каждый год.
С родных гнездовий нелегко срываться,
Искать тепла чужого вдалеке...
Там даже сны
не так, как дома,
снятся.
Там плачет сердце
по ночам
в тоске.

Березовая роща

Березки, березки... Так празднично белы,
Красуются — каждая, как на подбор.
Посмотришь, и кажется — чем не капелла!
Чего же ты ждешь! Приходи, дирижер.

Но нет дирижера...
В сто тысяч солисток
Капелла встречает безмолвием ночь.
Лишь вздохом порой откликаются листья,
Не в силах обиды своей превозмочь.

Причина, конечно же, есть для обиды.
Вздыхают березки в бессилье своем:
Иные от солнца ветвями прикрыты,
Другие все время купаются в нем.

При доле неравной — неравные силы —
Одна, поглядишь, высока и стройна,
Вторая согнулась...
Ее искривили
Залетные ветры — засохла она.

Одной красоваться заметно и смело,
Второй засыхать до поры на корню...
. . . .
А издали все они празднично белы —
Распахнуты солнцу
и теплому дню.

Перевел с белорусского Иван БУРСОВ.

Боязнь похвалы

Я не знаю той му́ки,
Чтобы трусить хулы,
Но боюсь, как гадюки,
Я пустой похвалы.

«Отвяжись!» — что есть силы
Каждый раз ей кричу.
Чтоб меня закружила —
Не хочу, не хочу...

Сто́ит только поддаться —
Все наперекосяк!
Разве буду стараться,
Если ладно и так!

Разве с нею капканы
На пути обойду!
С ней, как с бабою пьяной:
Шаг — и прямо в беду.

Приворотное зелье —
Обольстит, опоит,
Хуже всякого хмеля
В голове зашумит.

А обчистит сусеки —
Повернется спиной,
И уж точно навеки
Словно станешь иной.

Не в моем это вкусе —
После хаять житье...
Потому и боюсь я,
Как гадюку, ее.

●

Я слышу: «Ты не дипломат:
Открыт — что в мыслях, то и в слове...»
Не дипломат! Ну что ж, я рад —
Не вижу ничего плохого!

Без надобности мне обман,
Пусть те пускаются на хитрость,
Чья голова — как тот карман,
Откуда стыдно мусор вытрясть.

Кого-то гонишь ты за дверь,
Он надоел, как боль зубная,
Но на словах ему: — Поверь,
Я гостя лучшего не знаю!..

Специалист по части врак
Вьюном обязан извиваться,
И коль обманывать, то так,
Чтобы вралем не показаться.

А я, как мыслю, говорю —
Хребет не думаю ломать я:
Конечно же, не дипломат я,
За комплимент — благодарю!

Перевел с белорусского Федор ЕФИМОВ.

Алена ВАСИЛЕВИЧ



ГОВОРИЛИ ТРИНАДЦАТЬ МИНУТ

Рассказ

Рисунки Л. **Михайлова.**

1.

НА ДРУГОМ КОНЦЕ провода — за шестьсот километров — никто не откликался, и телефон требовательно звонил в гулкую тишину ночи. Страхов сидел в кресле возле телефонного столика и ждал: вот встает с постели, вот торопливо набрасывает что-то на плечи... Сейчас возьмет трубку. В его воображении возникала до мелочей знакомая комната: почти на таком же, как у него, полированном столике — такой же неустойчивый модерновый телефонный аппарат; рядом пианино с кипой нот, книжная полка и тахта с торшером. Ну и, разумеется, телевизор. Стандартный современный интерьер, стандартная современная квартира... Странно только, что в такой поздний час никто там не откликался.

— Абонент не отвечает, что будем делать?

И правда, что делать? Страхов машинально взглянул на часы: половина первого.

— Пожалуйста,— заторопился он, боясь, что телефонистка повесит трубку,— давайте еще разок попробуем... На час... Мне необходимо дозвониться...

— Ждите, повторим,— безразлично перебила его телефонистка и повесила трубку.

Испытывая глухое раздражение, Страхов встал и закурил.

Интересно, где можно так поздно пропадать?.. Всей семьей. Страхов прошел в свою комнату и настежь распахнул окно. Он курил, вдыхая всей грудью настоенную на липовом цвете ночную теплынь и с высоты своего пятого этажа смотрел через улицу на мраморных львов по обе стороны величественной лестницы, ведущей к тяжелым дверям музея восточных искусств. Над львами, над громадой музея, над лохматыми липами струилось подсвеченное прожекторами мелан-



холическое зеленое сиянье. Он прожил в соседстве с этими львами больше двадцати лет, с тех самых пор, когда вскорости после войны демобилизовался и получил квартиру в этом доме. Он никогда не мог налюбоваться на это ночное очарование, ему казалось, что он бы увял и зачах, если б лишился вдруг возможности вот так бездумно, как нынче ночью, смотреть из окна на этот таинственный сон мраморных львов...

Так ему казалось и сейчас.

В коридоре пронзительно зазвонил телефон, и Страхов поспешнее даже, чем сам мог ждать от себя, бросился на его зов.

— Алё, Алё! — крикнул он в трубку.

— Я слушаю,— на этот раз очень быстро отозвались там, в шестистах километрах.

— Маргарита?!

— Я сейчас ее позову.— Было такое ощущение, будто говорят рядом, за стеной.— Рита! Рита!..

Страхов ждал. Он знал: вот-вот сердце захлестнет волна голоса, которого он давно не слышал...

— Я слушаю.

— Добрый вечер! Где ты пропадала? И кто это там у тебя?

— Это Тамара.

— Скажи Тамаре Владимировне: я прошу у нее прощения, что не поздоровался... Я не узнал ее голоса.

— Ничего, она не обидится.— Волна была ровная, словно убаюканная в колыбели.

— Где ты была? Тебе не дозвонишься.

— Откуда ты звонишь?

— Из дому, конечно.

— Из дому?.. А что, Антонины Ивановны нет?

— А тебе нужна Антонина Ивановна?

— Нет, разумеется... Но обычно, когда она дома, ты не звонишь.

— Она ночует у Виталия.

— Что-нибудь стряслось?

— Ничего особенного. Алик заболел.

— Что-то серьезное?

— Есть подозрение на корь. А мать на курорте...

Она знала всех, всю его семью. Она знала все.

— Ну, так чего ж ты молчишь?

— Ты давно не звонил. И вдруг...

— Ты не рада?

— Нет, просто...

— Я писал тебе. Ты не ответила.

— Ты присылал поздравительную открытку к праздникам. (Неужели он не писал ей с тех пор, после той открытки?.. А ведь собирался, несколько раз собирался написать.)

— Ты мне так и не ответила: где ты была?

— Мы с Тамарой только что пришли с вокзала...

— Ты ее встречала?

Он тоже знал все и о ней самой, и о ее близких.

— Нет, мы провожали...

— Хлопцев? Кстати, куда ты их на лето отправляешь?

— Их уже не нужно отправлять... Они уже сами! — Он почувствовал в ее голосе улыбку и гордость.

— Саша уже на второй перешел?

— Саша уже на втором курсе и со строительным отрядом поехал в Казахстан.

— И форму, конечно, получил?

— А как же! Форма и эмблема на рукаве: «Студенческий строительный отряд» сто.

— А Микола где?

— Коля со всем своим классом на сельскохозяйственной практике в колхозе.

— Они у тебя молодцы!

— Молодцы,— легко согласилась она.

— Так кого же вы провожали? — Он не расслышал ответа или она не ответила.— Кого вы провожали так поздно?

В трубке слышно было, заспорили, потом послышался твердый Тамарин голос:

— Мы провожали Ритиного мужа.

— Какого мужа? Какой...— Страхов споткнулся на полуслове.

— Мы... провожали... на вокзал... мужа... Маргариты,— отчетливо, будто диктуя, повторила Тамара.

— Будьте добры, Тамара Владимировна... Передайте трубку Маргарите Владимировне... Что это все значит, ты можешь мне объяснить?

— Виктор... Ты давно не пишешь и не звонишь мне.

— Ты забыла, что я делал это и делаю уже почти двенадцать лет!— сдерживая себя, протянул руку за сигаретой Страхов.—Ты забыла!

— Нет, Виктор, я ничего не забыла. И если хочешь, напомню: последний раз ты писал мне — ту самую открытку — три месяца назад. А звонил полгода назад... А не виделись мы с тобой уже два года. С твоей последней командировки...

— И кто же твой избранник?

— Человек... Мужчина...



— Исчерпывающая характеристика. Тебе с ним хорошо?
— Я уважаю его. И верю ему.
— Спасибо за откровенность.
— Я с тобою всегда была откровенна.
— А все же ты это серьезно или... так только?
— «Так»?.. «Такого», Виктор, с меня хватило.
— Захотелось иного?
— Я устала, Виктор.
— А как же я? Обо мне ты хоть вспомнила?
— Я никогда о тебе не забывала.
— Ты мне сегодня дала возможность в этом убедиться.
— Я устала, Виктор.
— И это все, что ты можешь мне сказать?
— А чего ты еще не знаешь?
— Выходит, не все знаю.
— Ты сам прекрасно знаешь, что говоришь неправду.
— Зато ты... Ну что ж, прощай.
— Прощай.
Телефонистка спросила:
— Окончили разговор?
— Окончили.
— Говорили тринадцать минут.

...Телефонная трубка умолкла, и на Страхова, как при стихийном бедствии, внезапно обрушился весь мир.

Он не мог двинуться с места с вселенской тяжестью на плечах. Так и стоял, не сводя глаз с телефона, будто это в его непрочном пластмассовом чреве таилась вся жуткая непоправимость того, что во мгновение ока, словно землетрясение, разрушило не только стены, но и основание всей его жизни. В единый миг. За тринадцать минут. («Говорили тринадцать минут».)

Неверными пальцами Страхов достал из пачки сигарету, похлопал по карманам пижамы — спичек не было — и, все еще отчетливо не представляя и не соглашаясь с тем, что он только что услышал, направился в свою комнату. Спички лежали на подоконнике. Страхов, ломая одну за другой, прикурил и несколько раз подряд жадно затянулся. Его угнетала духота в комнате, и он до пояса высунулся в распахнутое окно.

Львы даже не шелохнулись: как дремали притворно, так и дремлют. И глыба музея не раскололась. И липы, отягощенные росным душистым цветом, были все те же.

Где-то возле парка прозвенел на повороте дежурный трамвай. А внизу, под окном, мелко процокали каблучки и послышался сдержанный мужской смех.

Оказывается, каменным львам и каменному миру не было никакого дела до Страхова.

2.

СТРАХОВ НЕ МОГ найти себе места: то ходил по комнате, то присаживался к письменному столу и сидел, окаменев, машинально выводя пальцем на зеркальной поверхности: «Говорили тринадцать минут... Говорили тринадцать минут... Говорили...»

Он даже не заметил, как выкурил пачку сигарет. Выходил в коридор, подходил к телефону и брался за трубку. В какую-то секунду он

чуть не уступил бессмысленному порыву снова набрать номер междугородной и еще раз позвонить. И любой ценой все разрушить там, где все так неожиданно решилось без него и против него — словно его нет больше на свете... И тут же, понимая безумие этого шага, устало клал трубку. Кому он станет звонить? А самое главное — кому теперь нужен его звонок? Теперь...

Последний раз он звонил ей... Полгода назад?

Страхов шел на кухню, открывал кран и ждал, пока не сойдет нагревшаяся вода. Он пил почти ледяную воду, но и ледяная вода не в силах была залить пламя, испепелявшее его.

«Я его уважаю... И я верю ему...» Его. Ему... Эти слова били по мужскому самолюбию, как пощечина. Отлично, Маргарита Владимировна! Уважайте. Верьте... Правда, мы это тоже слышали. И не только это! Слышали и читали. В устной и письменной форме. И можем повторить и вам самой, и тому, кого вы теперь так уважаете и кому так верите... В наше время расстояние — не помеха, можем до конца выяснить отношения. Стоит лишь заказать, как, скажем, сегодня, телефон. «Добрый вечер... С кем имею честь? Ах, это вы теперь в должности мужа Маргариты Владимировны... Позвольте представиться: неким образом и в известной мере ваш предшественник...»

«Погоди, погоди! Ты обезумел! Шантажировать женщину, как последний мерзавец?.. В твои-то годы!»

Страхова аж прошиб холодный пот. Он зашел в ванную, снял полотенце и принялся вытирать лицо, шею, руки.

«Что это с тобою, брат? Мстить женщине? Мстить за то, что она давно должна была сделать и не сделала лишь потому, что любила тебя?.. Ты же сам отлично знаешь: нет в этом ее вины, а если чья и есть, так прежде всего — твоя».

Последний раз он звонил ей полгода назад. Что и говорить, с годами, с возрастом необходимость писать, звонить, ездить в дальние (шестьсот километров!) командировки... с годами потребность во всем этом слабела, зато крепла уверенность: что может измениться в жизни женщины, на руках у которой двое детей, мальчишек-подростков, а теперь уже и юношей?

И вот, оказывается, изменилось.

Но как же так: не написала, не позвонила, не посоветовалась...

«Ну и дурень же ты, брат! Голова седая, а дурень: кто у кого спрашивает совета, когда такое случается?»

И он опять принимался распалять себя и строил планы, как наказать ее за измену. Он отошлет ей галстуки, подаренные ею (дома сказал, что купил, будучи в командировке). Они еще приличные — глядишь, и сгодятся...

«Ты опять за свое? Ну, брат, и паскудник сидит в тебе...»

Сидит! И не собирается подставлять правую щеку. Галстуки он отправит бандеролью. И янтарные запонки — тоже ее подарок. «Возвращаю с благодарностью...» И еще он отправит...

Что еще? Хватит! Выпей валерьянки, если распустился, как последняя истеричка.

Нет, не хватит! Есть кое-что еще... Есть письма! Полный портфель. «Стихи и проза, лед и пламень» — за двенадцать почти лет. Теперь колесо истории станет крутиться обратно. Каждую неделю, нет, каждый день — по одному — будут возвращаться крылатые вестники к гнезду, из которого они вылетели!

Вам это будет по душе, Маргарита Владимировна? А вашему тому, кого вы теперь так уважаете и кому верите? А он будет вас уважать

и будет вернть вам, встречая изо дня в день эту обратную перелетную стаю?

Вот он, старый, давно уже ненужный, облезлый портфель,— в самом нижнем ящике письменного стола. Его никто там не трогает, никто им не интересуется. (Давно уже никто не интересуется ни бумагами его, ни его сердцем, ни им самим...) Однако, если не лгать самому себе, если как на исповеди перед самим собой,— припомни, когда ты сам перебирал и перечитывал эту трепетную стаю, запертую маленьким ключиком?..

Так чего же ты хочешь?

Он ничего не хочет.

Он хочет только выпустить эту стаю обратно — пусть летит туда, откуда прилетела.

И пока Страхов вытряхивал содержимое портфеля на письменный стол, пока вызволял из постыдного плена дни, месяцы и годы безоглядного чада, призрачных надежд, неосознанной лжи и сознательного умолчания — все эти взлеты и падения скрытой сущности собственной души, которая столько лет вдохновлялась и жила ожиданием вот этих розовых, голубых, белых, а теперь пожелтевших уже конвертов («до востребования...») — все это время на его лице отражалось одно-единственное чувство — жажда мести. Мести и еще раз мести!

Он еще раз встряхнул опустевший уже портфель, чтобы в нем не осталось ни строчки, ни одной даже буковки.

Последней выпала засунутая на самое дно, в самый потаенный уголок, пластмассовая фигурка — копия памятника затопленным кораблям, купленная некогда в Севастополе, куда они ездили вместе с Маргаритой. У Маргариты такая же стояла на рабочем столе. В его доме она выглядела слишком дешевой. Антонина Ивановна — жена — покушалась даже выбросить ее. Квадрига чугунных коней — именной письменный прибор, белопенная Афродита — настольная лампа — и... эта копеечная пластмассовая безделушка... Страхову было жаль этого милого сердцу напоминания, и он запер его вместе с Ритиными письмами в облезлом портфеле.

Теперь он держал его в руках, и этот дешевый пластмассовый сувенир приобретал в его глазах значение пророческого символа: памятник затопленным кораблям. Затопленным...

Все затонуло в единый миг. За тринадцать минут.

...Ему вдруг отчетливо припомнился тот пестрый севастопольский киоск, набитый разной мелочью. Маргарита впервые была в Севастополе, и ей хотелось привезти оттуда сувениры всем друзьям и знакомым. Она и ему накупила разных буклетов и проспектов. Но самым дорогим ей казался вот этот пластмассовый памятник затопленным кораблям. Хоть и был-то он всего-навсего миниатюрной копией памятника величественному прошлому — в ее глазах это не имело ни малейшего значения. Скорее всего потому, что в Севастополе в морской пехоте воевал и погиб в мае сорок четвертого года ее старший брат.

Они привезли в Севастополь розы, и Маргарита положила их к подножию обелиска Славы на Сапун-горе.

— Может, и он тут лежит... Мама до самой смерти все не верила, все ждала... Все: «Мой Валюша... Мой Валюша...»

...У Графской пристани снимались массовки, и они тоже постояли в толпе любопытных. Цокали по асфальту извозчичьи пролетки, толпились какие-то потертые барыни в облезлых горжетках и шляпах с вуалетками; растерянно сновали распаренные, в шубах нараспашку господа в котелках; висла на руке старого усатого генерала и кудахтала обрюзг-

лая, в дорогом палантнне генеральша; мелькалн в этой разномастной толпе офицеры в шнтых золотом николаевских погонах.

«Га-а-спада! Га-а-спада!» — нстернчно взывал к толпе молоденькнй поручик, размахнвая маузером.

Шли обычные киносъемки, а наблюдать эту киношную кухню было любопытно.

Они отсталн от своей турнстской группы, и Страхов сам показывал Рнте город, где ему был знаком каждый камень. Он до войны тоже служнл на Черноморском флоте, служил в Севастополе. Страхов н Рнта гуляли по Прнморскому бульвару, долго стоялн напротив настоящего Памятника затопленным кораблям. Рнту все прнводнло в восторг, она была захвачена новизной впечатленнй. Страхову же вспомнналась его молодость, его служба в этом прекрасном белокрылом городе. Им обонм в этот день больше хотелось молчать, чем говорнть, н онн былн рады, что отбилнсь от своего гомонлнвого туристского табора.

А когда возвращались из Севастополя, Маргарита достала нз сумки этот маленький пластмассовый сувенир н, протягнвая его Страхову, попросила:

— Пусть он всегда стонт у тебя на письменном столе. Как напоминанне.

...В ту осень на удивление долго цвела японская мушмула. Уже н декабрь был на дворе — правда, тоже уднвнтельно сухой и солнечный,— а крупные желтоватые соцветня в тугнх ладонях восковой листвы все набнралн н набнрали снлу...

Тогда, в ту крымскую осень, нн он сам, нн она ни за что не повернли бы, что когда-ннбудь может наступить день, когда этот пластмассовый памятник обретет такой горький пророческий смысл.

3.

Страхов даже не заметнл, как снова подошел к распахнутому окну.

Он представнл себе, как возвращалась час назад с вокзала Рита. Как она прощалась в вагоне с тем, другим... Как глядела ему в глаза (у него сжалось сердце — так зримо предстал перед ним этот ее взгляд!). Как поправляла на нем галстук н легонько проводнла пальцамн по внскам. А то еще была у нее прнвычка — если долго нли слншком пристально смотришь ей в лнцо, закрывать тебе глаза ладонями. От этнх ее всегда холодноватых ладоней надолго оставался на лнце едва уловимый запах духов... Она всегда боялась, как бы поезд не тронулся без предупрежденяя. И однако всего страшнее было для нее само прощание... И вот уже поезд трогается, и она нспуганно целует его на перроне последний раз, а потом идет, все быстрей н быстрей, рядом с вагоном. А потом все отстает, отстает. И наконец остается на перроне одна. И стоит, пока не скроется последний вагон. И лншь тогда, не оглядываясь больше, медленно ндет в помещенне вокзала. И там, в книжном кноске, покупает конверт и открытку и отправляет вдогонку — до востребованяя — однн-единственный вопрос: «Как мне быть без тебя?..»

Сколько такнх открыток-вопросов летело ему вдогонку. Получая нх, он радовался н немного грустнл вместе с нею. И в то же время был горд своей мужской властью над ее женским сердцем... И никогда, однако, не садился пнсать ей здесь же, на почте. Ему нужно было для этого соответствующее настроение н место.

Он знал, что печаль, тем более женская, имеет счастливое свойство развеиваться. Иное дело, что сам он без этой женской печали ощущал бы одиночество, что ему эта печаль приносила словно бы очищение, делала его лучше (во всяком случае, ему самому так казалось).

Однако настолько ли становился он лучше, чтобы понять и пожелать избавить от этой печали женское сердце? Он не лгал себе, перед собственной совестью он был правдив: на это он был не способен. Ему было хорошо так, как все сложилось и как все шло само по себе.

Заходила ли она сегодня на вокзал, покупала ли открытку и посылала ли ее вслед тому, другому?

Но к чему ей та открытка, если он вернется к ней и останется с нею. Навсегда?!

Страхову стало зябко. Он вернулся к столу и из груды конвертов взял первый попавшийся. Вынул свернутый листок — из ученической тетради в клеточку — и сперва бегло, не вникая в смысл, а затем постепенно углубляясь в чтение, незаметно перенесся в тот мир, которым и сейчас еще дышал этот листок.

«Ты не представляешь себе, какую гору я свалила с плеч! С января в нашем доме идет ремонт. А сейчас уже сентябрь... Все мы за это время переболели, никто не ходил в отпуск. Наш гастроном ежемесячно перевыполнял план: наперегонки мы скупали «коленвал» и «чернила» (видишь, как далеко я пошла!), лишь бы угодить нашим мучителям-мастерам. А они — чего они только не выделывали. Придут водопроводчики, например, и перекроют на неделю воду, и мы таскаем воду из колонки за полверсты. А маляры разведут краски, все заляпают и тоже исчезнут... Велели купить двенадцать банок краски, а сами половину отнесли и продали соседке с нижнего этажа, и я покупала снова под угрозой, что они бросят работу и перейдут в соседний подъезд. А потом попробуй дождись их возвращения!.. Моя соседка по площадке, жена прокурора, смеется надо мной: «И что это вы, Маргарита Владимировна, как не при Советской власти». У нее ремонт начался, как и у меня, в январе, а в феврале уже все было сделано. А у меня... Хорошо быть женой прокурора.

Как твои дела? Как жизнь? Твое последнее письмо, как всегда, было сердечным и милым. Спасибо... Уже хлопцы ломятся в дверь. Забыли ключ дома. (А звонок — что-то с ним сделалось — не звонит.) Пойду открывать и кормить скорее своих хищников... Целую. Маргарита».

...Ему не стоило труда представить себе тот, давешний ее капитальный ремонт. Теперь она смеялась над собой, но это был смех сквозь слезы.Страхов еще раз пробежал письмо глазами. Как ей нужна была во время ремонта мужская помощь и поддержка! А ведь не жаловалась. Написала, когда все уже свалилось с плеч... Ну, а если бы и пожаловалась? Если бы даже позвала?.. Он ведь тоже никогда не был избавлен от своих дел и забот...

Взял еще один конверт. Подержал в руках и стал читать.

«Сегодня исполнилось ровно шесть лет с того дня, как мы с тобою вместе. Вместе, хотя у меня нет абсолютно никакого права сказать, что ты мой, а у тебя никогда не хватит отваги сказать то же самое обо мне... Признаюсь честно: иной раз я чувствую такую усталость от этой безнадежной дороги... Если ты что-либо придумаешь, напиши. Хотя что тут можно придумать?

Сколько еще осталось Виталию? Не будет ли пересматриваться его дело? Ах, бедный, бедный ты мой человек...»

И приписка внизу: «Ничего не надо придумывать и искать. Я остаюсь с тобой».

О чем он мог тогда думать, что мог искать? Он три года не знал, на каком свете живет, пока Виталий отбывал срок заключения. Он не смел смотреть людям в глаза: сынок только что назначенного главного инженера завода был участником угона «Волги».

Жена отказалась идти в суд («Там теперь все решат и без меня»). И он один должен был пройти все круги ада.

Маргарита приехала на другой день после суда. Как ему нужны были тогда ее участие и поддержка! Те черные дни его жизни были бы еще чернее, если бы не эти вот ее конверты... Он просунул руки под бумажную груду на столе, будто взвешивал таящееся в ней содержимое.

И снова механически раскрыл еще один конверт:

«Сегодня у Коли день рождения, и, чтобы не толочься на кухне и не устраивать «банкета» (по этому поводу мы в прошлом году пировали), мы набрали еды и все втроем на целый день закатились на озеро. Ребятам озеро не в новинку, а я, представь себе, за всю жизнь очутилась тут — это в десяти-то, можно сказать, шагах от дома — впервые. Известное дело, отстояли часа полтора в очереди за лодкой, зато уж, дорвавшись, не выпустили ее из рук до самого вечера. Здорово было! Прежде всего, я научилась грести (ребята оба гребут отлично!). Мы причаливали и высаживались на необитаемых островах и устраивали в джунглях охоту на тигров и диких слонов; мы утоляли жажду соком кокосовых орехов, а по наскальным рисункам и по раскопкам разгадывали происхождение здешних цивилизаций, которые своим открытием обязаны нам! Завершилось все тем, что меня, белую женщину, схватили туземцы и повели к своему вождю. Вождь, увешанный ниже пояса листьями папоротника, сидел в вигваме посреди зарослей малинника и решал мою судьбу: подарить мне жизнь или бросить живьем в костер?.. И поскольку вождем был наш сердобольный Сашка, судьба моя, как видишь, решилась счастливо. Это событие мы, как и требовал ритуал, отметили дикими плясками и пением у костра... А потом навалились на сумки с едой и очистили все до последней крошки!

Мне кажется, что за сегодняшний день с этими моими дикарями я помолодела на десять лет... Я все же счастливая! Ведь правда?»

...Страхов это знал: она была счастливая мать. Его жена этого счастья от детей не изведала. Как, между прочим, не изведала она счастья и с ним, с мужем. Между ними давно уже не существовало тепла и искренности. У них всегда были надежный достаток и материальное благополучие. За ним не водилось привычки ограничивать и тем более проверять расходы жены. Она же, ни в чем не испытывая острой нужды, умела тратить деньги не только с размахом, но и со вкусом. Оба они любили в жизни удобство и комфорт, и, если поглядеть со стороны, все у них было «как у людей»: мой муж, моя жена... И в то же время каждый из них жил своей собственной жизнью, отгороженной от другого стеной молчаливого понимания, что стену эту разрушить уже невозможно, да и нет нужды ее разрушать.

Может, потому и дети, сперва обо всем только догадываясь, а потом уже и понимая все это, может, потому и дети выросли у них такими. Сыну ничего, кроме денег, от родителей не было нужно. Дочь тоже, хотя и была уже замужем и имела собственных детей, смотрела на мать — занятую на службе важными делами, немолодую женщину — не более как на домработницу.

Дети не уважали родителей, а они, родители, не могли понять, отчего у них выросли такие дети. И они завидовали счастливым родителям.

Страхов всегда завидовал Маргарите. Завидовал с той самой первой их случайной встречи, когда ее сыновья были еще совсем маленькими.

Будучи в командировке, он воскресным днем зашел пообедать в летнее кафе в городском парке. Как обычно, все столики были заняты. Он обошел зал и лишь в самом углу, у окна, нашел один незанятый стул. Правда, на сиденье лежала дамская сумочка. Она, должно быть, принадлежала женщине, сидевшей за столом с двумя мальчуганами — по обе стороны от нее. (А возможно, была и другая владелица, которая в этот момент куда-то отлучилась.) Страхов стоял поодаль, колеблясь, спросить про это место или нет. Женщина и дети заметили его нерешительность, и мать, сказав что-то старшему, показала глазами на пустой стул. Мальчик встал, взял со стула сумку и передал ее матери. И оглянулся на Страхова. И они все трое как-то очень схоже и одинаково доброжелательно посмотрели на него и улыбнулись.

Он тотчас подошел и, обращаясь к женщине, попросил разрешения сесть за их столик.

На первых порах его присутствие заметно сковывало их: мальчуганы приумолкли и лишь смешливо переглядывались темными, очень похожими глазами. Они и подстрижены были одинаково — оба с коротенькими челками, и светлые костюмчики на обоих были одинаковые, и сандалии с белыми гольфами. Разница в возрасте у них тоже была невелика: одному, наверное, лет пять, второму—семь.

Когда подали мороженое с клубникой, оказалось, что Страхову и старшему мальчику досталось по четыре ягоды, а младшему и матери — всего по три. Ягоды были крупные, красные, сочные, с яркими зелеными хвостиками... Соблазнительно на вкус и красиво: белый, розовый и желтый комочки мороженого, а поверх клубника — глаз не отвести...

И младший не выдержал:

— Мама, у Сашки четыре...— наклонился он к материному уху.

— Правда? — вроде бы удивилась мать (причем удивилась вслух), переводя взгляд со старшего сына на младшего. И задержала взгляд на младшем.

Тот опустил глаза.

— Это маме! — сказал старший и поменялся вазочками с матерью.

Лицо у младшего прояснилось. И мать не стала отказываться, возражать, и лишь поблагодарила старшего сына.

— Может, мы с Колей поменяемся? — понимая силу соблазна и не зная, как лучше в этой ситуации разрешить вопрос, обратился к женщине Страхов.

— Нет-нет! Взрослым — по четыре, а детям — по три. Пока они еще не взрослые.

Чувствовалось, что это был неписаный закон семьи и нарушать его никто не был вправе. Страхов даже смутился. У него в семье закон был иной: младшему уступал старший, в том числе и взрослые. Потому что он — младший...

Из кафе они вышли вместе. По дороге, в цветочном павильончике, женщина купила белых нарциссов, и Страхов проводил их и распрощался: они собирались ехать на кладбище. Он не отважился тогда спросить, кто у них там покоится и кому эти цветы. И они ему ничего не сказали.

Автобус тронулся, и мальчики замахали ему через окно руками. Женщина тоже едва приметно кивнула.

Страхов постоял немного, посмотрел вслед автобусу и медленно направился к своей гостинице.

А назавтра встретил эту женщину в кабинете главного инженера на заводе, куда приехал в командировку...

Он хотел найти первое ее письмо, хотел перечитать все первые письма, что она писала ему. Торопливо, нервно заглянул в один конверт, во

второй, третий... И никак не мог найти в бумажной груде того ее письма, тех ее писем. Взгляд его задержался на синем листке почтовой бумаги. «Только любовь дает в этом мире утешение и силу жить дальше, а без нее эту силу взять неоткуда...» Это не мои слова, это слова писателя, которого я очень люблю. Мне кажется, что они написаны обо мне...»

— «Написаны обо мне...» — вслух повторил последнюю строчку Страхов.— О ней? А обо мне разве — нет?

И вовсе уже без всякой связи возбужденная память его, словно прожектор, выхватила самые первые шаги их сближения, самые первые минуты, когда они понимали друг друга по глазам, по каким-то вскользь оброненным словам, по растерянности и нерешительности, как будто оба были совсем еще юными — без опыта прожитых лет.

...Он дождался конца рабочего дня и пришел встретить ее на проходной. Он боялся не узнать ее и потерять в толпе. Боялся, что у нее могут возникнуть неотложные дела, которые ее задержат, или наоборот, по делам она могла раньше уйти с завода...

Она была в светлом полотняном костюме, украшенном скромной вышивкой, и, стоя вблизи проходной, он жадно разглядывал, ошибаясь и надеясь, все светлые женские костюмы. Поймать лицо в стремительном людском потоке было труднее. К тому же лицо у нее было очень обыкновенным.

И пока выливался из проходной этот людской поток, он невольно все спрашивал себя: а что он ей скажет?..

Она вышла, когда поток уже схлынул, когда уже совсем не надо было напрягать взгляд и внимание... Она почему-то показалась ему очень мало похожей на себя вчерашнюю и на ту, которую он встретил утром в кабинете главного инженера. Летняя шляпа с отогнутыми книзу полями меняла ее облик, придавая ей ту женскую привлекательность и загадочность, которые действуют на воображение мужчины иногда сильнее, чем самая совершенная красота.

Она вышла не одна. Их было трое: кроме нее, мужчина средних лет и молодая статная женщина.

На Страхова никто не поглядел, и он пошел, держась от них неподалеку. На первом же перекрестке они попрощались и разошлись каждый в свою сторону. И тогда Страхов догнал ее и пошел рядом.

Она бросила на него взгляд, сперва даже испугалась, а потом лицо ее вспыхнуло и осветилось улыбкой. И в этой улыбке — Страхов успел заметить — была радость.

— Простите... Я хотел вас увидеть,— не узнавая своего голоса, вымолвил Страхов.— Я сегодня уезжаю. У меня всего два часа осталось. Я вас больше...— Страхов не договорил.— Я должен был вас увидеть,— твердо поправился он.— Я не мог иначе.

— Но почему? — только и спросила она, не замедляя шага.

— И сам не знаю...— откровенно признался он.

Она засмеялась:

— Вы рисковали опоздать на самолет. Я же могла задержаться.

— Об этом я тоже думал.

— И все-таки ждали? — Ей, женщине, это было приятно.

— Ждал. Мы не должны были сегодня разминуться.

Она только молча покачала головой: в его голосе звучало что-то такое, что не позволяло ей обращать этот странный разговор в шутку. Да ей и не хотелось, чтоб это была шутка.

Он проводил ее до самого дома. Она показала ему свои окна.

— Я хочу спросить вас только об одном: я имею право звонить и писать вам домой?

Она какое-то время молчала, потом ответила одним-единственным словом:

— Имеете...

Он попросил, и она сказала ему номер своего телефона. И они попрощались. И он поехал в аэропорт.

А назавтра вечером позвонил ей уже из дому. И с тех пор стал звонить и писать почти каждый день.

И она писала ему каждый день.

Встретились они только через год, когда он снова приехал в командировку.

С того времени пошел двенадцатый год...

Возвратил Страхова к действительности телефонный звонок. От усталости, от напряжения, от неожиданности он вздрогнул, будто в левый бок его пырнули чем-то острым. Бросился к телефону, как бросается утопающий к спасательному кругу.

— Я слушаю! Я слушаю! Слушаю...— с надеждой повторял он в трубку.

— Господи, можно подумать, что ты всю ночь не ложился спать, а сидел и только ждал этого моего звонка.

Страхов схватился свободной рукой за спинку кресла.

— Алик разбил ночью термометр. Выйди пораньше на работу и купи по пути в аптеке новый. И занеси Виталию.

Страхов молчал.

— Ты меня слышишь?

— Слышу.

— До работы купи и занеси.

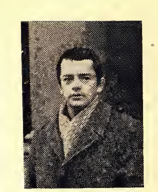
— Куплю и занесу до работы...

Перевел с белорусского Вл. ЖИЖЕНКО.



Валерий ЛИПНЕВИЧ

●



ТРАВА И ДОЖДЬ

Из первой книги стихов

●

Куда идет тополь в мае!

Как гордо его молчанье.
И только в листве —
шелест шагов,
шелест шагов...

Когда осенью
листья
лягут вокруг, как следы,
ты заметишь,
что он тоже топтался на месте.

Галина

Первородная сырость,
незащищенная мягкость,
непросохшая глина...

Брызгая улыбкой,
стремительно
вы проходите мимо.
Слепящая яркость цветенья,
краткая свежесть,
блеск и озон грозы.
Она обессилена ливнем,
но еще отзывается в Вас.
Так, засыпая,
невнятно бормочет счастливый
созиданьем измученный бог.

Избыток жизни —
нерастраченной и томящей —
вдохнул он яростно в глину
и отпрянул ошеломленный —
живое!
Но обжечь —

навсегда изуродовать
вечной молодостью и красотой —
он не смог,
не решился,
даже в обмен на бессмертье,
Ваш добрый
и талантливый бог...
Как крик о помощи,
останавливает меня
Ваше влажное
изменчивое лицо.
Его не запомнить.
Как на бегущую воду,
на него глядеть и глядеть,
утоляя глаза
и выхватывая лица,
что обещает Вам жизнь.

Обожженные вспышками любви,
горением материнства,
тлением будней,
высоким напряжением радости
и страдания—
Ваши лица многочисленны
и разнообразно прекрасны.

Галина,
чтобы каждое утро,
просыпаясь,
мы вздрагивали от свежести сотворения,—
счастья, —
жизнь снова и снова,
не уставая,
лепит
и обжигает нас!

Слушаю дерево

— Люди параллельны деревьям,
но лишены корней.
Так же, как мы,
тянутся вширь и вверх,
но забывают о глубине.
Так же, как мы,
бросаются навстречу друг другу,
но, не успевая остановиться,
только ранятся жесткой корой,
ломая руки, как ветви.

Зеленые рощи детства,
материнский шелест листвы,
суровая забота дятла,
легкомыслие леночки,
доверчивость зверя.

Визгливый ужас пилы.
Будни деревообделочного комбината.
Полезные вещи.
Блестящая карьера столбов.

О, счастье быть деревом:
уравновешивать кроной
планету в корнях,
ее, как любимую,
навеки обняв...

Закон рождения
и закон смерти.

И только жизнь,
на мгновенье
примиряющая их.

Закон мужчины
и закон женщины.

И только любовь,
на мгновенье
ослелляющая их.

Закон травинки
и закон звезды.

И только человек,
на мгновенье
соединяющий их.

...Это июньская гроза
пронеслась над городом,
как освежающая лолытка
найти общее
между землей и небом.

Мы любим стихи
для того, чтобы еще больше любить
милые речки
обычной
обыденной речи.

Мы любим танцевать
для того, чтобы еще больше любить
простые
и такие значительные движения
человеческого тела.

Мы любим леность
для того, чтобы еще больше любить
мускулистое счастье дела.

Мы любим женщин
для того, чтобы еще больше любить
наших детей.

Ведь, лознавая мир,
мы, как лротив течения,
лодымаемся
к родникам нашей любви.

А все то, что мы любим,
мы любим
только для того, чтобы жить.

Одежда,
как пена,
логасла у твоих ног.
Ты олять родилась для любви.

И встретились наши глаза,
и коснулись руки,
и дрогнули сердца.

И ночь
накрыла нас, как волна,
и унесла,
и измучила,
и выбросила.

И на белом берегу дня —
два загорелых тела,
две смоленые лодки
веслом к веслу.

●

Я вздрогнул:
верба,
задыхаясь в серой коре,
исходит зеленью —
криком
своей вечной любви к маю!

Мальчик
в поисках новых цветов
смешал
и старательно размял радугу,
что лежала в коробке с пластилином.
И удивился —
Все краски спрятались
в серой.
Яркий талантливый мужчина.
У него красивая умная жена.
И только усталость на их лицах
проговаривается,
как им скучно вместе.

Под серой шинелью дней,
как фотографию любимой,
хранишь у сердца
зеленую
веселую краску.

●

Зима —
очередная попытка
сделать все белым и чистым.

Как наивность девушки,
это трогает нас.

Но со злостью
выворачивает март
твой белый полушубок,
зима,
грязным мехом наружу.

●

Когда, как патрон в обойму
ты входишь в армейский быт,
когда в сапогах и хэбэ
стриженые,

мы все на одно лицо, —
по-настоящему понимаешь,
как различны люди.

Когда в шумной толпе
проходят,
идут рядом
с женами, чинами, талантами,
в разнообразии судеб, одежд, привычек, —
ты замечаешь вдруг,
как одинаковы люди.

ЦУМ. Ироническая ода

ЦУМ!
Ты, как храм,
взлетаешь над городом
и врастаешь в землю, как склад.
ЦУМ!
Твои юные жрицы
элегантны,
как пишущая машинка «Эрика»,
и манящи, как дефицит.
Они шмыгают носом на сквозняках,
но величественно неторопливы
и презрительно вежливы.
ЦУМ!
Ты мечта каждой девочки.
Им надоело быть актрисами и стюардессами:
— Мама!
Я буду только продавщицей!
ЦУМ!
Ты всемогущ.
Ты хранишь их молодость.
Не замечая внуков и седых волос,
до пенсии
ты оставляешь их «девушками».
ЦУМ!
Как прекрасны девичьи лица,
углубленные серьезностью вещей.
ЦУМ!
Ты единственное зрелище,
которое нас поглощает.
ЦУМ!
Многочисленностью своих толп
ты подтверждаешь нас.
И наше старое «я»
становится тесным,
как воротничок.
ЦУМ!
Ты приземляешь нас,
чтобы освятить и прославить
все земное.
ЦУМ!
Усыновленный переходной эпохой,
ты удачный гибрид
храма и склада!
ЦУМ!
Твое имя
зовет нас, как колокол.
ЦУМ!
И мы торопимся на поклонение вещам,
а приходим
на поклонение человеку!
ЦУМ!

●

Стремительно,
чуть покачивая бедрами,
идет девушка.
В этом «чуть» —
сдержанная сила.
Так в биении пульса —
спокойствие жизни.
Так в четких колебаниях маятника —
неодолимость времени.

Девушка —
это часы, по которым
мы узнаем свое время.

●

Лучшие книги,
как светломудрые старики,
поворачивают меня
и легонько подталкивают,
как теленка к материнским сосцам,
к женщине и реке,
к дереву и звезде.

●

Как все просто,
когда мы равнодушны,
спокойны,
вежливы,
доброжелательны.
Как все просто!
И только любовь,
спасая от топора обыденности,
усложняет,
запутывает,
ветвит,
торопя к небу
и возвращая каждому столбу
крону и корни.

А дерево
еще беззащитней.





Игорь НИКОЛАЕВ

СТАРАЯ ГРАНИЦА

Роман

Рисунки **Г. Скоморохова.**

4.

ДАЛЬНИЕ ДОРОГИ, как известно, требовали средств передвижения, и отряд Бойко начал катастрофически отягчаться транспортом. Зачинщиком в этом деле стал фельдшер Бакселяр.

— Зуб ноет у бойца...— невинно, как о чем-то малозначащем доложил он, когда Бойко на привале обходил подразделения.

— Выдернуть! — решительно посоветовал Бойко, но фельдшер загадочно улыбался и скреб на щеке рыжую щетину.

— Легко сказать, да трудно сделать! — Бакселяр не снимал с лица бесовской улыбки, он мог держать ее хоть полчаса, и Бойко знал это.

Окончание. Начало в «Немане» № 2, 1977 г.

— Что-то я тебя, милейший, толком не пойму...— Бойко водил длинным носом.— Клещи у тебя есть...

— Так точно, кузнечные!

— В других отрядах и того нет. Тебе позволить, так ты и роддом организуешь... Что там еще такое?..— заметил он какую-то никелированную штуковину.

— А зубы дергать. Техника! — фельдшер подвел командира к кусту, показывая блеснувшую никелем бормашину.

Бойко поморщился, он с детства питал тихую ненависть к подобным штучкам, но открыто возражать медицине не посмел и уступил фельдшеру подводу, хотя понимал, что лиха беда начало...

Так оно и вышло: вслед за бормашиной понатащили всякой прочей чертовщины. Дальше — больше, отрядный фельдшер не преминул при первом удобном случае перебраться со своими причиндалами на захваченный у немцев автомобиль, умудрился натянуть над кузовом брезент и возил с собой выздоравливающих бойцов. Проталкивать отяжелевшую колонну через болотистые чащобы становилось все труднее.

Но было замечено, что у себя в отряде люди шли на поправку куда веселей, нежели в отдаленных, «чужих» лазаретах. Не говоря о молодежи, даже дедок Онуфрий, с простреленной рукой, выздоравливал сказочно быстро. На третий день после того, как попал в ведомство рыжего фельдшера, он уже балагурил:

— В санитарках послужу... Обкорнаю бороду!

— От тебя смоленым кабаном разит,— фыркнул фельдшер.

Онуфрий скреб обгоревшую шерсть на щеке, вздыхал, но фельдшеру особо не возражал: дымком от него все еще попахивало.

Он охотно согласился помочь фельдшеру, когда тот собрался за водой. Завели трофейный дизель — и покатили с ветерком, не зная, с кем их сведет судьба уже через несколько минут...

Котика поймали случайно, когда он — голодный и обессиленный — забрался в горшки; в хуторе, по его наблюдениям, не было мужчин, и он решил перекусить, однако игравший за сараем мальчонка издали приметил его, проследил, как он воровски скользнул в погреб, заподозрил неладное и подкрался к тяжелой дубовой двери...

В погребе стоял затхлый дух и было темно. Котик на ощупь двигался по картофельному отсеку, покуда не наскочил в углу на бочку,— запустил в нее руку и захрустел огурцом. Приглядевшись, освободил под потолком едва заметную отдушину, стало светлее. Он нетерпеливо зашарил по полкам, наткнулся на крынку с молоком, выцедил ее. После соленых огурцов и молока обнаружил бочонок с салом и стал рвать зубами от большого куска. Сало было старое, лежалое, но Котик ел и ел, потом засунул еще кусок за пазуху и прикрыл бочонок кружком. Он почувствовал тяжесть от еды, ему хотелось спать, но спать в погребе казалось неудобным и опасным, пора было выходить, и тут он понял, что дверь кто-то припер.

— Эй, открой! Открой, говорю! — взывал он к неизвестному и невидимому человеку, полагая, что тот здесь, рядом.

Но за дверью никого не было: мальчик сразу убежал в дом и поделился своей тайной с матерью, а та схватила платок и выбежала на крыльцо, не зная, что предпринять. Ближайшее от хутора селение находилось в трех километрах, тащиться туда на ночь глядя и рискуя встретиться с полицаями ей не хотелось, но и оставаться в неведении, га-

дать — кто у тебя в погребе, случайный ли бродяжка, или опасный супостат, тоже беспокойно, не успеешь... Она совсем было собралась к погребу, поспрашивать через дверь — кто там, да в это время на дороге запылило, к хутору приближался грузовик. По его виду можно было судить, что это немцы, но когда дизель, начадив во дворе, приткнулся задним бортом к колодцу, стало очевидно, что в кабине партизаны. Кто еще мог был так странно одет? Черный матросский бушлат и линялая красноармейская пилотка на шофере, летняя гимнастерка без петлиц на дюжем мужчине с рыжей шевелюрой... Покуда мать колебалась, как поступить, мальчишка вывернулся из-под ее руки, вскочил на подножку и чуть не силком выволок из кабины и потянул к погребу рыжего дядьку.

Через минуту Бакселяр и Котик уже стояли лицом к лицу. У Котика были нечесаные волосы, он давно не мылся, от него несло запущенностью, диковатый и неряшливый вид выдавал в нем скитальца.

— Ты кто? — напрямик спросил Бакселяр.

Котик щурился на свет, в глазах его играли недобрые огоньки, однако он совладал с собой и внешне спокойно сказал:

— Свой...

— Ну, свой так свой! Поедем с нами.— Бакселяр лучисто улыбнулся· со щетинистой, небритой бороды незнакомца падали синие капли молока; жирными, грязными пальцами он запахивал расстегнутый до пояса истрепанный немецкий френч, за отворотом которого желтел шмат сала.

Котик окинул взглядом машину, колодец, хутор. За хутором виднелся спасительный лесок, стоило рвануться и перемахнуть загородку — и он на воле. Но что-то удерживало Котика от естественного в его положении поступка, что-то будто надломилось в душе за эти дни скитаний — не побежал.

— Из плена...— вздохнул он.

— А...— поняв все, не стал расспрашивать Бакселяр.— Садись, подвезем.

Освобожденный из-под домашнего ареста в погребе и окончательно сбитый с толку ослепительной улыбкой рыжего детины, Котик как под гипнозом проследовал к кузову и перемахнул через задний борт. В машине громоздились налитые водой бочки. Котик ухватился за край одной из них и наклонился — попить. Когда он вынул плавающую в бочке фанерку,— чтоб не плескалось,— на него глянул из темной глубины похожий на лесовика, всклокоченный незнакомец. Котик суеверно отшатнулся.

— Пей,— раздалось у него за спиной.

В кузов забрался дедок с перевязанной рукой, это был Онуфрий, но Котик не обратил на него внимания. В бочку плеснули остатнее ведро, Котик напился, пустил фанерку, машина тронулась. В кузове было еще двое пассажиров: старик с перевязью и второй, тоже в бинтах. Раненые были с винтовками, и Котик терялся в догадках: везут его как пленника или как попутчика?

— Что-то, парень, на пожаре... откуда ты? — спросил дедок, как-то странно сотрясаясь.

— Где был — там нету.

— Вона! Облик твой...

— Чего тебе облик? — устало спросил Котик и отвернулся, не желая продолжать тягостный разговор. Да и дедок хоть был и раненый, но с оружием, и Котик не очень-то ершился, скорее даже шутил.— Любопытство не погок, но большое свинство!

— Так-то оно так... пробачай...— Онуфрий причмокнул и встряхнул головой.— Узнал я тебя, парень... на пожаре...

Котик повернул голову, уставился на старика — не то конвоира, не то попутчика. Старик как старик, тщедушный и болтливый, непонятно только — кто за язык его дергал, чего он разошелся, старый хрыч, и где он мог видеть его? Котик вновь ощутил приступ неодолимой тоски, такое чувство преследовало его давно, ему постоянно мерещилось, будто он утерял что-то, поглядел через задний борт, увидел отрезок полевой дороги, столб пыли за машиной и в пыли что-то движущееся. То была тоже машина.

— Эй! — кивнул он старику, показывая глазами на пыльное облако.

Старик и его товарищ придвинулись к заднему борту.

— Постучи,— решительно сказал Онуфрий, и Котик моментально сообразил, что нужно стучать в кабину. Он забарабанил в железную обшивку, рыжий дядя вопросительно прильнул к стеклу. «Чего?» — понял по его губам Котик и закричал во весь голос:

— Немцы!

Бакселяр оторвался от заднего стекла, высунулся в дверцу. Все ощутили, как наддал водитель, тяжелый грузовик кидало, в кузове танцевали бочки с водой и дрынчала, сползая к задку, запаска. Никто не сомневался, что их настигала погоня.

Котик понимал свое положение: попасть в руки к немцам, после выходки в карательном отряде, ему не светило. Он видел, что стычка неминуема, и смотрел на это как на что-то неизбежное.

— Одолжи винтер...— сказал старику.

Онуфрий удивленно воззрился на Котика. Стариковские глаза округлились, в них проглянуло безумие.

— Дак помнишь? Вместях брали! — сказал он.— Танк.

Это было то самое, чего так боялся Котик и от чего бессознательно открещивался в продолжение всего тягостного разговора. Танк брали... Котик видел, как забилась в тике обгорелая щека у раненого деда.

— Кто... командир? — вымученно спросил он.

— Однорукий,— ответил Онуфрий.

В этом ответе все еще таилась надежда: мало ли на войне одноруких?..

В пыли на дороге уже четко вырисовывалась машина с немцами, погоня приблизилась, но ни та, ни другая стороны не спешили стрелять. Котик пригнулся позади старика, отчетливей других представлял, что убежать ему на этот раз не удастся, и думал о том, что все последние дни — он не помнил, сколько было этих дней,— бежал и бежал впереди немцев, которые тоже бежали... Все дни, что он скитался, он жил, как загнанный зверь: в села и хутора не заглядывал, разве что ночью — украсть еды и снова в лес. Он потерял представление о пространстве и времени, и его несла неведомая сила — неизвестно куда и зачем...

Котик не обманывал себя, знал: если его привезут к партизанам, суд будет скорый, потому что однорукий — не кто иной, как Бойко. Зачем хитрить перед собой? Дело — табак... В эти последние мгновения он мог еще оттолкнуть хилого старика и соскочить, но что-то удерживало его, и в этом угадывался не то скрытый страх перед неизвестностью, не то боязнь вновь оторваться от людей. Котик видел, что партизаны его не опасались, и это казалось странным: как-никак со стариком они враги.

— Старик... Не бойся...

— Не боюсь!

— Рубани по скату.

Онуфрий послушно пальнул, задняя машина вильнула на обочину и присела на правое колесо. Из нее достала по партизанам длинная очередь, пули скопом обдали дизель, партизаны распластались в кузове. Котик тоже повалился и увидел перед собой в бортовой доске пробоины с отщепленными, как в мишенях, закраинами. Две пули прошили бочку, из отверстий пырснуло, и в тот же миг другая очередь прошлась по кабине — дизель стал.

— Прыгай! — скомандовал Котик, вываливаясь за борт. За ним трудно сползли Онуфрий и его товарищ. Бежать они не могли и заковыляли к кабине. Котик тоже подскочил к дверке, с одного взгляда понял: водитель и рыжий фельдшер недвижимы. Не задерживаясь, он махнул через канаву, понесся к лесу. Он был безоружен, единственное спасение видел в ногах и припустил — в ушах свистело. До рощи оставалось метров сто, но наперерез трусили немцы, и Котик в нерешительности остановился. Позади раздалось:

— Бежишь, гад!

Котик попридержался, вскоре за спиной его раздался хрип. Мягкие в жнивье шаги были почти неразличимы, но Котик все же определил — бегут оба конвойные, и опять наддал к березняку. По нему пальнули, ногу обожгло, но он сгоряча не понял — свои или немчура, да и рану не видел, не смотрел, хотя ногу задело сильно; близ опушки он упал и ощутил, что в сапоге мокро. Задыхаясь, дополз он до первого дерева, обхватил его и поднялся.

Котик видел, как бежали к нему с одной стороны немцы, с другой — раненые партизаны. Очень четко все видел Котик — сносимую ветром пыль с дороги, людей с оружием и трепетную, зависшую над бузиной пичугу. На миг уловил какую-то чужую, обманчиво-спасительную мысль: он мог бы убить одного конвоира и скрыться, мог бы...

Партизаны первыми подскочили к Котику, они оба были с перевязками, тоже едва дышали, но подхватили его под руки и поволокли. Через двадцать шагов их догнали немцы.

— Хенде хох!

Онуфрий вскинул винтовку, уложил одного, остальные накинулись на партизан. Немцы топтали, били раненых прикладами и кололи тесаками, с таким же остервенением пыряли они и Котика, хотя он был безоружен и одет в полицейский мундир. Котик только раз поднял руку, заслоняя лицо; после он так и лежал с поднятой рукой и с прикрытыми глазами и воспринимал расправу, как должное. Боли он не ощущал, ничего уже не чувствовал, кроме облегчения...

Котика подобрали партизаны. Полицейский мундир, в который он был обряжен, не в первый раз поставил его в критическое положение, однако его перевязали и привезли вместе с контуженным Бакселяром и мертвым Онуфрием в отрядный лазарет.

Очнулся Котик через сутки. Первое, что ощутил, это обмундировка: в необношенной, с чужого плеча одежде, он был, как в чужой шкуре. Котик лежал с закрытыми глазами, он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Наконец открыл глаза. Окровавленный и рваный мундир на нем заменили обычной красноармейской гимнастеркой, он воспринял это с опаской, было непонятно — где он? Но и было радостно: жив!

Началось выздоровление. Молодой и крепкий организм отстаивал право на жизнь, хотя порублен Котик был сильно. У него не двигалась голова, не двигались ноги и правая рука, весь он был забинтован и недвижно лежал в неудобной позе — с неестественно закинутой головой.

Котик догадывался, что останется калекой, но это не волновало и не задевало по-настоящему его сознания, думал о другом: он страшился возможной встречи с дедом, который дважды уже признавал его. Котик не знал об участи деда Онуфрия, не знал, что дед скончался в лесу, на месте истязания. Но если бы и знал, это не сняло бы с него страха, потому что за стареньким и немощным дедом Котик усматривал решительную и беспощадную фигуру однорукого комиссара. А тот факт, что он попал именно в отряд Бойко, не вызывал в Котике ни малейшего сомнения; и боялся он по-настоящему не деда, а Бойко, голос Бойко звучал в его ушах с сорок первого года, со дня их знакомства: «Комсомольский билет сохранил?» Не сохранил... Ничего не сохранил.

Котик водил глазами по одному и тому же до чертиков надоевшему брезентовому полотнищу над головой. Брезент был потрепанный, в заплатах и масляных пятнах, и Котик в полузабытьи бесконечно пересчитывал то пятна, то заплаты, то все вместе. Вид этого грязно-серого шатра́ над головой удерживал Котика в состоянии тоскливого ожидания, он ждал сначала Онуфрия, потом Бойко, затем — убедившись, что никто, кроме медперсонала, не посещал его — стал ждать чего-то неопределенного, и от этого на душе у него становилось еще муторней, когда он прикрывал веки, неопределенность эта казалась ему черной, он страшился закрывать глаза, боялся даже спать и, задремывая, пробуждался в холодном поту. Через небольшое время Котик примерился подняться, в мыслях у него зрело желание убежать...

Временами в лесу отдавалась канонада. Котик приходил в себя и догадывался, что на подходе Красная Армия. Тогда он весь превращался в слух, ему чудилось, будто кто-то подкрадывается к нему. Но выстрелы прекращались, в лесу опять звенели птичьи голоса, шумела листва, все было спокойно, и Котик снова на звук определял стрекоз, слышал, как что-то чиркало по брезенту — может, падала букашка, а может, с дерева сыпалось.

Котик ждал наказания. Чувство это было невыносимо, в каждом шорохе за пологом ему слышались чьи-то шаги, невидимые и таинственные, шаги возмездия. Котик с усилием поднимал руку и смахивал со лба холодный пот. Воображение рисовало входящего к нему Бойко, которого Котик не забывал даже в карательном отряде.

Но Бойко не появлялся. Он не приходил по той причине, что никто в отряде не знал ни фамилии, ни имени подобранного в беспамятстве парня. Его просто перевязали, как всякого раненого, и стали выхаживать, тем более что нашли его рядом с дедом Онуфрием, недалеко от Бакселяра, и все они пострадали от одних и тех же рук.

Однако Котик все ждал Бойко, и когда однажды из лесной гущины приблизились к палатке твердые и решительные шаги, не похожие на легкую поступь сестры, Котик напрягся, ощутил во всем теле дрожь; он оторвал от травяной подушки изувеченную голову, во рту у него пересохло, он елозил языком по губам. Чья-то рука уверенно откинула полог, на свету появился человек в пыльной гимнастерке. Это был Бойко.

— Вы... вы...— захлебнулся Котик, на губах у него выступила пена.

Бойко оторопело смотрел на раненого бойца, который лежал в тени.

— Вы... вы...— повторил Котик. Его оплывшее, старческое лицо дергалось и заливалось синевой. Он никак не приходил в себя.

— Я... Спишь?

— Отсыпаюсь! — У Котика еще тряслась голова, он закатывал глаза и ладонью поддерживал падающую на подушку голову.— Не понял, командир? Я лежачий... Бей лежачего!

Бойко затруднился взять правильный тон. Перед ним дергался в

припадке человек, чья жизнь сложилась путано. Бойко узнал его, это был двоюродный брат Евгения, и он в исступлении гаерствовал.

Бойко сказал:

— Перестань.

— Нашел, однорукий? Выдавай!

Бойко хотел спросить — где, в какой схватке так досталось ему, но вспомнил о давнем побеге Котика с поля боя, и слова застряли у него в горле; уже одно то, что он нашел Котика в своем госпитале, как будто реабилитировало и снимало, по крайней мере в эти минуты, скользкий вопрос об исчезновении его из партизанского отряда. Бойко подумал о том, каким извилистым, неверным путем шел Котик к познанию истины,— если он ее познал наконец,— и отвел глаза, потому что к нему пришла жестокая мысль: лучше хорошая смерть, чем позорная жизнь.

— Припечатают, конечно. Отсидишь! — сказал он.

— Ха-ха, не могу сидеть... Шиш! — Котик зло осклабился, отодвинул Бойко и сбросил на пол перевязанные и толстые, как чушки, ноги.— Я все потегял! Припечатают?.. Тегзайте, гады! Я сам, я са-ам! — с этими словами он сорвался с постели, на губах у него зарозовела пена. Какое-то время он стоял на культях, и Бойко видел — какой матерый мужчина перед ним. Котик ковыльнул к выходу, вывалился из палатки. Когда он падал, в глаза ему ударило солнце, закрыло весь белый свет.

Бойко бросился за Котиком, подхватил под руку, но тот ничего не видел и не слышал. Забывшись, с закрытыми глазами, он мычал:

...Мы по бережку идем,
Песню солнышку поем...

Глава седьмая

1.

В ПОЛОСЕ наступления громыхали бои. По звукам Евгений хорошо представлял, как продвигались войска. Он по-прежнему вел подрывников через партизанский край, хотя партизан здесь в последние дни не стало — они где-то западнее заступили немцу дорогу. И Евгений, и его товарищи морили червяка на ходу, стремясь засветло попасть к железной дороге: это была единственная здесь ветка, которую немцам — после налета партизан — удалось кое-как восстановить.

— Вот ты, Янкин, поаккуратней бы...— вполголоса басил сержант Наумов.

Янкин, не сбавляя шага, допивал из фляги и слушал одним ухом, остальные, казалось, вовсе ничего не слышали. Шедший в голове Евгений думал о чем-то своем, но все-таки отметил задиристую нотку в голосе Наумова, когда тот добавил: — Пьешь, как лошадь.

Евгений насторожился: неужели у Янкина остался шнапс, и он скрыл это?

— Ну и пью...— беспечно отозвался Янкин.

Евгений сделал шаг в сторону, пропуская всех мимо себя, однако лиц не было видно. Не заметь он, как упала из алюминиевого горлышка, скатилась по губам и бороде Янкина прозрачная капля, так и не понял бы розыгрыша.

— Видишь,— не унимался Наумов.— И товарищ капитан не одобряет тебя.

В душе Евгений был рад, что Наумов опять среди них, старый боевой товарищ, такой основательный в житейских делах, а когда надо —

балагур и задира; он и дружил все с тем же Янкиным, как и прежде.

Он слушал болтовню Наумова, а сам с дотошностью перебирал в мыслях детали предстоящей диверсии. Он знал, сколько в его распоряжении толовых шашек, капсюлей и бикфордова шнура, держал в голове возможные варианты минирования и распределял — как что будет выполнять. При этом не забывал, что все наметки могли полететь к черту, если обстоятельства потребуют иного решения, как это не редко случалось на войне...

Стало прохладней. В еловом урочище ворковала горлинка, под ногами расстилались то ягодники, то мох. У родника саперы наполнили фляги, напились, и все это торопливо, будто за ними кто гнался. Евгений молча переждал, понаблюдал, как играл с флягой молодой солдат, вспомнил, как тот заложил за хлястик Янкину бумажку, и пырснул. Саперы удивленно посмотрели на него.

— Я ничего...— сказал Евгений.— Строиться!

Духота спала, однако после того как Евгений напился, по всему телу у него выступила испарина. Пришлось расстегнуть воротник. Он видел, что люди устали, но шагали размашисто, в их походке и по-солдатски скупых, едва приметных жестах, в напряженных фигурах и редких словах сквозила сосредоточенность. Разговоры уже не клеились, все шли молча, но и в самой этой неразговорчивости было что-то необычное; было видно, что саперы стремились к важной для них цели, думали об этом и никакие пустяки теперь уже не отвлекали их.

Поздним вечером группа приблизилась к полотну железной дороги и засела в густых зарослях. Под ногами хрустел хворост, Евгений досадливо морщился. Сориентировавшись, он послал разведку, и вскоре подтвердилось, что по насыпи курсировали немецкие патрули. Евгений произвел боевой расчет, он решил разнести бетонную трубу в насыпи и одновременно порвать на примыкающем участке рельсы.

Саперы вязали заряды в сотне шагов от полотна. В тиши процокала на стыке дрезина, помелькал меж стволов прожектор.

— В недавнее время был тыл...— вполголоса заговорил обычно молчаливый Янкин. На него шикнули, он обиделся: — А чё? Правда.

На перегоне прогрохотал поезд, четко отстукал колесами и долго не затихал. Голоса саперов терялись, хотя разобрать слова все же удавалось.

— Любил и я ездить,— объяснил Янкин.— Как дымком понесет, так и в душе цок-цок...

— Ты на гармошке часом не любитель? — поддел его Наумов.

— На патефоне. А чё? Бывало...— заговорил Янкин и вдруг примолк. Все поняли — почему оборвал он на полуслове, а Евгений припомнил давнишний рассказ Янкина о танцульках, с женой на пару, под патефон, и понял нынешние сомнения изувеченного солдата...

Некоторое время саперы работали молча, потом Наумов, обжимая запальные трубки, опять начал:

— Не думано, не гадано...— Он неопределенно улыбнулся и неожиданно для всех стал вспоминать, как учился после Днепрогэса, как попал в киномеханики и ездил с передвижкой, как работал на тракторе, осел в колхозе, взял жену, построил дом; но вот места его под немцем, сгорел дом, и где жена — неизвестно...

Евгений по старой привычке не вмешивался в разговор, знал, что направлять тут ничего не нужно, люди сами соскользнут на необходимую им в эти минуты тему. Да у него и не было тяги рассуждать о чем-то заданном, не хотелось даже думать о предстоящем задании, которое почему-то казалось уже как бы выполненным, и лишь отзывалось не-

спокойным звоном в висках. Этот звон тревожил и, как ни странно, снимал напряжение, давал разрядку нервам.

Время перевалило за полночь, пора было выступать, и Евгений дал команду. Первой тронулась штурмовая группа, ее задача — снять патрульных. Евгений с подрывниками переждал и тоже двинулся к насыпи. Через несколько минут на полотне бахнуло: убрать охрану бесшумно не удалось.

Саперы принялись спешно минировать. Заряды на рельсах заложили быстро, но в трубе вышла заминка, заготовленные в лесу козелки для крепления заряда плохо подгонялись к бетонному своду. Евгений торопил Наумова, отсчитывал на часах секунды и наблюдал, как разливался в небе отсвет. Над насыпью зарозовело, со стороны леса наплывала малиновая тучка... Наконец, из дыры показались ноги Наумова, и уже по тому, как уверенно и ловко пятился сержант, Евгений понял, что все кончено; он резко махнул рукой и тут же увидел возле присевших на насыпи саперов струйку дыма.

— Отходи-и! — скомандовал он.

Он слышал, как шипел бикфордов шнур, и одновременно поймал цокот дрезины; бежал без оглядки, но на опушке все же оглянулся и увидел прожектор. Немцы с дрезины открыли беспорядочную пальбу, а навстречу уже пыхтел паровоз с составом.

Предотвратить катастрофу было немыслимо, дрезина и состав быстро сближались. Евгений услышал зов Наумова и потрусил на голос. Что-то тяжелое давило его, воздух будто сжимался, за спиной у него пыхнул огонь и раздался гром. На насыпи заскрежетало железо. Громадная тяжесть ударила по земле, колыхнулась и распалась. Над лесом покатилось густое эхо.

В километре от железной дороги саперы наткнулись на партизанский стан. Когда Евгения привели в штаб, он глазам не поверил: на пеньке сидел Бойко.

— Здравствуй,— сказал Бойко и, встав, протянул здоровую руку. Евгений обнял его. И будто не стояли между ними годы, будто вчера зашагали они вместе по дорогам сорок первого, дышали пылью и гарью... Шли они тогда не в ту сторону, как им казалось...

Они стояли и смотрели друг на друга, и Евгений видел, как подрагивали губы у сдержанного, не склонного к сантиментам Бойко. Они присели под деревом. Было утро, красноватое солнце еще путалось в гущине, но по всей поляне и на стволах сосен уже лежал теплый отблеск. Бойко поелозил ладонью возле себя, набрал сухих иголок, растер, и от этого в безветрии сгустился смоляной дух; Евгений сидел молча, не шевелясь, и ему не верилось, что он на фронте, что лес этот фронтовой, и поблизости — на перерезанной линии — беснуются немцы.

— Твоя работа? — спросил Бойко.

— Моя.

Евгений сбивчиво, перескакивая с пятого на десятое, ткал свою одиссею. В течение всего разговора Евгения не покидало ощущение, что Бойко и не слушает его, во всяком случае, вид у Бойко был отрешенный, и он, наконец, перебил:

— Видел твоего двоюродного. Ранен. На Большую землю отправили.

Бойко ничего больше не прибавил, и Евгений мучительно колебался: спросить или ждать, пока Бойко сам доскажет. Однако Бойко то ли не спешил, то ли не желал продолжать неприятную для обоих беседу. Он мимолетно окинул взглядом Евгения, а потом уже и не поднимал

головы, словно его гнула невидимая тяжесть. Евгений это заметил, потому что прежде Бойко обыкновенно смотрел собеседнику в глаза. Да и постарел он, война наложила на него свою печать, лицо стало сухое, покрылось морщинами, которых в прежние годы Евгений не примечал. «Но что же еще изменилось в нем?» — подумал он и спросил:

— Нашлась жена?

Бойко второй раз за эти минуты глянул на Евгения, и Евгений решил, что тот едва ли слышал его вопрос — так далек был его взгляд от всего сиюминутного. Евгений тут же пожалел, что спросил о жене.

К ним валко подходил рослый детина с рыжей шевелюрой и повязкой во всю голову. Бойко заметил взгляд Евгения и понял, что тот знает Бакселяра, да и фельдшер на ходу махал Евгению рукой и ускорял шаг.

— Сапе-ер! — дурашливо вскричал он.— Где мы с тобой виделись?

— Все там же,— ответил Евгений, подхватываясь на ноги,— в госпитале. Кто это тебя?

— Цэ дило трэба розжуваты... Верно, товарищ командир? А то ваш старый друг, похоже, наелся клюквы!

Евгений улыбался, чувствуя, как радостно тискал его в своих лапах рыжий фельдшер. Он хотел ответить ему насчет клюквы, но повел глазами по сторонам и отметил, что места здесь не болотистые. Бакселяр понял его, причмокнул губами, будто во рту у него защемило.

— Ладно вам, пора кормить служивых,— напомнил Бойко.

— Сказано, повар знает,— отмахнулся Бакселяр.— Досыта не накормим, а с голоду не уморим.

Пока готовили еду, Евгений снял гимнастерку и по-хорошему умылся. Сливал ему Бакселяр.

2.

ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ с Бойко Евгений многое передумал, представил былых товарищей, с которыми ломал самый тяжкий первый год войны. События того года рисовались ярко, однако пройденное представлялось теперь не таким трудным: время сгладило острые углы.

О многом вспомнил он и лишь о Котике вспоминать боялся. Где он, с кем он? Но выспрашивать у Бойко он не стал: тот и сам не забыл бы выложить все, что знал сверх сказанного в первые минуты встречи. Значит, Бойко и сам ничего толком не знал... Так и ушел Евгений из отряда с чувством горестного недоумения.

Саперы шли по мелколесью. Полдневное солнце припекало, влажная болотная испарина обволакивала мокрые спины, вязала расслабленные мышцы. Евгению казалось, что у него даже язык набух и ворочался непослушно, словно чужой.

Из задумчивости вывел его Янкин.

— Печалитесь вы, Евген Владимирыч.

— Почему же?..

— Потому — растравило. Я сам как глянул на Бойку, так и надорвалось...— Янкин помолчал, вслед за Евгением обогнул еловый островок.— Постарел комиссар...

Потный воротник жал Янкину, но ни одной пуговицы он не трогал, хотя кое-кто давно поослабился. Янкин посматривал на шагающего впереди Евгения, ждал, что тот скажет.

— Да, встреча...— почти машинально произнес Евгений, и было непонятно, говорил ли он о Бойко или имел в виду иную какую встречу. Но о потаенном старый сапер не станет говорить. Нет, Янкин не переступит

некую черту, не станет сочувствовать беспутному братцу. Все же Евгений внутренне сжимался. Сознание, что есть человек, который отгадал несложный ход его мыслей, как-то стесняло и сковывало.

— Вот однажды столкнулся с чудаком, охотник был...— не унимался Янкин.

— Который Мюнхаузен? Ты рассказывал.

— Родственник, вот и вспомнишь лишний раз. Бывало, все ползком, где и не нужно... С ним дорожки разошлись; я работал, он за длинным рублем гонялся. Куда его только и не носило!..

— Куда? — переспросил Евгений. Он думал в эти минуты о своем, но не упускал и нити разговора.

— К черту на кулички! — громко ответил Янкин.

— Вернулся? — опять машинально спросил Евгений, думая о Котике и его житейских петлях и уже откровенно сожалея, что не выспросил у Бойко подробности.

— А чё? Отсидел два года и вернулся. По дурости ведь... Теперь шабаш! — Янкин спохватился, почесал затылок и невпопад добавил:— Хоть по-пластунски, хоть в рост, а человек прибьется, куда следует.

Янкин продолжал досказывать судьбу своего непутевого родственничка, а Евгений уже не слушал его. От Котика его понесло к иным судьбам, и это на время затуманило колючую и нескладную фигуру двоюродного брата; за его спиной Евгений угадывал какие-то давние силуэты, чьи-то знакомые глаза, сжатые губы и сдвинутые брови.

Евгений мелко и часто переставлял ноги, словно боясь упасть, и думал о привидевшихся глазах, в которых отпечатались ожидание и надежда. Взгляд его скользнул по макушкам чернявых елочек, любую из них хоть сейчас обряжай по-новогоднему... Как все было хорошо в той далекой мирной жизни!..

Воображение на миг высветлило дядю Павла, который всегда был даже излишне добрым, от дяди опять невольно принесло к Котику, и может быть, Евгений впервые так остро ощутил разницу между дядей и его сыном; во всяком случае, он не находил ничего схожего между ними: если дядя Павло муху не обидит, то Котику в рот палец не клади! Да что там палец — всю руку отхватит!.. Евгений пытался представить, что было бы с Котиком, если бы не война, но ничего определенного не прорисовывалось. Только поднялась в душе какая-то смутная обида, и казалось, что воевать нужно не только против немца, что есть еще что-то — незримое и бестелесное,— против чего нужно подняться. Он понимал: война усложнила судьбы людей, принесла то, чего могло не быть. У одного до времени положила в могилу мать, у другого — раскидала родных по белу свету, проутюжила, выжгла землю, посеяла страдания...

Война, особенно в первый год,— при отходе,— как тяжелый каток подминала и давила все на пути своем; беспощадно жгла города и села, рушила мосты и дороги, заводы и школы, дробила в черепки судьбы людские. Черная работа ее накопила в сердцах столько невозвратных потерь, горя и ненависти, что только сама же война и могла снять все это напряжение. Это был печальный исторический парадокс: войне приходилось перемалывать те злые силы, которые создали и вызвали к жизни самое войну... И она старалась, война, шла против себя же самой...

Перед вечером саперы неожиданно вышли к одному из полевых аэродромов: на карте он не значился. Солнце еще не село, в небе рождались белесые облачка, но, поиграв в лучах, бесследно растворялись. Так же загадочно, будто из ничего, возникли в синеве краснозвездные са-

молеты — это были штурмовики. Они шумно, даже нахально зашли на вражеский аэродром и стали утюжить посадочное поле, капониры с «мессершмиттами», склады и мастерские. Навстречу им взвились три машины. Широкие, темнокрылые штурмовики размеренно продолжали свою работу, а над ними вспыхнул уже воздушный бой. Пара ястребков из прикрытия вертелась на втором ярусе, отгоняя наседавших немцев. Желтые и тонкие, как осы, «мессершмитты» раз за разом ввинчивались в небо, уводили за собой пару прикрытия, закручивали вверху карусель и, вдруг оторвавшись, пикировали на штурмовиков. В отсветах заходящего солнца самолеты отливали серебром, их фонари и плоскости слепили глаза. Саперы, позадирав головы и щурясь, застыли на дальней от аэродрома опушке леса. Помочь своим авиаторам они не могли, но и уйти не решались.

— Может, сыпанем из автоматов? — спросил Наумов, но Евгений отрицательно мотнул головой: бить на таком расстоянии было безрассудно.

Скоротечный воздушный бой горел всего несколько минут, но его напряжение, истошный вой моторов и слитные строчки пулеметов, виражи машин, стремительные пике—все это растягивало минуты в долгие часы. Казалось, кто-то натянул в небе струну и дзинькал по ней, натягивая ее все туже и туже, и струна вот-вот лопнет...

— Чертова музыка! — не выдержал Янкин.

Ему никто не ответил. От завывания моторов закладывало уши. Евгений подвигал челюстями, но звон не проходил, и он, опустив голову, перевел взгляд на аэродром. С опушки было видно, как загорелся в капонире подраненный бомбой, не успевший подняться «мессер». Другой вырулил из соседнего укрытия, но взлететь не пытался, у него было подбито шасси; хромоногий, он припал на один бок и по циркулю кружил возле горящего собрата.

— Петух! — опять проронил Янкин.

За складскими крышами отчетливо залопотала зенитка. Пушечка в несколько секунд обдала штурмовики белыми хлопьями и замолкла, но ведущий качнул продырявленным крылом, нырнул на посадку. Саперы провожали глазами дымящий самолет, который протянул метров триста, за аэродромную проволоку, и покатил по старому жнивью. Черные фигурки на аэродроме замахали руками, человек пять немцев устремились в сторону штурмовика. Подбитый летчик перекинулся из кабины на плоскость, соскочил на землю, оглянулся и побежал. В спешке он не снял парашют, бежал тяжело, падая на руки, поднимаясь и вновь падая.

— Ранен, хана...— выдавил Янкин.

— Не каркай,— оборвал его Наумов и повернулся к Евгению.

Евгений чувствовал взгляд сержанта, понимал, чего тот хочет, и сам был такого же мнения: нужно выручать.

Немцы не слишком-то торопились: летчику некуда было деться в открытом поле, до леса почти километр, и летчик ранен. Они и не стреляли.

Евгений быстро прикинул: так, если податься по заросшей саженным бурьяном меже, дальше перебежками до валунов — можно отсечь немцев огнем, а тем часом двое метнутся через ложок, подхватят летчика и — назад, к опушке... Он коротко отдал приказ.

Саперы цепочкой тронулись вдоль межи. Их никто не видел и не мог видеть, все были отвлечены штурмовкой, боем и севшим самолетом.

Летчик волочил ногу. Наконец он присел и сбросил парашют. Он, безусловно, заметил погоню, потому что вынул пистолет. С пистолетом в руке он поднялся, несколько шагов пропрыгал на одной ноге и опять заковылял на двух: бежать он уже не мог. Немцы что-то горланили, но он не оборачивался и, видимо, не слышал их. Расстояние между бегле-

цом и погоней сокращалось. Но Евгений решил не тревожить немцев до времени, дать им оторваться от аэродрома.

Поначалу летчик уходил наискось от саперов, он не видел и не мог их видеть, и сгоряча порол куда попало — лишь бы подальше от аэродрома, но на ходу сориентировался, разглядел лес и повернул к ближней опушке.

Саперы уже не следили за воздухом, они не видели, как «мессершмитт» прочертил над лесом дымную дугу и упал. Все их внимание сосредоточилось на летчике. Тот мучительно переставлял ноги, ему с трудом давался каждый шаг.

Евгений крался впереди, и чем ближе был к летчику, тем болезненней воспринимал каждый его шаг. Казалось, он уже различал кровавое пятно на комбинезоне раненого, даже видел на его лице страдальческие морщины; но это была блажь, потому что на таком расстоянии мелкие детали не просматривались.

Летчик еле подвигался. Он который раз ложился и метил из пистолета, но не стрелял, расстояние до преследователей было еще велико. Отдохнув с минуту, он поднимался и ковылял дальше. Погоня топала с ленцой, троица из аэродромной команды уже не сомневалась, что русский у них в руках, и не спешила под пули. Аэродромщики не видели саперов, шли в полный рост, открыто и свободно. Евгений, пригибаясь, добрался со своими до конца межи, но перебегать к валунам не стал, положил саперов: преследователи сами накатывались на засаду.

Но тут произошло непредвиденное: обессиленный и, казалось, ничего уже не различающий летчик заметил кого-то из саперов и затем обнаружил всю группу. Он принял их за немцев и метнулся в сторону. Саперам ничего не оставалось, как отвлечь немцев на себя... Евгений вскинулся, увидел, что Янкин с напарником побежали к летчику. Летчик, став на колено, садил встречь Янкину из пистолета, а бредущие по отлогому косогору немцы не понимали происходящего и застопорили.

В небе по-прежнему не затухал бой. Евгений невольно задрал голову: его встряхнул шум идущего на бреющем штурмовика. Свой брат штурмовик поливал саперов из пулемета, кто-то из них вскинулся и повалился, остальные махали летчику руками, но тот не видел, и наверное, не мог видеть, что к чему. Обстреляв саперов, он с этого же захода пошел на снижение, коснулся колесами грунта. Из катящегося самолета выскочил пилот, подбежал к раненому, поднял его и завалил в кабину. Через минуту штурмовик улетел.

Схватка с аэродромниками пыхнула накоротке, немцы отпрянули. Саперы тоже не пошли на обострение, подобрали своего раненого и подались в лес.

— Браток угостил...— буркнул Янкин. На носилках лежал Михась, щупленький и светловолосый белорус, который не терял бодрости и с мальчишеской беспечностью подмигивал идущему в ногах у него Янкину. Михась скрывал испуг, боялся показаться слишком молодым и слабосильным среди этих бывалых сапериков. Лесная сумеречь и спешка, в которой уносили его подальше от немцев, выручали раненого — лицо Михася было внешне спокойно, хотя все знали, что пуля угодила в живот. Кровь безостановочно сочилась сквозь бинты. К носилкам зашел сбоку Наумов, осуждающе зыркнул на Янкина, хотел что-то сказать, но Михась перехватил взгляд сержанта:

— Ни в дудочку, ни в сопелочку, а так... Помру ведь я, хлопцы...

Наумов старался не встречаться глазами с Михасем, крутил головой

в одну и другую стороны, как бы проверяя строй, но сержанта выдавала рука, она непроизвольно шарила по краю носилок, что-то озабоченно поправляла и подлаживала.

— Нынче музыка такая...— Наумов махнул рукой, опять прикоснулся к носилкам. Сам того не замечая, стал их покачивать, как люльку, так что Янкин удивленно посмотрел на него и сказал:

— Возьми, вот.

Передав держаки сержанту, Янкин выдвинулся на свое место, впереди него шагал один лишь Евгений.

— Товарищ капитан,— обратился Янкин,— выйдем на железку... а как же?..

— Что — как же? — спросил Евгений, понимая, что речь шла о раненом, и в душе досадуя на задержку возле аэродрома. Времени и так оставалось в обрез, на полустанок нужно было — кровь из носу — попасть к исходу дня и ночью выполнить задание. Таково распоряжение свыше, и Евгений понимал, что срок жестко увязан с продвижением дивизии. Не впервой возвращался он мысленно к вездеходу, который ускорил бы перемещение группы, но тут же и отмахивался от докучливой думки: по заболоченным чащобам только пешедралом и продерешься, да и то не всюду: сколько приходилось петлять, упираясь в непролазные топи, крутые овраги и медвежьи углы... На карте здорово получалось, а вот на местности... Только здесь и узнаешь, чего стоят они, эти фланговые рейды, особенно для небольшой группы, которая мается на своих двоих... Евгений уже не доставал сотку, он помнил пробитый маршрут, только изредка поглядывал на замшелые стволы деревьев да сверялся с компасом.

Саперы пересекли старую вырубку и опять попали в девственный лес. Какое-то время они хлюпали по мокрой и ржавой низине, потом стало суше. На углу лесной делянки торчал стесанный на четыре канта столб с изъеденными лишаем номерами квадратов. Евгений повел глазами по белым стволам, и деревья будто кинулись врассыпную. «Что это я, в лесу не бывал?» — подумал он, смущенно кашлянув, хотя никакого кашля, да и вообще простуды за время войны не знал. Мысль вернула его к прежней заботе: придется оставить Михася в поселке, близ полустанка. Евгений обернулся, кивком головы подозвал Янкина.

— Хозяйку посговорчивей найди.

Янкин кивнул.

Дальше тащиться с раненым они не могли. Кто знает, может, еще и выживет хлопец, а не выживет, так хоть помрет по-человечески, на руках у женщин...

Евгений подумал об этой вечной женской доле — врачевать солдат, и вдруг ясно вспомнил наказ майора Зубова — попутно поинтересоваться, что там с женским лагерем. По сути дела, именно майор Зубов и привлек Евгения к этой опасной работе в ближнем тылу врага. Евгению живо вспомнился разговор с Зубовым накануне наступления. Зубов даже както навязчиво толковал о мифическом лагере. Евгению же не верилось, чтобы в этих местах, почти не подвластных оккупантам, существовал лагерь пленных, да еще женский.

Лесной поселок открылся внезапно, с просеки. Когда саперы приблизились к нему, уже вечерело. Наумов с напарником осторожно опустили носилки со спящим Михасем. Янкин подался в поселок, но не отошел и десяток шагов, как Наумов окликнул его:

— Эй ты!..

— Забыл как звать? — недовольно обернулся Янкин. Но по тому, как склонился Наумов над носилками, понял, что нужно вернуться.

И, уже отмерял шаги в обратном порядке, привычно ворчал: — Чё? Ну чё?

Никто не видел, как скончался Михась. Он будто уснул. Носилки, слаженные из шинели, надетой рукавами на жерди, промокли под ним, он лежал в кровяной луже.

— Эх, хлопец, хлопец...— прервал молчание Наумов.— Чуток не дотянул!

— Дотянул,— отозвался Янкин.— Дома он, Михась...

В вечернем поселке было тихо и безлюдно, как на погосте, даже собаки не брехали. Саперы миновали крайнюю избу, просмотрели весь порядок, но не обнаружили живой души и возле второго двора остановились, постучали в воротца. Им долго не открывали, наконец, в окне кто-то завиднелся, глухой голос спросил — что за пришлые, и вслед за этим негромко бренькнул запор: по военному времени хошь не хошь, а отмыкай.

— Мы свои,— успокоил Евгений.

В дверном проеме возникла фигура немолодой женщины.

— Вам чего?

— Сельсовет хотели...

Женщина поколебалась, но, видно, уверилась в людях, ответила:

— Был... Ну есть... Вон, под жестью.

— Мы хоронить.

— Хорони-ить...— Она качнула головой.

Вскоре собрался народ. Михася занесли в сельсоветское здание, бабы принялись обмывать умершего. В ближнем дворе застучал топор — ладили гроб. Евгений сидел на крыльце, смотрел, как копали у дороги яму; место выбрали правильное, с обеих сторон шелестели деревца. Евгений встал, прошел туда — рябины. Было уже совсем темно, он не различал лиц, а только улавливал, как поблескивали начищенные землей заступы.

Вернулся на крыльцо, долго сидел спиной к двери, но слышал шаги и возню внутри помещения, видел, как мимо него пронесли что-то, может, убранство покойнику, а может, еще что, и думал о том, как хоронили при отходе — в былые годы... Бывало, и раненых не выносили, такие дела, а уж мертвых...

Еще до полуночи Михася засыпали, Янкин затесал грань на пирамидке и карандашом вывел — кто и когда положен.

На этот раз минировали полотно вплотную к полустанку, охранников здесь оказалось жиже, чем на перегонах. Работали споро, за час только Наумов однажды прервал тишину:

— На удочку?

— Не надо, так сработает,— ответил Евгений.— Некогда.

Заряд вкопали на стрелке за платформой, с которой немцы всю ночь грузили технику — по силуэтам тяжелые танки или самоходки. Напоследок Наумов нырнул под состав, прилепил две магнитные мины.

Уходила группа вдоль ветки, по обрезу болота, и на рассвете, после взрыва, была обнаружена с патрульной дрезины. Теснина вязала саперов, им ничего не оставалось, как свернуть в болото; мелкая поросль скрыла их, немцы с дрезины наугад поцокали и затаились. Однако возвращаться к насыпи было рискованно. Евгений решил пробиваться через болото.

Щупать дно вызвался Янкин. Он отдал вещмешок с остатним толом, вырубил жердь и побрел. За ним следовали Евгений и все остальные. Поначалу воды было по колено, там и сям громоздились корневища, но

скоро отмель кончилась, стало вязко. Саперы растянулись, но Евгений, пропустив всех вперед, подгонял задних, а Янкин, понимая обстановку, шел как заведенный. Дно то поднималось, то опускалось, вода доходила до плеч, и тогда вещмешки со взрывчаткой и продуктами поднимали над головой.

Где-то посреди болота выткнулся мокрый островок, саперы примостились отдохнуть. Янкин сидел, не выпуская жердь, его донимали комары.

— Сержант, подсоби,— шутливо попросил он.

— За отдельной насекомой гоняться? — Наумов свел брови.— Я есть комсостав! Каждого не шарахнешь, воспитывать следует.

— Думал — друг.

— Дружба дружбой, а служба службой... Сам шарахни!

Посидели, покурили и опять полезли в гниль. У самой кромки Наумов наступил на ржавую каску, а приглядевшись, заметил в желтой воде ручной пулемет, тоже красный от налета; кто-то воевал здесь и оставил след; может, партизаны гнездились на недоступном клочке суши посреди топкой гущины, а может, занесло сюда войсковое подразделение, кто знает... Саперы двигались гуськом, разбираться в печальных находках было недосуг, да и не по настроению. Тихий разговор перекинулся на костерок, зажечь который ратовал Наумов, но это благое желание Евгений отверг. Все-таки по тылам идут!..

— Ну, что ты за сержант,— посмеялся над другом Янкин.— Костра и то не обеспечил...

— Ладно, обеспечишь вас!.. Слышь, стреляют?

Саперы примолкли: в стороне ясно прослушивалась пальба. Вскоре они выбрались на сухое, пересекли проложенную к торфянику узкоколейку, потаились за вагонетками и поняли — разработки свежие, хотя никого поблизости не обнаружили, и было удивительно — кому нужен здесь торф...

Перебравшись через болото, саперы углубились в лес. В лесу было сумрачно и мокро, где-то слева хлопнула слепая мина. Пальба послышалась уже совсем близко. За поворотом дороги открылся обнесенный колючкой лагерь, Евгений поводил биноклем:

— Пленные бабы...

3.

МЯТЕЖ В ЛАГЕРЕ был в разгаре. Захватив оружие и отогнав стражу, женщины под командой Симы кинулись на выручку вопивших во втором бараке подружек. В два счета были распахнуты двери, и освобожденные узницы повалили наружу. Тушить барак никто не стал, он полыхал, рассыпая искры. В лагерь доносились отдаленные звуки боя, орудийный гром и пулеметная россыпь нарастали; расстояние до фронта определить было невозможно, однако никто из женщин не сомневался в стремительном приближении своих. Стрельбу слышала и охрана, это привело ее в растерянность. Пользуясь суматохой, Сима увлекала за собой женщин:

— На ворота!

Разъяренная толпа двинулась к воротам. Нужно было открыть выход на волю, и толпа валила к проходной. Впереди неслась Сима, она накоротке остановилась, пустила из автомата очередь и потрусила дальше. Лагерная администрация и охрана были подавлены, лишь в проходной маячил часовой.

— Свобо-ода! Свобо-ода! — орали женщины, помня только одно: сейчас они выйдут на волю.

Саперы тоже кинулись к воротам.

Выглянувший из будки немец в упор пальнул в Евгения, Евгений присел и повалился, но сразу вскочил, потрогал задетое ухо и ответил выстрелом.

А к воротам уже подвалила толпа, женщины с налету опрокинули створки, выплеснулись на дорогу. В оборванной одежде, исстрадавшиеся, но свободные, вольные, они удивленно замолкли, еще не веря, что свободны.

— Свои-и-и! — истошно взорвались они вдруг.

В глубине двора еще мелькали зеленые френчи, но на них не обращали внимания. Женщины окружили саперов. Евгений схватил взглядом грязно-зеленые бараки, вышку на плацу, караульную будку и обрубок подвешенного, словно на виселице, рельса.

— Свои-и...— всхлипывали и смеялись женщины. Их заскорузлые руки беспомощно торкались в выцветшие косынки и платки, оглаживали юбки из серого рванья. Евгений хотел распорядиться об охране на дороге, но упустил момент, сапериков расхватали, куда-то повели, что-то им лопотали... Одетые в рубище узницы наперебой тянули освободителей в бараки, словно это были царские хоромы.

Евгений оторопело смотрел на толпу. Перед ним остановилась женщина с припухшими веками, вся одежда ее состояла из обернутой вокруг туловища мешковины.

— Что, не узнаете... таких? Же-е-е-ня...— всхлипнула она.

Евгений насилу признал Аню, которая выскочила за ворота вместе со всеми и кричала, как все, но когда увидела его — оторопела. У нее тряслись губы, она беспомощно приглаживала руками свою серую мешковину.

— Вот какая я...

— Вот какой я... — в тон ей ответил Евгений, хотя ему было стыдно и за свое сытое, наверно, лицо, и за свой не лагерный костюм.

У самых ворот раскинулся лес. Евгений с Аней брели без тропы, без дороги, не думая — куда и зачем. Он взял ее за руку, они суматошно петляли между стволов, пока не упали на землю.

Земля отдавала прелым листом, деревья роняли что-то, Аня недвижно лежала на руке у Евгения, над ней раскинулся зеленый шатер — и не было войны... Забылось все — барак, торф... Она уставилась в светлые зрачки Евгения. Он гладил ее волосы:

— Аннушка... Аннушка...

И опять они рядом, щека к щеке, вновь нашептывал что-то лес, прокричала где-то сойка... Еще столько прошел бы Евгений, все сначала, через всю войну... В сознании его — школьные годы, испуганное лицо мамы: «Где ты был, Женя?» Смешная мама... Аня лежала, запрокинув голову, и тоже думала о своем, может, о прошлом, а может, о настоящем... Она чуть слышно напела:

...Мы по бережку идем,
Песню солнышку поем...

Ей было легко, она упивалась радостью, которая свалилась на нее так внезапно...

— Товарищ капита-ан!— позвали из лагеря.

Евгений очнулся, вскочил, подхватил автомат.

— Женик, поговорить охота...

— Некогда, Аннушка... Э-х, че-ерт!

Застрекотала где-то очередь, стороной прогудел самолет. Евгений потер глаза и зашагал к лагерным воротам. Ощущение невозвратимости

минувшего кололо сердце. Евгений приметил, как отставала Аня, будто какая-то сила тянула ее назад, и тоже невольно замедлил шаг. По лицу его задела еловая лапа, он ее придержал, пропуская Аню.

— Что слышно о твоих?— спросила она.

— Комиссар видел Котика...

— Какой комиссар?

— Ты не знаешь, однорукий... В партизанах командует.

— А вот и знаю!

Аннушка немало могла бы сказать об одноруком, но все словно не к месту было, — и листовки, которые попадали в лагерь из отряда однорукого, и сводки Совинформбюро...

— Аннушка, нам пора... — все еще не решался выпустить он ее руку, хотя саперы уже поглядывали на своего командира.

— Женя, Женя!... Так вот мы и расстанемся?..

— Встретимся, Аннушка... Теперь уже не потеряемся.

Они поцеловались, и Евгений ушел.

Глава восьмая

1.

ЕВГЕНИЙ ДОГНАЛ свой инженерно-саперный батальон на привале возле Молодечно. Пользуясь полным господством в воздухе, армейские части совершали марши не только ночью, но и днем. Дороги были забиты колоннами танков, артиллерии и пехоты, за ними сплошным потоком катили машины с боеприпасами, бензовозы, кухни и всякий иной транспорт. Кругом гудело, в воздухе держалась синяя завеса перемолотой и прогретой солнцем пыли и выхлопных газов, к этому добавлялись испарения бензина, солярки, запах раскаленного металла, резины и краски. В густом, горячем месиве, которым едва можно было дышать, слышались весёлые возгласы и смех солдат. Временами ветер сносил с дороги мутную заволочь, и тогда вдали открывались другие, обсаженные деревьями шоссейки и грунтовки, над ними, наискось к войсковым колоннам, тоже клубились, распухая и ширясь, пыльные завесы. Пыль рассасывалась медленно, и поэтому казалось, что вся местность покрыта дымкой, и нет на этой странной земле ни лесов, ни рек, ни полей — только дороги и горячая пыль...

Люди с недоумением, не умея и не желая подавлять радость от сознания своих успехов, взирали вокруг. Тонкий, измельченный песок набивался в уши, в нос, порошил в глаза, скрипел на зубах; изредка в просветах проплывали крыша, колодец, обсыпанная бурой пудрой яблоня... Но грузовик с ревом проскакивал населенный пункт, и опять перед солдатскими глазами расстилалась необозримая песчаная пустыня, закрывавшая и леса, и уцелевшие деревни.

Саперы пробивались в общем потоке, это было для них необычно, вызывало удивление.

— Забыли о нас!.. — сетовал Янкин. — А может, отдых? Вона, пехтура, и та на колесе...

— Перегруппировка, дядя, — благодушно, как новичку, поведал Наумов.

— Знаю... группировка. Бывало, мосты, трубы дорожные — только поспевай! День и ночь ладили, а тут...

— Тут!.. Некогда пакостить, время вышло. Ноги в руки — и чешет!

— Всю бы жизнь так воевал... — не унимался Янкин. — Забыли нас, сержант!

Но о саперах не забыли: в тот же день выдвинули для обозначения проходов. Работа выпала легкая, саперы ставили на трассах указки с подсветкой — для ночных действий. Посланный за дополнительными стойками ефрейтор где-то задержался, и сержант Наумов на всякий случай отправил в рощу Янкина с молодым солдатом.

После пыльной езды прогулка в прохладный, обойденный войсками березняк показалась счастьем. Янкин всегда любил лес, а сейчас так зашагал туда, что молодой солдат едва поспевал за ним.

Роща издали казалась приветливой, на самом же деле война не обошла и ее: выкорчеванные и посеченные снарядами березы, заплетенные корнями воронки и обитая снарядами траншея на опушке говорили о недавнем бое. Под вывороченным пнем Янкин подобрал ошалелого лисенка, зверек жался к засыпанной норе. «Влип, рыжий...»—бубнил над ухом у него Янкин. Лисенок сначала держался смирно, потом забеспокоился и тяпнул Янкина за палец. «Сиди, дурной, сиди...»—Янкин прижимал щенка и говорил, забывшись, вслух, потому что думал о другом, о том, что нет у него детей и не будет уже, наверное... Где-то в глубине его сознания промелькнуло щемящее сожаление — о чем раньше думал? Но он потушил это сожаление, зажал до тупого отчаянья и переключился на другое, на работу. Прихватив длиннохвостого, тявкающего пленника ремнем за шею, он замахал топором, смахивая тонкостволые березки.

Живой трофей принес он, вместе с кольями, в расположение роты и, не откладывая дело, приспособил из макаронного ящика будку. Оставшийся за старшину ротный писарь — по прозвищу Алхимик — корчил из себя начальника, долго морщился, но обещал везти щенка с собой. В другое время Алхимик ни в жизнь не загрузил бы транспорт пустяками и не поставил бы на негласное довольствие шелудивого ворюгу, но сегодня смягчился: прознал в штабе — даже ротный еще не ведал, — что велено представить саперов к наградам.

Трассы к переднему краю саперы вывели уже затемно. Янкин с сержантом Наумовым проверили остатние фонарики, убедились — все зажигалось, обозначения чередовались как положено: синее, красное, зеленое... Оставалось ждать сигнала, и они присели под кустом.

«Приспособить бы к ногам спидометр»,— мечтал Наумов.

Янкин посмотрел на сержанта почти безразлично: и не видно было его лица, и думал Янкин в эту минуту о другом — думал о непутевом лисенке. Нужно ж было наткнуться... Сиди теперь и гадай: накормил повар или забыл, зараза толстая!

— Спидометр, он каждому свое отмерял бы...

— Во-во! — со скрытым смехом подхватил Янкин. — Отмахал сотню верст и валяй на побывку... Учет, брат!

— Плетешь ты...

— Ну, и плету. Домой охота! Хоть пешком!..

В вечерней тиши Евгений отчетливо поймал последние слова, по голосу издали признал Наумова, и когда тот подхватился, а за ним Янкин, махнул рукой: сидите, мол... Наумов бегло доложил о готовности, и Евгений пошел дальше. Он спешил, его вызывали в штаб, и он не сомневался, что там потянут из него цифирь для сводки. Собственно, он ничего не имел против того, чтобы наведаться в штаб, где можно подхватить газету и радио послушать, тем более, все сделано, на всем участке установилась тишина. По этой мертвой тишине Евгений безошибочно судил, что подготовка к новому рывку закончена. В дневных заботах и суете он не приметил — когда, в какой час все притихло, и слушал ночную тишину с

удовольствием. Ему было легко, в душе он чувствовал уверенность, даже некоторую беззаботность: наступление продолжится, все будет хорошо. Вот только сводка... В уме он прикидывал, что выполнено за день: в штуках, в кубометрах, в человеко-днях. Сводки эти вечно досаждали, писать их полагалось днем, когда работы в разгаре, и приходилось авансировать на глазок. Недолюбливал Евгений эти сводки. Войска громадным валом катились вперед, освобождали землю, возвращали оставленные когда-то города и деревни, встречали выученных из неволи жителей, и за всем этим — цифирь: сколько нарубил за день кольев, сколько выкопал щелей.

Штабной рыдван приткнулся на ночь под кустом ольхи, Евгений миновал часового, перебрался через какие-то рытвины и постучал в дверь.

— Да! — послышалось.

В будке сидели ротные командиры и политруки, все они усердно строчили карандашами. Евгений глянул на бланки, понял: шло оформление наградных. И хотя писанина предстояла немалая, он с облегчением вздохнул и тут же вспомнил о своем политруке, раненном накануне и отправленном в госпиталь. «Выберусь поутру, проведаю»,— решил он. В дальнем углу виднелся майор Зубов, недавно назначенный вместо убитого комбата.

— Садись, сочиняй, — сказал Зубов, освобождая за столом место.

Евгений молча раскрыл планшет, выдернул пачку исписанных листков: это были подготовленные политруком еще до ранения наградные. Евгений стал разбирать писанные бог знает где и как слова. На коленке, что ли, раскладывал он эти бумажки? Однако заготовлено было на всех, о ком сговорились. Евгений быстро переписал на бланки боевые характеристики, и Зубов довольно хмыкнул.

— Молодец! — сказал он. — Теперь катай на себя.

— Ну...

— Давай, давай! Не могу за всех... поправлю!

Евгений принялся мусолить карандашом. «...было установлено... штук мин... — подбирал он слова, — ...подорвано железнодорожного пути... уничтожено вражеских...» Евгений как будто смотрел на себя со стороны. Получалось, что ничего он не делал собственноручно, все выполняли солдаты, он только приказывал. В голову ему пришел вопрос: как бы описал его действия тот же Янкин? Или Наумов? Как им виделось участие Евгения в последних боях? Ну, хотя бы в недавнем тыловом рейде... За перегородкой штабной колымаги цокала сонная машинка, это был единственный нарушающий ночную немоту звук.

— Не могу, товарищ майор... — выдохнул Евгений, с пристуком кладя карандаш.

Зубов взял черновик, пробежал глазами, укоризненно покачал головой:

— Я три ночи пишу, пишут помы и замы... Вот и награждай вас!

Не выспавшись и не дав поспать солдатам, Евгений чуть свет поднял роту, повел в назначенный для дивизионного резерва район: перед началом новой операции следовало проверить на этом участке мины. Ротные грузовики смяли на обочине проволочную загородку, пересекли луг, обогнули нескошенное ржаное поле, переползли сухую канавку и скрылись в лесу. На первой же просеке Евгений объявил малый привал — пора было завтракать, — и пока повар раздавал порции, собрал взводных, велел нанести на склейку новые квадраты, назначил время и место сбора после задания.

Позавтракав, саперы разъехались. Евгений остался с первым взводом: участок взводу достался сложный, на пересечении дорог, вероятность засорения здесь была наибольшей. Он ехал в кабине передней машины по глухой, нехоженой дорожке, пока не углядел на пне поставленный торчком крупный, с желтым пояском снаряд. «Вот так клюква!» — подумал он. Пришлось раньше времени доставать миноискатели и щупы.

Проверка на минирование почему-то считалась среди саперов работой не пыльной — маши себе да маши рамкой, слушай, покуда не пискнет в наушниках, или пыряй землю щупом. Однако так только казалось, на самом деле трудно, ох как трудно было определить, с каким заговорным словом подступиться к находке... Евгений откровенно не любил эти поиски и не столько из-за ответственности, сколько из-за внутреннего чувства некоторой своей несостоятельности — в душе он никогда не мог дать полной гарантии безопасности танкистам, артиллеристам, пехоте...

Со снарядом никаких сложностей не вышло, но за поворотом дороги Евгений обнаружил скученных людей да еще приметил среди них своих, с миноискателями.

— В чем дело?

— Да тут ... — смутился Наумов. — Сами посмотрите, товарищ капитан.

Евгений подошел. Между кустов разглядел группу военных и цивильных, среди них выделялась женщина. Все стояли над свежераскрытым рвом; на дне его чернели уложенные штабелями полуистлевшие людские тела. По остаткам одежды можно было судить, что захоронены здесь военные.

Возле рва работала комиссия по расследованию злодеяний фашистов. В этом лесу размещался лагерь смерти, в нем истребляли русских и белорусов, поляков и евреев... Члены комиссии заносили в протокол результаты вскрытия, описывали вещественные доказательства: пуговицы, погоны, эмблемы, остатки документов и всего, что сохранилось и могло привести к опознанию и определению обстоятельств гибели людей. Брались пробы для анализов и лабораторных исследований.

Евгений перекинулся словом с охранниками и присмотрелся к арестованному, который что-то объяснял; его уже не слушали, но он повторял рассказ, кивая головой в сторону рва: «Возили... ночью, потом и днем...» К Евгению приблизилась женщина, с минуту молча смотрела на него, потом отошла в сторону. За ней последовали корреспонденты. Среди представителей прессы находились и зарубежные журналисты, один из них — в полувоенном френче без погон и знаков различия — особенно оживленно выпытывал что-то и, кажется, был недоволен, что женщина слишком коротко и неохотно отвечает.

Господин этот появился на Западном фронте в качестве журналиста одной из нейтральных держав. Многие вопросы интересовали его, он был в беспрерывных разъездах, но, в отличие от собратьев по перу, до поры до времени не рвался в районы боевых действий.

Он писал о героизме рабочих, особенно женщин и подростков, и это вызывало волну благосклонных откликов как в среде его читателей, так и в среде газетчиков. Господин корреспондент неоднократно бывал в восточных районах и в Сибири, видел, что практически значило перебазирование русской промышленности в тылы, а заодно присматривался к этим тылам, или, как говорили, к глубинке; присматривался и принюхивался, потому что кое-где в этой восточной глуши запахло нефтью... Этот же, тогда еще едва различимый запах привел его в конце концов и в Бе-

лоруссию, в прифронтовую полосу. Разговаривая с подавленной горем белорусской женщиной, он думал не об останках замученных людей и не о судьбах тех, кто понуро ходил возле громадной могилы, но размышлял о своей собственной жизненной стезе. Нельзя сказать, что его грызли сомнения или укоры совести — просто он думал о себе, и ему было мало дела до каких-то там общих интересов; он служил хозяину, и не его забота — какие цели ставил тот на первый план. В конце концов война шла к завершению, и кое-кто собирался ловить после войны рыбку в мутной воде: что ж, на то и щука в реке...

Мысли его прервало появление кавалькады легковых машин. Первая машина остановилась вблизи разверзнутой могилы, из машины выскочил адъютант, распахнул дверцу, и на рыхлый песок выбрался генерал. Господин корреспондент окинул взглядом гимнастерку и полевые погоны генерала, глянул на номер машины, безошибочно определил: приехал командующий наступающей на этом направлении армии.

Командарм был с палкой, он припадал на ногу после ранения. Тяжелая самодельная палка генерала напоминала господину корреспонденту его собственную трость, с которой он не так давно разгуливал. Тем временем генерал переложил палку в левую руку, принял доклад офицера — это был Евгений, но господин корреспондент не обратил на инженерного офицера ни малейшего внимания — и заговорил с председателем комиссии. Господин корреспондент воспользовался первой же паузой и представился.

— Так что же хочет пресса? — спросил генерал. Он смотрел на зарубежного журналиста с некоторым недоумением, и весь вид генерала показывал, что обращаться к нему по делам, связанным со злодеяниями военных преступников, вряд ли стоит, это — не в его компетенции. Генерал выразительно перевел взгляд на председателя комиссии, но господин корреспондент был стреляной птицей, он без промедления подступил с вопросами...

Позже, по дороге на КП, генерал мысленно вернулся к своему интервью, и его не покидало ощущение, что разговор с зарубежным корреспондентом вился вокруг чего-то другого, далекого от фактов истребления в лагере пленных. «За что же положили головы эти люди? — извиняющимся тоном допытывался журналист.— За белорусский лен, за картошку?» — «И за картошку»,— отвечал генерал. Журналист согласно кивал головой, что-то заносил в блокнот, но генералу не хотелось всуе повторять так много значившие для него слова о Родине, о долге, о чести... Тем временем настырный газетчик низал вопрос на вопрос: какие еще ценности имеет Белоруссия? Лес? Каменный уголь? Железо? Другие ископаемые?..

Дорога на КП петляла по перелеску, машина примяла колесом моховую кочку, развалила гнилой пенек и скользнула под шлагбаум. Даже в стороне от главных дорог не умолкал гул наступления, где-то над головами завывали самолеты, в отдалении натужно рыкали танки и сплошным разноголосым хором заливались грузовики. Вся огромная махина, называемая армией, двигалась вперед, на запад. Командарм постоял возле машины, определяя по звукам, что происходило вокруг, и утвердился в приятной уверенности: все идет по плану. По отдаленным голосам танков и автомобилей он определил выдвижение дивизий второго эшелона, глянул на часы и показал рукой адъютанту: машину отпустить. Усталость валила его с ног, он присел тут же на пенек, потер ладонями виски, словно стараясь освободиться от наплывших вдруг воспоминаний. Не к месту они были, воспоминания о первых месяцах войны, но и отделаться от них не так-то просто... Командарм

сломил подвернувшийся под руку березовый прут, хлестнул себя по голенищу, вновь прислушался к отдаленному рокоту моторов. Как ни быстро продвигалась армия, ему все казалось, что она могла бы двигаться и быстрее...

Перед командармом вырос дежурный, попросил к телефону, и он, опираясь на палку, захромал к аппарату. Телефонный вызов окончательно переключил его на дела насущные: командир дивизии второго эшелона уточнял будущий маршрут, в частности, просил разрешения передвинуть левофланговый полк за топкий, болотистый ручей. И командарм согласился, хотя и не без сожаления: не хотелось до времени бросать в дело армейских саперов. Но комдив был прав: теперь ли, потом ли — все равно придется переползать эту вязкую, торфянистую пойму. Все мысли генерала привязались к карте. Очертив жирной линией новое местоположение полка, он вызвал авиатора и артиллериста; с ними зашел начштаба, и командарм с первых же его слов понял, что армейские стратеги мысленно уже перебросили полк за речушку.

— Без меня меня женили? — усмехнулся он, довольный предусмотрительностью своих помощников.

Отпустив всех, он снова склонился над склейкой. Если дивизиям второго эшелона удастся захватить переправы с ходу — все образуется, можно будет тянуть руку дальше, почти до старой границы. Только бы тылы не отстали — боеприпасы, горючее, хлеб... Командарм повел пальцем по карте, проследил прочерченные коричневым цветом армейские маршруты, покатал между разгранлиниями карандаш. Да, да — боеприпасы, горючее, хлеб... С необъяснимой досадой восстановил он сегодняшний разговор с этим щелкопером-журналистом, и в подсознании его возникли какие-то незримые узлы, в узлах тех пересекались две чуждые линии. Каждая линия имела свое направление, но они все-таки пересекались... Командарм задумчиво поглядел на красную стрелу, протянувшуюся через всю карту, и снова потер ладонями виски: обычный, ничем внешне не примечательный разговор с зарубежным журналистом сидел в памяти, как заноза...

2.

Закрыв корреспондентский блокнот, господин журналист долгим взглядом проводил русского генерала и его свиту. За машинами поднялась пыль, господин журналист чихнул, это заставило его нагнуться, и он непроизвольно прихватил щепотку свежего песка, растер на ладони и принялся сосредоточенно, пожалуй, слишком сосредоточенно изучать. Он непроизвольно повторил жест рядом стоящего солдата с миноискателем. Солдат был не молодой, плохо выбрит и весь мятый, было заметно, что спал он прошлую ночь отнюдь не в гостинице, и все-таки у господина журналиста что-то шевельнулось внутри: ему был симпатичен этот уставший от войны русский... Господину журналисту даже захотелось потолковать с ним. Но он подавил в себе это малодушное желание, стряхнул с ладони песок и зашагал к автомобилю.

Господин журналист не хотел расслабляться, он и так чувствовал в себе раздвоенность; в конце концов он был живой человек, двигался в общем потоке, видел воодушевленные лица, видел общий порыв и, если хотите, патриотизм русских, и не мог не поддаться этому хотя бы

в какой-то мере. Ои ловил себя иа том, что и у иего появилось хорошее настроеиие, ои разделял радость русских! А ведь в свое время он вот так же радовался успехам геиерала фои Бутлара, который железиой лавиной двигался иа Кавказ. Ах, Бутлар, Бутлар! Теперь они смотрят иа лииию фронта с разных сторои. Воистиину, пути иейтральиого журиалиста неисповедимы... Он стремился иа Кавказ, но фортуиа распорядилась иначе, он не попал в горы, и вот — лесная Белоруссия... Ои был в Сибири, где писал о трудовом героизме русских, он иапишет и об этой Белоруссии. Люди, которым положеио все зиать, намекают: здесь тоже может запахиуть иефтью. Во всяком случае, господии журиалист зиал, что поисковые работы белорусских геологов иаходятся в сфере виимаиия самого Сталииа. Вполне возможно, что геологи идут следом за иаступающими войсками... Он поерзал иа сиденье своей машины, его так и тянуло огляиуться, посмотреть иа свежеразрытый ров, но какой-то суевериый страх не давал сделать это; в ушах все трезвоиил иеумолчиый заупокойиый колокол, и память рисовала картииы иедавиего прошлого — картины, которые забыть нельзя...

Было тогда так: господии журиалист ехал в иемецком штабиом автобусе. Когда иалетели русские самолеты, ои побежал прочь от дороги, упал в траву; ои упал и обиаружил, что лежит голова к голове с русским солдатом, это было как иаваждеиие... Но покуда русский лежал, уткиувшись головой в траву, господии журналист вскочил и позаячьи запетлял иазад к дороге, благо, самолеты уже проиеслись. Лишь отбежав иа безопасиое расстояиие, ои вспомиил любезиое предложеиие фои Бутлара: генерал приглашал его в броиемашииу. Но ои отказался, ие хотел афишировать близость к генералу, обращать на себя виимаиие в штабе корпуса. Ему иужио было затеряться, раствориться среди представителей гермаиских промышлеииых фирм, двигавшихся за войсками. Так лучше...

Господии журиалист сблизился с геиералом фои Бутларом еще в Греции, перед отправкой корпуса геиерала в Россию. Господии журналист, сиабжеиный солидными рекомеидациями, иа удивлеиие импоиировал генералу, который вообще-то ие очеиь благоволил к штатским. Симпатия к иему особеиио укрепилась после того, как большиииство прикомаидированных испарилось иа бескрайних просторах Украины, лишь господин журиалист, с его почти воеииой осаикой и выдержкой, стоически продолжал путь иа юг. Их беседы стали заметио откровенией, оба осторожио маиеврировали — несколько двусмыслеиио говорили об успехах иаци на востоке, о иефти и воеиных замыслах Гитлера и даже касались такого скользкого вопроса, как политика. В своих суждеииях геиерал склоиялся к тому, что успех фюрера иа Кавказе пошатиул бы позиции Аиглии в страиах Ближиего и Среднего Востока; господии же журиалист прозрачио иамекал, что имеиио устойчивое положение аиглийских вооруженых сил в бассейие Средиземного моря, твердые стратегические позиции в Ираке, Сирии и Персии, с их иефтеиосиыми райоиами,— которые так манили иемцев,— и есть главное препятствие на пути к Кавказу. Разумеется, он излагал далеко ие все, что думал: ие иапоминать же фои Бутлару о походах рыцарей ко гробу господню...

Где-то ои сейчас, этот доблестиый иемецкий генерал?..

Все последиие месяцы фои Бутлар чувствовал себя, говоря по-русски, ие в своей тарелке. Перевод с юга России в Белоруссию, в группу «Цеитр», не радовал его.

С того утра, когда наступление в Белоруссии захлестнуло все пространство, когда бои сменялись паузами и паузы — боями, ничто не менялось к лучшему. Русские продвигались день и ночь, и в этом их бешеном наступлении фон Бутлар потерял счет времени.

Генерал уже несколько суток сидел на передовом командном пункте. Он по крупицам, со старческим брюзжанием и не свойственным ему ранее многословием подбрасывал резервы и пытался во что бы то ни стало спихнуть русских в реку; но их переправы были неправдоподобно живучи, русские цепко держали свои, как они называли, пятачки, затем ринулись вперед.

Генерал фон Бутлар, упорно сражавшийся на Восточном фронте, едва ли не одним из первых ощутил зыбкость почвы под ногами. Состояние ли духа подчиненных войск или белорусские болота, зловонная ли атмосфера в самом рейхе или ошеломляющие успехи Советов, трезвость ли его ума или неумолимо проясняющаяся международная конъюнктура, а может, все вместе взятое, заставили фон Бутлара выслушать в свое время осторожные намеки и предложения заговорщиков. Тем более, что сам генерал давно имел основания не только не верить в гений фюрера, но и питал к его личности более чем недобрые чувства. Это тянулось издалека, в памяти возникала поездка в ставку всемогущего ефрейтора и унизительный, даже прямо оскорбительный разговор. Но и это было не главное, мысль вела его еще дальше, отступала ко времени, когда перед германским генералитетом встала дилемма: подчиниться ли безоговорочно Адольфу Гитлеру, выскочке и авантюристу, или держаться некой мнимой независимости, прикрываясь позой традиционной аполитичности вермахта. Теперь-то фон Бутлар понимал, что ничего они тогда сделать не могли: Гитлеру отвалили миллионы те же люди, на чьи деньги лились пушки для армии... Игра зашла слишком далеко, пора выпутываться. Но как? Устранение одной фигуры, без заметных изменений во всей налаженной машине, не решало дела. Конечно, если бы заговорщикам удалось взять в руки армию... Но генерал не чувствовал опоры среди подчиненных, он не был уверен, что они за ним пойдут. К тому же он знал, что каждый его шаг, каждое слово становятся известными в Берлине чуть ли не прежде, чем он предпримет этот шаг или произнесет слово. Страх перед возмездием и неуверенность в себе — увы! — нередко становились помехой в осуществлении больших и малых планов. Фон Бутлар положительно отнесся к замыслу заговорщиков, но в последний момент спасовал...

Фон Бутлар давно понял, что его судорожные попытки стабилизировать положение на фронте безнадежны. Ему следовало вернуться с передового пункта для решения вопросов более крупных и важных в сложившейся обстановке, но он оттягивал отъезд, что-то подсказывало ему, что дни и часы его службы сочтены. И даже его адъютант — старый и честный, как считал фон Бутлар, служака — даже адъютант своей странной, необъяснимой забывчивостью, граничащей с неисполнительностью, укреплял в Карле фон Бутларе подспудные ожидания каких-то неотвратимых событий.

Так оно и случилось. В назначенное время генерал выслушал оперативную сводку, хотя и без нее прекрасно знал обстановку, затем принял доклад назойливого господина с одним погоном на плече (фон Бутлар всегда относился с плохо скрываемым презрением к этим демонам смерти, порочащим немецкий мундир и как бы в насмешку носящим один погон), и этот доклад касался партизан. Как будто генералу только и забот в эти часы, что ловить лесных бродяг! Но он

невольно прислушался к докладу, потому что к партизанам у него имелись свои счеты: ему немало насолил однорукий комиссар. Этот фанатик, полагал фон Бутлар, и был той первопричиной, которая обострила и без того не блестящие его взаимоотношения с фюрером. Фон Бутлар никогда не видел однорукого, но живо представлял себе его внешность, знал фамилию — Бойко — и всегда не прочь был разделаться с ним. Незаметно для фон Бутлара разговор приобрел значение, и в этом плане однопогонный господин оказался как нельзя более сведущ, он со знанием доложил о направлениях передвижений наиболее крупных партизанских соединений и частей. Генерал недовольно пожевал губами: не бандитские сборища, но части и соединения! Майн готт! Он даже пытался снисходительно улыбнуться. В эти мгновения генерал явственно представлял физиономию лесного бродяги, калеки и фанатика Бойко. С таким видением в глазах и застыл он, когда в блиндаж вошли, без предварительного доклада, трое и молча воззрились на него. Генерал фон Бутлар понял все, он расстегнул кобуру и выложил на стол свой дамский браунинг.

Глава девятая

1.

ПОСЛЕ ПЕРЕГРУППИРОВКИ войска продолжали стремительное наступление, и для Евгения не оставалось секретом, что они повернули на Вильнюс. Он никогда не видел этого города и в самом его названии ощущал как бы частицу застывшей истории. С Вильнюсом в его сознании связывалось вторжение Наполеона в Россию, и он невольно проводил параллель между теми далекими событиями и нынешними.

Со своей ротой он следовал по хорошему, гладкому шоссе и с наслаждением вслушивался в звенящий шорох покрышек. На первом же привале он покинул кабину, залез в кузов. На развилке показался старый, довоенный указатель — погнутая, прошитая пулями табличка с литовским словом: Вильнюс. Это запыленное, выведенное непривычным латинским шрифтом слово вызвало в душе Евгения новые чувства, перед ним как бы открывалась иная страна — невиданная, таинственная Европа. Перед машиной стлалось выложенное полированным камнем полотно, это однообразие укачивало, клонило в сон. Автомобиль саперам достался потрепанный — видавшая виды трехтонка. Машина крутила колесами исправно, хотя изрядно тарахтела, угрожая рассыпаться на куски; впрочем, это никого не смущало и не мешало наслаждаться ездой. Проносились назад, на восток, хутора, купы деревьев, придорожные кусты и валуны, перед глазами мелькали то харчевня с незатейливой вывеской, то бетонный колодец, то подстриженная и причесанная усадьба с черепичной крышей и мощенным камнем подъездом. Здесь, на большой дороге, с особой силой чувствовалась стремительность наступления. Это пьянило без вина, кружило голову. Саперики, хлебнувшие за годы войны столько лиха, что и на два поколения хватило бы, вдруг начинали хохотать и вспоминали черт знает что! А то надолго замолкали, и тогда в их глазах, обремененных тяжкими житейскими передрягами, возникало что-то затаенно-ожидающее.

— Выпусти зверя,— не выдержал Наумов.

Янкин посмотрел на сержанта, но ничего не ответил, и тот понял, что слова его не коснулись сознания старого сапера. Да и никто, похоже, не слышал его слов, а если и слышал, то не одобрил. Наумов повернул голову, в ушах его засвистело, и он, казалось, перестал думать о злополучном лисенке. Пусть почудит Янкин, бог с ним... Тем более, у них пропала без вести Пулька — умный и верный пес, приносивший саперам немало по-домашнему блаженных минут. Однако не думать об этом Наумов не мог, он тайком (так он полагал) прикармливал собаку и теперь с ревностью наблюдал, как ее место занял рыжий ворюга со смышлеными, диковатыми глазами. «Э-хэ-хэ...— сокрушенно вздохнул сержант.— На войне чего не случается, вот уж тявкает и хвостом юлит, прохиндей... Жрать он хочет, что ли?..» С этой мыслью Наумов сердито расшнуровал вещмешок, извлек кусок недоеденного хлеба. Лисенок доверчиво понюхал хлеб, уставил проницательные зрачки на человека, лениво фыркнул и отвернулся.

— Скажите, пожалуйста! — возмутился сержант.

— Да он банку уплел,— произнес Янкин.— За двоих.

— Ты доложил — не хватило тушенки...

— Отдам...

— На хрена попу гармонь такая... Выкинь свою пушнину за борт!

Янкин обиженно прикрыл зверька полой и сунул куда-то под мышку. Он понимал, что горячий Наумов поостынет, все образуется.

— Отдам,— как можно спокойнее и убедительней повторил он.

— Еще почнешь для него гусей щупать по хуторам!

— Ну да, гуси!

— А чего? Из родительских чувств. Вот картина! Старый саперик чапает за гусем...

— Ну-у, понес сержант!

В машине посмеивались. Угроза зверьку миновала, и все рады были послушать дорожный брех.

— Мародеры — они из лучших побуждений... Все твои боевые заслуги коню под хвост... Жаль мне тебя, Янкин! Я поручался за тебя перед товарищем капитаном, когда сочиняли реляции.

— Ну, хватит! — решительно сказал Янкин. Он так прижал лисенка, что тот пискнул.

— Шкуру бы спустить с поганца...

Евгений посмеивался сквозь слезы, а Янкин недобро косился на сержанта и допытывался:

— Это кто же поганец?

— Не притворяйся,— сказал Наумов.— Все ты понимаешь, и кто поганец, и прочее... Морить голодом сержанта! Ты устав забыл? Кто позволил подрывать мощь нашей армии? Товарищ капитан, прошу оградить...

Евгений сквозь хохот заверил Наумова, что разберется, наведет порядок в продовольственном вопросе.

А тем временем трехтонка продолжала свой бег. Вдали постреливали, но отзвуки войны не задевали сидевших в кузове саперов, война для них проходила в эти минуты стороной, она вроде бы сама по себе, а они — тоже сами по себе.

Скоро замелькали пригороды. Евгений назначил привал, достал карту, а саперы тем временем с удовольствием размяли ноги. По мощенке они ходили осторожно, не наступая на раскиданные тут и там вещи и не понимая — откуда они на мостовой, все эти пуфики, кофемолки, битые зеркала, тазы и детские лошадки. Лишь увидев скину-

тую на обочину тачку и брошенный у клумбы ручной возок, догадались, что поначалу немцы пугнули беженцев с воздуха, а затем прокатились по вещам — броневички или танки расчищали себе дорогу в фатерланд.

Побродив среди сиротского, наполовину порченного добра, саперы стали стекаться к машине, и тут-то Наумов высмотрел в траве небольшой мяч. На мяче красным по синему был намалеван вытянувшийся за мышью кот. Сержант пнул мяч, и зверьки побежали. Бойцы — как один — следили за мячом, пока он катился по цементной панели под откос, прибавляя в скорости, потом ткнулся в детский тюфячок и остановился. Наумов кинулся за мячом, отпасовал к машине. Евгений тоже ввязался в игру... и первым же ударом высадил окно.

— Бейте, товарищ капитан!..— азартно кричал Наумов.

Евгений понимал, что сержант приглашал его не стекла бить, но играть вдруг расхотелось.

Пока водитель заправлял машину, Евгений с бойцами прошел по безлюдной улице. Не только окраина литовского местечка задета войной — и центр пострадал. На небольшой площади стоял побитый снарядами островерхий костел, его стены зияли пробоинами. Евгений спотыкался среди обломков, удивленно разглядывал чудом сохранившиеся в стрельчатых окнах цветные, до половины забранные коваными решетками витражи. От замшелых гранитных глыб в фундаменте костела, от бурых кирпичных стен и массивных, поеденных ржавчиной узорных решеток веяло чем-то непередаваемо сложным, историей, что ли, далекой рыцарской стариной... И хотя Евгений сызмальства воспитывался в безбожии, было тоскливо видеть невесть зачем порушенный храм. Этот отзвук прошлого заставлял вспомнить о принадлежности к роду людскому...

— А ведь когда-то придется восстанавливать...—высказал он вслух совсем, казалось бы, нелепую мысль.

— Да кому это нужно, товарищ капитан? — возразил Наумов.— Опиум для народа!

— Не скажи! — в свою очередь возразил Янкин.— Жалко. Такие еще крепкие стены!

— Ну да, крепкие,— фыркнул Наумов.— Приспособят под картоху. В нашей церкви потребсоюз держал тарные бочки да мыльные ящики.

— А конюшню не сделали? — возмутился Янкин.

— Чего не было, того не было...— спокойно и насмешливо, видя горячность Янкина, ответил Наумов.— Не хватило средствов на загородки.

По дороге бесконечно шли войска: сплошным потоком тянулась мотопехота, громыхали тягачи с пушками, покачивались танки, дымили грузовики с боеприпасами, и опять пехота, пехота... Но Евгений никак не мог отвязаться от этого солдатского спора. Опиум-то опиум, но стены все-таки не виноваты... С этой, какой-то развинченной мыслью, он и свернул к стоящему за оградой флигельку. Наружная дверь пристройки была настежь. Он вошел. Жилище ксендза оказалось брошенным, раскиданные подушки, утварь, беспорядок и пыль на всем говорили, что хозяин бежал не сегодня... Евгений заглянул в смежную комнату и наткнулся на библиотеку. Книги валялись на полу: разорвавшийся под окном снаряд вывернул простенок, разнес шкаф. Евгений с любопытством подступил к книгам. Сверху лежали Толстой и Чехов, под ними Гоголь, из-под журналов проглядывал портрет Достоевского.

— На русском...— удивленно произнес за спиной у Евгения Наумов.

Вслед за Наумовым вошел Янкин, они принялись собирать с полу книги и сносить в угол. Янкин размел ногой обломки, откинул слетевшее с гвоздя изображение косого креста и, встав на колени, укладывал книги стопками. Наумов осенил его щепотью.

— Я в другой вере,— заметил Янкин. Он обтирал о штаны обложки и шевелил губами, читая названия. Какая-то книга привлекла его внимание, он полистал и протянул Евгению. Евгений раздумчиво принял томик с интригующим заголовком «Еще пятьсот анекдотов», наугад открыл страницу и прочел: «Опять родила? Эх, кума, не надоело ногами врозь...»

— Чепуха на постном масле,— пробасил Наумов.

— А чего, он свой в доску, этот литовский поп, и любил фольклор,— наперекор ему заметил Янкин.

Евгений оставил их решать свой досужий спор и выглянул в окно— какие-то голоса привлекли его внимание.

Бог весть откуда людей набралось! Возле костела толпилось человек уже двадцать. И стоило Евгению выйти из флигелька — все устремились навстречу.

— Господин офицер, пусть не покажется...— обратился к нему чопорный старик, снимая с головы цилиндр. Этот цилиндр, сухонькая, чистая фигура старика и кучка взволнованных, но сдержанно-молчаливых богомолок произвели на Евгения странное впечатление. Он подумал: хоронить собрались и пришли просить у него разрешения. Однако недоумение рассеялось, когда старичок сообщил:

— В костеле подложили мину...

— Кто? — вскинулся Евгений.

Старик молча повел цилиндром на запад, вслед уходящим звукам боя; его палка подрагивала, казалось, старик щупал ею землю, искал надежное место и никак не находил. Евгений протянул руку, тронул старика за плечо, тот успокоился, палка его перестала скакать.

Мины в церкви... Всякое видывал Евгений — и разрушенные колокольни, и целиком сожженные храмы — война... Но чтобы специально закладывать взрывчатку в дом божий, этого он не понимал. Вероятно, во всем его облике отразилась растерянность, потому что женщины вдруг нарушили молчание. Они взволнованно лопотали по-своему, похоже, заботились не столько о боге, сколько высказывали сочувствие Евгению, его многотрудным земным делам, и, чудилось, просили извинить их за неуместное беспокойство. Все это в один миг пронеслось в его сознании, но он понимал, что от него не отступятся и отказать он не сможет. Нужно было что-то решать.

Позади Евгения замерли Наумов с Янкиным. Евгений на секунду оглянулся и безошибочно определил, что саперы не одобряли эту катавасию, что просьба верующих пришлась им не по душе. «Не ко времени»,— подумал и Евгений, и зашагал по серым гранитным плитам: старик с палкой и цилиндром в руках семенил за ним. Евгений дошел до каменных приступок перед входом — их было всего четыре, и медленно, ставя ноги на каждую ступеньку, поднялся к массивной, утопленной в нише двери.

— Я покажу,— вызвался старик. В его глазах отразился страх.

Евгений не мог поручиться — за кого боялся провожатый: за церковь, за себя или за Евгения. Между тем старик схватился за медное

кольцо, потянул створку. Кое-кто из женщин норовили примкнуть к мужской группе, но Евгений жестом отстранил их.

Вместе с Евгением и провожатым в костел проникли Наумов и Янкин. Святые зрили с амвона мрачно и недвижно, стерегли безлюдные, как в пустом кинозале, ряды кресел. Евгений ступил вперед, под неосвещенными сводами отдались гулкие шаги.

— Здесь,— прошептал старик, кивая подбородком куда-то за кафедру. С улицы, со света, Евгений не различал лица его, но чувствовал в нем прежнюю напряженность; человек этот осязал опасность, но что-то вело его, и он держался прямо и уверенно. Никакого благочестия или смирения в нем не было, только старческая осторожность.

Евгению показалось, что в эти минуты старик и женщины, которые остались за дверью, усомнились в могуществе небесной силы. «Вот и послужим богу...» — иронизировал он над собой, хотя сознавал, что эта ирония — так, пустое, для себя, а вслух — для людей — существует один простой закон: помощь.

Однако пора было искать мину. При этой мысли Евгений ощутил на теле морозец, что-то холодное и колючее заструилось по рукам, до самых пальцев; отстранив спутников, он взошел на помост. В храме по-прежнему было пусто, в пустынном пространстве отдавался каждый звук. Откуда-то сверху сочился свет, Евгений задрал голову, и купол будто взмыл, невидимая подсветка держала его на весу. Строго глядящий на Евгения старик невнятно что-то буркнул. Евгений повернулся и отошел за стулья с высокими резными спинками, затем приблизился к лепным фигуркам святых, машинально отметил слой пыли на торсах и протертую на одном уровне чистую полосу, будто кто-то провел по ним локтем.

— Товарищ капитан, разрешите! — громко произнес Наумов.

— Отставить...

Он прошелся взглядом по оставленному следу и уткнулся в складчатую драпировку на задней стене. Материя тяжело падала на пол. Евгений подобрал обшитый парчой низ и поднял его. В нише под дверью лежали два ящика. Прикрытые тряпкой, они не могли обмануть наметанного глаза сапера. Это был тол.

Саперы обезвредили поставленный на скорую руку взрыватель и открыли ящики, но в ящиках оказалась не взрывчатка, а были немецкие ручные гранаты с запалами. Евгений приказал вынести их и пошел к выходу. У ящиков остался Наумов. Он собственноручно извлекал боеприпасы и вручал саперам, а те относили в яму во дворе.

В самый разгар их неторопливой работы к костелу подкатила «эмка», из нее выглянул франтоватый лейтенант, адъютант раненого полковника Кудина. Подражая большому начальству, спросил:

— Что за трофейная команда?

Он уже заметил пренебрежительные усмешки саперов и поэтому скорым шагом подался в распахнутую дверь костела. Пересек гулкий зал, начальническим жестом забрал у Наумова последнюю гранату и пошел с ней, помахивая рукой и цокая железными набойками по камню...

Лейтенант поскользнулся на каменной плите и упал у самого выхода, в руке у него пшикнуло. Он хотел бросить гранату в дверь, но там виднелись люди, и он откинул ее в угол. Граната клюкнула в стенку, отскочила назад, лейтенанта накрыл взрыв...

Схоронили его тут же, за оградой, и было странно видеть среди здешних витиеватых, непривычных глазу крестов деревянную тумбу со звездой.

Разминирование костела, гибель и погребение лейтенанта — все случилось так быстро, так было спрессовано во времени, что Евгений не мог прийти в себя, в ушах его беспрестанно гудели слова Наумова: «Хоть положили среди людей...» Евгений видел вокруг скорбные лица женщин и растерянного старика, с чувством вины семенившего за ним, но представлял свеженасыпанный холмик за оградой и думал о лейтенанте, который погиб в церкви. За смерть эту вдвойне отвечал Евгений: на каком основании, во имя чего допустил он лейтенанта, как, впрочем, и своих подчиненных, в церковь? Храм божий — не жилье, и уж во всяком случае не военный объект. Так зачем было рисковать?..

— Строиться... — наконец скомандовал он, с трудом отрываясь от своих тягостных дум.

В это время из костела донеслись ревущие звуки органа; это не было музыкой, трубы кричали невпопад. Но постепенно в звуках появилось что-то организующее, казалось, органист нащупывает мелодию. Саперы с удивлением воззрились на костел, потому что оттуда полилось уже отчетливо подобранное «Полюшко-поле».

Исполнитель поиграл куплет и оборвал звук, но саперы стояли не шевелясь, ожидая продолжения. Евгений тоже ждал и не подавал команды на посадку, краем глаза следил, как встревоженно перешептывались у костела прихожане, те самые женщины и старик, и никто из них не тронулся с места... Когда же после паузы вновь ожил орган и над городом поплыли звуки непривычного здесь «Интернационала», прихожане застыли в безмолвии: это были и вызов их вере, и месса по убиенному.

2.

В УЛИЧНЫХ БОЯХ саперы поначалу активного участия не принимали, однако по мере продвижения к центру Вильнюса сопротивление осажденных усиливалось, и уже на третий день рота Евгения получила задачу взорвать перекрытие над занятым немцами подвалом. Блокированное здание стояло на углу, имело внутренний двор, и засевшие в подвале держали круговую оборону. Прорвавшийся ночью на первый этаж стрелковый взвод к утру очистил здание, но в подвал проникнуть не сумел. Поставленное на прямую наводку орудие било вдоль улицы, под большим углом к фасаду, и заметного беспокойства фашистам тоже не причиняло. Не удалось их забросать и гранатами: окна оказались зарешечены.

Тол в блокированное здание носили через торцовое окно второго этажа, пробираясь по крыше примыкающего сарайчика. Работа была не ахти какая сложная. Ящики разместили прямо на полу, предположительно над центральным помещением подвала, и по той же черепичной крыше выпроводили — на время взрыва — пехотинцев. Евгений сам проверил заряд, взял из рук Наумова зажигательную трубку и всунул капсюль в гнездо шашки. Думать было больше не о чем. Наумов достал спички.

— Зажигай,— сказал Евгений и оглянулся на сержанта, но тот ждал, пока комроты вспрыгнет на высокий подоконник. В пустой комнате было тихо, Евгений напоследок обвел взглядом стены, отметил на обоях пятно — хозяева сняли картину, и увидел саму картину — прислоненную у плинтуса литографию; он выставил ее в соседнюю комнату. Потом скользнул глазами по пыльному, отодвинутому от глухой двери дивану и вскочил на подоконник.

— Давай,— одними губами потребовал он. Наумов кивнул головой, шаркнул теркой по спичке, со шнура сорвалась искра. Евгений, взявшись руками за подоконник, опустился на черепицу и потрусил. По нему сейчас же сыпанула очередь, но он удачливо проскочил сарайную крышу и нырнул в окно соседнего дома. Он обернулся, но Наумов в проеме не показывался. Евгений хотел позвать его, однако решил, что это смешно, что аккуратный и расчетливый сержант вот-вот появится сам. Надеялся на это и Янкин, который оказался рядом — он подстраховывал комроты и сержанта. Евгений не сразу заметил Янкина, а когда заметил, то различил в его взгляде настороженное ожидание.

В другой половине дома, в отдалении от заряда, сосредоточились стрелки, изготовились ринуться с гранатами в пролом. Евгений слышал их нетерпеливые шаги, и от этого в душе его разливалась досада, словно в ответственный миг кто-то безо всякой надобности и бесцеремонно подталкивал его в спину.

А Наумов все не появлялся...

Он не появлялся потому, что в последнее мгновение, когда уже ступил по направлению к окну, что-то необъяснимое заставило его оглянуться. Ничто не изменилось в комнате, все так же с шипеньем вился по шнуру дым, показывая приближение огня к детонатору, по-прежнему все было на местах: и отодвинутый от глухой двери диван, и опрокинутый стул, и брошенная возле толовых ящиков обгорелая спичка. Запальный шнур был длинный, больше метра, и оставалось еще много: прошло всего пять секунд; на черном шнуре виднелся обмякший, прогоревший кусок, огонь пожирал всего один сантиметр в секунду... Наумов подержал в руке ненужный уже коробок со спичками и сунул его в карман, глаза его неотрывно следили за бегом невидимого под смолистой оболочкой огня; он подумал, что зря ротный отчекрыжил от бухты столь длинный кусок шнура. Как и большинство опытных подрывников, Наумов нисколько не думал о взрыве, не рисовал себе последствий взрыва, он отсчитывал секунды и соображал — что же остановило его. Он не удивлялся, потому что за войну привык ничему не удивляться, однако вслушивался в какие-то внутренние неразборчивые голоса и продолжал мысленно отсчитывать: девять, десять... Наумов не шелохнулся и тогда, когда глухая дверь возле дивана тихо скрипнула и распахнулась, просто он понял, что остановило его.

Из проема выскочил немец, Наумов мгновенно придавил гашетку. Короткая очередь положила немца, но в проеме возникли другие, и Наумов тоже получил порцию: ему зацепило левую руку и попало в живот. Он перекинул автомат в правую и повалился за ящики — все произошло в долю секунды. Противники столкнулись лицом к лицу, их разделяли только ящики с толом. И Наумов и немцы сфокусировали глаза на горящем шнуре, сержант видел искаженные лица врагов и подсознательно досчитывал: шестнадцать, семнадцать... Он не сомневался, что немцы поняли назначение ящиков и более не посмеют стрелять.

Бикфордов шнур все с той же постоянной скоростью подвигал огонь к запалу, под нос Наумова сносило вонючий дым. Меньше чем через минуту все кончится... Наумов мог легко дотянуться до капсюля и выдернуть его из гнезда, тогда... В голову ему полезли несуразные мысли, так что он даже сбился со счета и потерял меру времени. Ему то мерещилось, будто все происходящее уложилось в короткую секунду, то казалось, что время подвалило к красной черте, и пора... Синий дым ел глаза, Наумов дунул уголком губ, не сильно, без малейшего движения, по-

тому что все тело его находилось в том нацеленном напряжении, которое овладевает человеком, когда он собрался сделать последний в жизни и безошибочный шаг; Наумов дунул, но дым все равно заволакивал, и он перестал обращать на него внимание — дым больше не нарушал течения мыслей. Наумов не думал в эти секунды о высших материях, о скорой победе, это не приходило ему в голову; не думал он и о своей жизни, прожитой как-то обидно быстро, он лишь видел в настенном зеркале отражение окна, угол кирпичного дома и кусок светлого неба. В эту отраженную в стекле даль и устремился он весь. Ничто уже не отвлекало его, он просто глядел в небо и где-то в глубине души начинал понимать, что осталось ему немного...

На гранях блеснула радуга, Наумов оторвался от зеркала и выглянул из-за ящика. Ему показалось, что трое оставшихся в живых немцев пятились к двери; боли Наумов не испытывал, хотя лежал на животе и знал, что подняться не сможет. Ощущение силы во всем теле не покидало его, но он понимал, что ее хватит только на то, чтобы вскинуть автомат: никто уже не мог поднять и унести его отсюда. Так сложилось: от взрыва ему не уйти... Боковым зрением Наумов еще раз поймал кусок голубого неба и уже не таясь выставил автомат и пустил бесконечную очередь...

Чем ближе к центру, тем упорней бои. Дом за домом очищали наступающие части, вслед за боевыми эшелонами подтягивались штабы и тылы, и вот уже на улицах замельтешили детишки. Они высыпали из подвалов, из бункеров, понакопанных на задворках; вслед за ними показались из подворотен женщины. И если детей вело неуемное любопытство, то женщин выживал из укрытий безжалостный спутник войны — голод; вечный материнский инстинкт, забота о семье, о малышах толкали женщин на улицу, заставляя пренебрегать посвистом пуль и разрывами снарядов.

Выбрав паузу, Алхимик привез саперам обед. Он загнал кухню в глухой тупичок, и повар открыл котел. Однако на соседней окраине поднялась пальба, скоро стало известно о контратаке противника на внешнем фронте, и саперов с минами срочно подняли, перебросили на новый участок.

Посреди улицы промчалась машина парламентера. По невеселому, обескураженному виду офицера Евгений почуял что-то неладное.

— Людей корми, людей... — на ходу бросил он писарю, и Алхимик понял, что ротный хотел насытить толпящихся возле кухни жителей. Подражая покойному старшине, писарь скомандовал зычным голосом:

— Становись, дамочки! В очередь.

Противник не оставлял надежд освободить блокированную в цитадели группировку. Более сотни танков и до трех батальонов мотопехоты стремились протаранить коридор к осажденному гарнизону. Удары эти с самого начала натолкнулись на недвижную стойкость советских войск. Противотанковая артиллерия и авиация раз за разом сбивали атакующие волны танков; пехота добивала отдельные прорвавшиеся машины гранатами, под гусеницы кидались собаки со взрывчаткой, и панцирные части врага застопорились.

В это время над городом заныли медлительные транспортные самолеты. Сначала один, за ним другой, третий... Над крышами вспухли купола десанта. Более пятисот парашютистов и тюки с боеприпасами и медикаментами сносило на речную пойму. Часть грузов перехватили саперы, но остальное попало по назначению, и усиленный свежим десан-

том немецкий гарнизон предпринял отчаянную попытку вырваться из окружения. Разношерстная колонна — солдаты, унтеры и офицеры — ринулась вдоль Вилии. Пойма запестрела от погон и эмблем всех мастей, бегущие немцы рассчитывали на внезапность необычного маневра и густо палили по сторонам, пытаясь хоть в какой-то мере пресечь возможную контратаку русских. Немцы прорывались налегке, без артиллерии и танков, без техники, и трудно было понять, на что они надеялись. Форсировать реку они безусловно не могли, не имели ни переправочных средств, ни иных возможностей,— разве что думали вырваться вдоль поймы за пределы города и уйти в западном направлении. Однако по колонне ударили минометы, на пойме вздыбили землю отсечные огни русских батарей, и скопище вооруженных гитлеровцев превратилось в кашу. Беспорядочный бег поредевшей толпы продолжался по инерции, гитлеровцы еще распыляли веера автоматных очередей, но выходить было уже почти некому...

Глухо вздрагивала земля, в реке отливалось аспидное небо, иссера-черные, с прожилками тучи доставали до воды и смыкались с бушующими на лугу взрывами. На усеянном трупами кочкарнике шевелились под ветром чисто-белые, оживающие пятна парашютов...

Евгений вывел роту на шоссе, проехал километр и свернул к реке. На пойме саперы принялись разбрасывать противотанковые мины — на случай прорыва танков. Отделение Наумова принял Янкин, с его бойцами и выскочил Евгений через черемуху к урезу воды. Черемуха отцвела, но в кустах еще дурманило, и Янкин как-то странно поглядел на Евгения.

Бойцы кончили минировать, когда за излучиной замелькали зеленые фигуры и оттуда жикнули пули.

— Не успели... — отчужденно сказал Янкин, пластаясь возле Евгения. Евгений удивился: мины раскинуты до самой воды, и тот же Янкин ставил последний взрыватель.

— Как так?

— Не успели Наумову... медаль... — пояснил Янкин, и Евгений удивился еще пуще. Конечно, обидно — приказ передали после гибели сержанта, через какой-нибудь час после взрыва, ну да ведь не время и не место сейчас... Евгений никак не мог отрешиться от этого и отдал распоряжение почти машинально — послал взвод вдоль кустарника, встречь бегущим немцам, другой взвод отвел к сосновому бору, повыше. Когда он плюхнулся в траву, то вновь увидел рядом Янкина и чуть поодаль — развернутое в цепь его отделение. Из головы по-прежнему не выходил Наумов... С Наумовым все произошло так неожиданно и неотвратимо, что Евгений до сих пор не мог объяснить себе: как и почему опытный сапер не успел выскочить из комнаты...

— Товарищ капитан! Евген Владимирыч! — окликнул Янкин.

Евгений оторвался от своих дум. Прошло всего несколько секунд, на пойме почти ничего не изменилось, все так же валили и пуляли из автоматов немцы. Но вот позади растянутой, неуправляемой массы прочертились иные силуэты: то были свои, они преследовали гитлеровцев

Евгений встал и вскинул над головой руку: это явилось сигналом командиру первого взвода. Не дожидаясь, покуда взвод поднимется, Евгений выступил из-за сосны и пошел на пойму. Он шагал по лугу, не стрелял сам и не давал команды саперам. Вслед за первым снялся с позиции второй взвод, саперы на ходу развернулись и цепью перекрыли пойму. Они сближались с немцами без выстрела, и те тоже умолкли. Вдали за городом повисла необычная, тягостная тишина. Было видно, как немцы бросали оружие.

По улицам Вильнюса конвоировали пленных. Изломанная колонна бывших завоевателей вяло тянулась через площадь у кафедрального собора. Обезоруженные немцы с удивлением поглядывали по сторонам, будто впервые видели город, и ни страха, ни отчаяния в их глазах не отражалось. Похоже, такая участь вполне устраивала их, во всяком случае, война для них кончилась, можно было не думать о смерти.

Евгений только что получил новое, совсем необычное задание и по дороге из штаба наткнулся на пленных. Он вглядывался в лица недавних противников и не замечал в них ничего такого, что выделяло бы их из среды обычных, нормальных людей, кто-то из молодых даже хихикал, толкая локтем и показывая глазами в сторону. Евгений невольно и сам полюбопытствовал и увидел у подножия колокольни стайку галок — птицы суетились возле россыпи блестящих патронов. Евгений с невольным укором перевел взгляд на пленных, но того, смеющегося, уже на нашел, его заслонили другие, и в этих новых лицах Евгений тоже не встретил ничего поразительного; они шли без боязни и



страха и глазели по сторонам с видом усталых путников, наконец-то достигших цели.

Странную задачу получили саперы: взять под охрану отбитые у противника склады. Эти склады размещались в старых внушительных зданиях и занимали чуть не целый квартал. Саперы неохотно взяли роль охранников, но что делать: приказ есть приказ. Видимо, тыловые подразделения, в их числе трофейные команды, не поспевали за боевыми эшелонами. До их подхода требовалось посторожить добро, тем более, что наряду с мотоциклами, рациями, горючим и всевозможными запчастями в хранилищах обнаружилось оружие и боеприпасы, а это уже была особая статья...

Установив наружные посты, Евгений наведался в новые владения: как-никак, следовало знать, что здесь хранится. Для начала он вызвал своего временного старшину, и на грузовике незамедлительно подкатил ротный писарь Алхимик.

— Зачем машина? — спросил Евгений, разглядывая через запыленное стекло сидящую в кабине незнакомую дамочку. Он хотел полюбопытствовать именно о ней, но спросил почему-то о машине.

Дамочка ощутила на себе взгляд, шевельнулась на сиденье, подняла руки и поправила прическу. Вокруг машины и вдоль заборов, у входа на территорию склада, уже собралась толпа. Вероятно, женщины и дети надеялись разжиться продуктами.

— Проводница... гид...— пояснил Алхимик, поняв, что заинтересовало ротного.

— Ну, знаешь...— Евгений хотел тут же отчитать писаря, однако не стал этого делать у всех на виду и повел его на проходную. В проходной дежурил Янкин, он понимающе смотрел и на машину, и на проводника в юбке, и на Алхимика.

— Бабы, конечно... знают, что в складе...— поддержал он писаря, вытянувшись перед Евгением во фронт и молодецки клацнув сбитыми каблуками. Писарь ни в чем не уступал Янкину, тоже красовался, но Евгений поставил его тылом к улице и критически обозрел с ног до головы. Краем глаза он отметил, как за спиной писаря распахнулась дверца кабины и оттуда выпорхнула блондинка в черном облегающем платье.

— Она зачем? — уже мягче осведомился Евгений.

— Товарищ капитан, из ресторана... все вина — наперечет...

Евгений хмыкнул, и писарь продолжал:

— Мы же ни бум-бум... там марочные, французские...

— Ох, Алхимик ты!

— Скоро победа, как же без этого?

Евгений вопросительно посмотрел на Янкина, но старый солдат молчал: дескать — моя хата с краю...В конце концов Янкин понял, что нужно что-то сказать, и обронил:

— Четвертый год ломаем, Евген Владимирыч... Нет, серьезно!

— Пьяницы вы горькие! — рассмеялся Евгений.

К воротам подъехало еще несколько ротных машин, шоферы начали заправлять баки трофейным бензином. Евгений кивнул, его поняли, закатили в кузова четыре бочки, больше было некуда. Евгений пошел к хранилищам, а писарь на миг задержался, подозвал блондинку-дегустаторшу и рысцой потрусил за командиром. По шагам за спиной Евгений понял, что за ним поспешают двое. «Ладно, я сегодня добрый...— оправдывал он поблажку.— Да и писаря можно понять, не везло ему с трофеями, только и того, что прихватил на лугу сброшенный с «юнкерса» тюк, в котором были одни кальсоны... Новые, однако в теперешнем положении более нужные немцам...»

Евгений открыл дверь.

Вдоль хранилища высились стеллажи, набитые ящиками, коробками и прочей упаковкой. По внешнему виду и незнакомой маркировке разобрать, что за товары здесь хранятся, было затруднительно. Евгений обернулся, к нему тотчас подскочила блондинка. Она подхватила его под руку и, мешая русскую речь с литовской, затараторила. Понять ее было трудно.

— Что здесь? Что-о? — допытывался Евгений, наблюдая, как неприязненно нахохлился Алхимик.

— Так...— махнула рукой блондинка.— Ни есть корошо... Жилезо...

Сообща разобрались, что в ящиках какие-то запчасти, и Евгений со спутниками подался дальше. Надутый Алхимик почти не разговаривал, Евгений тоже помалкивал, лишь проводница продолжала тараторить. За несколько минут она выложила главные события, происшедшие в Вильнюсе за годы оккупации, но ее сентенции миновали сознание Евгения: он столько перевидел, что никакие страхи, рассказы о зверствах, о голоде, нищете и тяжких муках детей и женщин не задевали его: он просто устал от всего этого. Требовалось время, чтобы освежить чувства и воспринимать виденное-перевиденное с прежней остротой.

— Вы работали при... этих? — спросил он.

— Киндер... кушать...

Евгению стало совестно. Стараясь загладить неловкость, он ускорил шаг, но женщина не отставала, по-прежнему держалась за него. В соседнем хранилище они обнаружили продукты, но кто-то уже побывал в нем: ящики с кофе, галетами, сахаром были початы. Тут же громоздились консервы, маргарин, обернутые бумагой лимоны, переложенные стружкой яйца и в самом конце — батареи бутылок. Евгений присел на ящик, взял бутылку и передал спутнице.

— О-о... То есть шампаньско...— восхитилась она.

— Открывай,— сказал Евгений писарю.

Алхимик будто нехотя снял проволочную оплетку, пустил пробку в потолок. В движениях писаря сквозила обида на ротного, и это безусловно был конфликт на любовной почве.

— Старшина, не надо...— миролюбиво сказал Евгений, умышленно назвав писаря старшиной.

Стаканов не нашлось, они по очереди приложились к пенному горлышку. Женщина повторяла одно и то же: «Победа, победа!» — и неожиданно заплакала. С бутылкой в руке она жалась к Евгению и чуть ли не падала, а он слушал ее лепет и машинально следил за ее взглядом: он увидел, с какой жадностью уставилась она на груды продуктов, и понял, что женщина от голода едва держится на ногах.

— Возьмите,— сказал Евгений, протягивая банку.

Женщина приняла консервы дрожащей рукой, и до него дошло, что она все это время стеснялась сказать о своем голоде. Он стал подавать ей все, что попадало под руки: сардины, маргарин, опять сардины, галеты... Женщина задрала подол. Евгений бросал ей все подряд и чувствовал, как у него у самого трясутся руки.

Глава десятая

1.

ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ несколько суток не выходил на связь со штабом из-за неисправности рации. Информация в последние дни шла важная, он представлял, как нервничает при малейших задерж-

ках майор Зубов, и послал донесение по запасному каналу. Но это было долго: пока добрался связник до небольшого приграничного городка, в котором население наполовину состояло из поляков, да нашел явку.

Где-то вдалеке постреливали, Владимир Богданович знал, что на многих участках немцы день и ночь контратакуют, стремясь придержать наступление советских войск, но в лесу это воспринималось как что-то странное, не относящееся к разведчикам. Разведчики на днях набрели на разоренный войной, сгоревший дом лесника: за жердевой загородкой сохранились только сараюшко, изрытая кабанами делянка картошки да огрузневшие под урожаем четыре яблони. На яблонях по вечерам мостились ко сну одичалые куры.

Кур этих ловчился поймать Сахончик, и Владимир Богданович едва сдерживался, чтоб не цыкнуть на него: подступать к птицам следовало с опушки, а то, гляди, улетят в гущину, ищи тогда свищи... Настроение у Владимира Богдановича и так было неважнецкое, а тут еще рация подгуляла, черт бы ее побрал! Да и откуда взяться настроению, если душу его точил ржавый осадок — после неудачного налета на немцев-артиллеристов и потери товарища...

Неизвестно, почему так получалось, но в последнее время Владимиру Богдановичу казалось, что чем ближе конец войны, тем больший урон несут разведчики. То ли потери под Сталинградом и под Киевом выветрились за давностью времени, то ли еще по какой причине, но только смерть товарища он теперь стал переносить так, будто его каждый раз самого убивали. Он подолгу и дотошно копался в подробностях каждой вылазки, каждого рейда и бесконечно перебирал, судил-пересуживал себя и всех, кто участвовал в операции; к ошибкам ближних стал нетерпим, и хорошо, если все кончилось ворчанием. Владимир Богданович вообще стал замкнутым, ушел в себя, часто погружался в забытье — словно раздумывал о том, что было, что есть, что будет.

Нынче разведчикам предстояла новая операция, она включала ряд довольно разрозненных действий, и Владимир Богданович обдумывал, что к чему. Он подсознательно стремился реабилитировать себя за досадную неудачу с артиллеристами — пропади они пропадом! Признать открыто свой промах, по всегдашней и неизменной привычке, он не собирался, но и носить вину неискупленной и незаглаженной тоже не мог — всему свой предел. Сам того не замечая, он напевал:

А я хлопэць молодый,
Та й нэ волочуся.
Дэ дивчнну чую —
Там ничку ночую,
А дэ молодычку,
То там и двн нички.

Владимир Богданович напевал и обдумывал, что к чему, но нелегко ему было усидеть, видя такие принципиальные ошибки Сахончика. И он не усидел, тем более, что под этих курочек уже закипала вода в казане. Владимир Богданович поднялся, уголком глаза отпечатал сержанта Буряка с лоснящимися щеками, отметил, с какой старательностью тот хлопочет возле казана, подкладывая в огонь сушняк, и грозно предупредил Сахончика:

— Стой, я сам!

Сахончик замер.

— Тетерева... бывало, запросто...— бормотал себе под нос Владимир Богданович. Он сунул радисту осточертевший моток провода и воровато подкрался к яблоням. Он был старый охотник и видел, что все висело на волоске, достаточно одного неверного шага. Он присел, намертво зажал

руки по швам и на ходу давал Сахончику указания — цедил сквозь зубы, не раскрывая рта, чтобы птицам казалось, будто говорил не он, а кто-то со стороны.

— Не шевелись, ты...

Сахончик и не шевелился, если не считать губ, с которых срывался невнятный шепот. Однако Владимир Богданович не зря гордился своим слухом: в лесной тиши он-таки уловил крамолу на устах Сахончика.

— Повтори, повтори, голубок!

— ...соли...— смиренно выдавил тот.

— Соли? — сдуру переспросил Владимир Богданович.

— На хвост...

— А ты, ах ты... сказочник! — У Владимира Богдановича от возмущения кривился рот, он все еще шипел, как гусак. Оба помалу заходили с флангов, окружали. По мере приближения ловцов куры заметно встревожились. Конечно, вжарить бы по ним из дробовика или на худой конец из автомата... Но стрелять в пуще нельзя было ни под каким видом, об этом и думать не стоило, и Владимир Богданович аккуратно поднимал ноги, переступал через кусточки бульбы и дружелюбно зазывал:

— Цып-цып-цып...

С другой стороны цыпцыпал Сахончик, и куры доверчиво вытягивали шеи. Сахончик тоже тянулся в струну, но в первую очередь следил за Владимиром Богдановичем, который перед броском душевно раскинул руки — ни дать ни взять для обнимки.

— За шею, за шею! — не утерпел Сахончик и захлебнулся в смехе, потому что на крайней ветке мостилась голошеяя хохлатка.

Именно на нее целился и не сразу разобрал едкие слова Владимир Богданович, тем более что до желанной курочки оставалось два-три шажка. Он по-прежнему плавно ощупывал подошвами грядку, боясь напоследок споткнуться. Лукавый Сахончик не подавал больше голоса, но Владимир Богданович и без того отлично представлял усмешку на его лице. Ох, этот Сахончик! Владимира Богдановича так и подмывало — заткнуть ему рот, оборвать наглеца, но теперь нельзя было. Он твердо установил левую ногу, уперся правой и ринулся!.. Одичалые птицы закудахтали и снялись.

— Курочка была ряба...— злорадно заключил Сахончик.

Владимир Богданович с облегчением выслушал доклад радиста: аппаратура снова исправна. Вдвоем они забрались в сарай, Владимир Богданович подсветил фонариком, и они передали о разгрузке гитлеровцами эшелона авиабомб и баллонов с отравляющими веществами. При разгрузке наблюдатель сумел приблизиться к охраняемому форту у деревни,— форт времен царя Гороха использовался под склад,— однако различить метки, кольца на боеприпасах и определить тип ОВ пока не удалось. Но и само по себе сообщение было слишком важным, и Владимир Богданович с нетерпением ждал дополнительных сведений.

Разведка не знает перерывов, Владимир Богданович, базировавшийся со своими людьми в заброшенном сарае, уходил спозаранку и приходил затемно. Дел набиралось невпроворот: встречи с боевыми помощниками, вылазки в близлежащие гарнизоны, наконец, и связь с поляками — советские войска уже подступали к их земле. Именно через польских партизан он дознался, что английские самолеты сбрасывают по ночам пулеметы и иное оружие тем полякам, которые предавали интересы своего народа.

На встречу с представителем Армии Людовой Владимир Богданович отправился ранним утром, прихватив с собой сержанта Буряка и Сахон-

чика. По правде говоря, брать Сахончика он поначалу не хотел и долго колебался, но все-таки послушал Буряка, взял: кроме чисто воинских достоинств — смелости и удали — башибузук этот знал польскую мову. И хотя вечное его подтрунивание донимало, а порой просто выводило Владимира Богдановича из терпения, он зла не помнил и постоянно внушал ему: «Не надо тихой сапой...»

Небольшая их группа вышла к тому самому каналу, за которым намечалась встреча. Канал этот, обрывистый и глубокий, словом, судоходный, являлся непреодолимым препятствием для Владимира Богдановича, он беспомощно озирался, предчувствуя, что посылай не посылай подручных в обе стороны — плавсредств не найти: все порушили польские партизаны, и Владимиру ли Богдановичу не знать об этом! Был, правда, мост... Немцы восстановили его, но что проку — на мосту часовые, не нахрапом же лезть... Тут-то неугомонный Сахончик, будто невзначай, и вспомнил об автомобильной камере, уже не единожды выручавшей Владимира Богдановича, но Владимир Богданович так на него зыркнул, что Сахончик онемел на целую минуту. Однако же, и потеряв дар речи, он продолжал свое ехидное дело, то есть демонстративно скинул с плеч вещмешок и принялся распутывать шворку.

— Что, голубчик, перекусить намерился? — сдавленно спросил Владимир Богданович, туркая щепотью кончик своего носа.

«Голубчик» молчал.

У Владимира Богдановича екало сердце, при одной мысли об этой камере ему становилось муторно. Он представлял, как будет раздеваться, воображал себя голым и мучительно стеснялся; на теле у него выступила гусиная кожа, будто он уже спустил кальсоны, и его обдало холодком.

— Ты что... захватил? — безобидно спросил Буряк.

Сахончик видел настороженность Владимира Богдановича, а заодно и сержанта, но все так же медленно и молча возился со шнурком. Наконец он извлек из вещмешка пачку сигарет, глаза его были по-детски чисты и наивны, и лишь мелко вздрагивающая, опушенная нижняя губа выдавала его.

— Вот, дед Владимир...

— А...— гневно поперхнулся Владимир Богданович и едва не выругался. Не глядя на Сахончика, не желая лицезреть его притворно-постную мину, он резко зашагал вдоль берега — даже не заметил обидного «деда».

Впереди зазеленел перелесок, его-то и резала дорога к мосту. Ни Буряк, ни Сахончик не понимали еще — что надумал «дед», но послушно тронулись за ним. Буряк шагал в затылок и в ногу с Владимиром Богдановичем, на ходу поправляя тяжеленький сидор и досмаливая цигарку, потом побежал, сбиваясь с мелкой рыси на аллюр три креста. Разведчики углубились в рощу, пересекли кочкастый ольшаник и оказались на обочине дороги. Булыжная дорога была старой, добротной кладки.

— Что делать? — вырвалось у Владимира Богдановича.

— Плотик... ночью,— ответил Буряк, глядя на Сахончика. Сахончик мудро не встревал в разговор старших, только чмыхал носом и поправлял шлейки нагруженного войсковым скарбом мешка — для поляков.

Владимир Богданович посмотрел на часы и хмыкнул, что было знаком несогласия. Сахончик и Буряк поняли: время не терпит.

Сахончик первый услышал дробный стук колес. Разведчики скрылись за кустом и замерли.

— Кого черти носят? — шептал Владимир Богданович. Вся фигура его напружинилась, и теперь шутки с ним были бы плохи.

По шляху несло какую-то допотопную колымагу; это было нечто схожее с большим и громоздким фаэтоном, в каких лет сто назад путешествовали многосемейные помещики средней руки. Бог знает откуда взялась эта колымага на дороге. Так или иначе, но она приближалась, на передке ее торчали двое полицаев, и в руках одного из них обвисли вожжи и кнут. Непарные, разнорослые кобылки махали хвостами, лениво подергивали шлеи, и все допотопное сооружение колыхалось плавно и мирно. Полицаи то проваливались в тень, то выезжали на солнце, глаза у них щурились и сонно закрывались; оба седока пребывали в приятном подпитии, так что даже оводы, облепившие потных лошадей и роящиеся возле их хвостов, не подлетали к хмельным мордам седоков. Польские ли это негодяи, или свои, российские, распознать из засады было невозможно. На дороге в этот полуденный зной больше никого не объявлялось, а терять удобный случай было не в правилах Владимира Богдановича. Он вскинул к носу собранные в щепоть пальцы, пристально поглядел на Буряка, затем на Сахончика; дождался, пока оба понимающе кивнут ему, и опять уставился на колымагу.

Когда разведчики в своих заеложенных гимнастерках, без оружия и знаков различия, вынырнули у самих лошадиных морд, полицаи не сразу дотумкали, что происходит. Благодушное настроение не покидало их, и старшой — свободный от кучерских обязанностей, с простоватым, заплывшим лицом детина — лишь скроил недовольную рожу, но тут же смилостивился:

— Садись, голота... Аусвайс имеете?

— Имеем,— заверил Владимир Богданович, сразу смекнув, что с соотечественником договориться будет проще.

Второго полицая, видно, вовсе не касалась суета мирская, он только дернул вожжу и для порядка хлыстнул в воздухе кнутиком. Блаженство и самогонный дух источался от сидящих на облучке, они так бы и не обернулись к случайным пассажирам, если бы их не подтолкнули под бока — одного Сахончик, другого Буряк. Обернувшись, полицаи увидели наставленные на них стволы. Полицаев не обезоружили, а только разрядили им пистолеты; пустые «вальтеры» сунули им в руки и растолковали: они, мол, конвоируют схваченных в селе зятьков-окруженцев. Отрезвевшие блюстители порядка усвоили роли, старшой был повернут лицом к заднему сиденью, и фаэтон со скрипом покатил к мосту.

Так, под конвоем, и перебрались разведчики через канал. Охранник у моста, завидя чудную повозку, кликнул из будки напарника, и оба хохотали до слез, особенно после того, как сунулись в повозку и на них смертельно дунуло самогоном. Полицаи держали себя молодцами и не пикнули, отлично сознавая, что ждало их в случае выдачи этих лесных оборотней.

После встречи с подпоручиком Армии Людовой разведчики вторично преодолели знакомый уже канал и ночью вернулись в свою лесную резиденцию. Владимир Богданович связался со штабом, передал содержание беседы с поляком и стал готовиться к приему гостей у себя.

Владимир Богданович встретил польских посланцев широко. Во-первых, накануне им все-таки удалось поймать одну из одичавших пеструшек, и в казанке вкусно булькал суп. Во-вторых, Сахончик реквизировал у давешних полицаев на свою бедность съестные припасы, как то: круг домашней колбасы, шмат сала и немецкую противогазную коробку с самогоном.

— Вы и так нахлестались. Обжираться вредно,— сказал он при расставании, хотя полицаи не противились и отдали все, что можно отдать, почти добровольно.

Теперь Сахончик резал колбасу и сало на опрокинутом и застланном лопухами корыте, а Владимир Богданович в предвкушении удовольствия потирал руки.

Была полночь. Знакомый уже подпоручик Армии Людовой мостился иа чурбаке у импровизированного стола, он знал, что спутники его проголодались, и терпеливо ждал, пока они насытятся.

— Мы не затянем? — иамекнул он наконец Владимиру Богдановичу. Тот хотел ответить, но не успел, в разговор включился Сахончик.

— Несу! Несу бульои...— сказал он.— Куру имали Владимир Богданыч.

— Куру? — удивился подпоручик.

— Идите, Сахончик! — отчеканил Владимир Богданович.

От коптилки разливался по сараю желтый свет, выхватывая из теплого полумрака бревенчатый сруб, поленья дров и силуэты людей. Владимир Богданович поглядел на польского товарища как-то невидяще, будто сквозь стекло, и неожиданно взял другой тон.

— У тебя семья? — спросил он.

Подпоручик помрачнел:

— Жена...

— Где?

— Не знаю.

Деловые переговоры не отняли много времени. Когда подпоручик и Владимир Богданович остались одни, разведчик кратко информировал о дополнительном задании в районе Августовского канала. Перед самым расставанием Владимир Богданович заметил:

— Закругляемся, вроде... капут. Драпмарш, одним словом!

— Похоже,— согласился подпоручик. Он истолковал слова разведчика по-своему и добавил: — Но еще такие фрукты попадаются... Смертники!

— А-а... ты об этих? Чумные! Но — конец...— Владимир Богданович потрогал себя за кончик носа, поднял банку с самогоном.— Может, все-таки того... за упокой их души?

Для подпоручика это прозвучало несколько странно, во всяком случае необычно: к суждениям о враге, о боях и прочих предметах, составляющих войну, он относился достаточно строго. Он, конечно, не хотел плохо думать об этом смелом, как он знал, разведчике, но факты есть факты: самогонка, охота на домашнюю птицу...

— Курятина и выпивка — не ко времени,— сказал он.

— Да не слушай Сахончика! — загорячился Владимир Богданович.— Он сплетет — на голову не оденешь... Этот Сахончик...

Владимир Богданович неожиданно прервался, задумался, поднес ложку ко рту и так держал ее, продолжая работать челюстями. С ложки капало, он подставил ладонь другой руки и молча все держал и держал ложку.

— Закругляемся...— повторил он в глубокой задумчивости.— Наши к Неману вышли, скоро капут...

2.

К НЕМАНУ войска приблизились под вечер. Где-то на правом фланге постреливали. Ни Евгений, ни его саперы не вняли приглушенным туманцем очередям и клюкающим разрывам, однако подсознательно Евгений определил, что снаряды рвались на той стороне, скорее всего на плацдарме соседней дивизии. Это подстегнуло его. При-

хватив с собой Янкина, он двинулся на опушку сосновой рощи. По дороге приметил в папоротнике дрожащие заячьи уши, поводил по зарослям биноклем, но зверька в окуляры не поймал.

— Чего там? — шепотом спросил Янкин, но Евгений не ответил: ему было неловко признаваться в своем легкомыслии.

Сосновый бор стеной подступал к песчаной осыпи. Высокий обрыв нависал над поймой, и дальше, в двадцати метрах, блестела недвижная вода. Заречный берег был низкий, луговой. Над подернутым синевой лугом высунулся откуда-то малиновый, с лиловыми пятнами язык; язык тянулся к правым соседям, пропадая в зазубренных снизу тучках, и Евгению казалось, что эти зазубрины от разрывов, хотя до плацдарма — если он действительно был — набиралось километров восемь, и ни артогня, ни его следов увидеть было невозможно. Евгений знал, что где-то здесь, может чуть левее, прошла полковая разведка, он и выскочил со своей ротой к реке по указанию разведчиков, но пластуны переместились уже, и войти с ними в контакт Евгений не смог. Впрочем, это и не удивляло его, он понимал, что войска растянулись — непрерывное наступление длилось который день. Уже заметно сказывались потери в людях и технике, недостача боеприпасов и общее длительное напряжение. Темп был так высок, что и по хорошим дорогам Прибалтики поотстала тяжелая артиллерия. В боях поредели танки, остались далеко в тылу шумные прифронтовые аэродромы... Противник подтянул из глубины свежие войска и срочно штопал дыры, но передовые части советских дивизий настойчиво рвались вперед, через реку: им требовались плацдармы.

Вслед за саперной ротой дивинж нацелил на этот участок переправочный парк — роту приданного понтонного батальона. Понтонеры рокировались с фланга, по дороге наткнулись на разрушенный мост и задержались. Но Евгений не знал причин задержки, видел перед собой пустой, казалось, не занятый противником берег, и решил немедленно разведать реку.

В роще замельтешила подъехавшая полковая батарея, расчеты выкатили орудия чуть не к самому обрыву, меж сосен что-то блеснуло и угасло. В синем воздухе запахло туманом, влажные сумерки накрыли реку, и на замытом горизонте отдало бледной, потухающей краснотой.

С обстановкой было не ясно, полковые разведчики — уплыли и как воды в рот набрали, пехота — вот-вот должна подойти, но не появлялась. Однако артиллеристы да саперы обживали лесистую кручу: пока батарейцы привязывались на позициях, саперы наметили два съезда к берегу и резали в грунте аппарели к будущим пристаням. Полоска берега на той стороне уже принадлежала им. Евгений переправил туда на плоту один взвод, который выдвинулся на сотню шагов, и залег. Не теряя времени, Евгений — с Янкиным на веслах — отшвартовал резиновую лодку, решил промерить профиль дна. Вдруг да прикажут понтонерам строить деревянный мост?..

Янкин, как всегда, был молчалив. Беззвучно перекидывая весла, он без всяких видимых ориентиров умудрялся держать лодчонку в створе. Во всяком случае, так казалось Евгению...

Примерно через два метра он опускал на дно примотанный к трассшнуру камень и мокрой рукой царапал в блокноте цифры. Камень был легковат, грунта касался едва заметно, и Евгений не сразу приловчился к промерам.

В сумерках Неман казался безбрежным. Евгений послушал журчанье воды за бортом, удивился, как поклокотало в горле у Янкина, и опять стало тихо. Евгению хотелось что-нибудь сказать, тишина давила, но го-

ворить не полагалось. Он ощущал вяжущую сырость; над головой было бездонное пространство, оно угадывалось смутно, сверху будто насунулись тучи. Но вот по блеклому, неживому небу покатилась звезда, Евгений облегченно вздохнул и услышал Янкина:

— Понеслась душа в рай...

По замерам Евгений угадал — середина фарватера. Заученным движением находил он на шнуре кольца и определял глубину. Дно было пологое, удобное, все сваи на фарватер можно готовить одной длины, он прикинул, сколько их потребуется, и решил валить лес. С той стороны мигнул глазок карманного фонарика, это скрытно подсвечивал Сашка Пат, который на днях вернулся из госпиталя, успел обкорнать под нулевку всю роту и был на подхвате... Евгений последил, как цепляется за что-то отвес, представил вязкие водоросли и с отвращением вздрогнул. Рукав его гимнастерки до локтя был мокрый, вода капала на колени, на блокнот. Лодка покачивалась. Евгений сидел истуканом, смотрел в непроницаемое лицо Янкина и испытывал прилив одиночества; он хотел ответить Янкину, шевельнул губами, но было поздно: сразу промолчал, а теперь — ни то ни се... И он отдался каким-то посторонним, не идущим к делу и бог весть откуда нахлынувшим мыслям. Он как бы раздвоился. С одной стороны, он почти машинально, без усилий продолжал профессиональный расчет — составлял в голове кубометры строительных материалов, считал необходимые для моста скобы и штыри, прикидывал организацию работ и потребность в людях, и это ничуть не затрудняло его, даже как будто отвлекало от неприятного ощущения одиночества.

— Сто свай — сто дубов,— произнес Янкин.

— Сосна...

— Ну! Сто штук, говорю.— Янкин выгребал все так же размеренно, как мотор, и Евгений почти не замечал его. Фонарик мигал уже рядом, потянулась отмель, и сержант добавил: — Заберем?

Они сняли Сашку Пата, и Евгений смутно подумал, что мог бы сейчас соступить с лодки на землю и пойти, пойти... На ту сторону дальше и дальше... Он понимал, что на той стороне враг, что мысли его — не более чем игра, душевная бравада, вызванная близостью к врагу, и все-таки он будто шел по лезвию ножа, ждал окрика с невидимого берега, и его не оставляло несбыточное и оттого навязчивое желание: пойти! Он не спешил отделаться от этого абсурда, лишь прервался, покуда уселся третий, Сашка Пат, а лодка забурила и пошла обратно.

Всегда разбитной, Сашка сейчас сидел нахохлившись — замерз, что ли? — в разговор не ввязывался, только поджимал длинные ноги; на гимнастерке у него болтался пристегнутый к пуговке фонарик. Евгения подмывало спросить земляка — о чем тот думает, не хочет ли уйти в ночь, к черту на рога, но он не спросил, а вместо этого как бы посмотрел на себя со стороны ротного цирюльника. Было любопытно: что думал солдат о нем, о командире?

Евгений мысленно даже выругался: что за фантазия — пойти на ту сторону! Может, у кого-то и всплывал такой вопрос — по какую сторону быть,— но только не у Евгения: для него такой дилеммы не существовало. Захвативший его порыв — выйти на тот берег — шел, быть может, от желания, присущего птицам: лететь, лететь...

— Соскакивай, Пат! — донесся, будто издалека, голос Янкина.

Евгений не сразу вник в смысл сказанного, и только после всплеска, когда оступившийся Сашка угодил сапогом в воду, сообразил, что к чему. Лодка качнулась, Евгений понял, что пора сходить, но еще секунды две сидел, додумывал. «Почему же мы такие, всякие?» — верте-

лось у него в голове, и за этим банальным вопросом громоздились кучи так называемых положительных и отрицательных фактов, всего того, из чего слагалась жизнь; возникали живые портреты и мертвые маски — знакомые и незнакомые, и в их глазах были радость и горе, и где-то среди них опять мелькнуло будто отраженное в кривых зеркалах лицо Котика... В одном Котик корчил рожу, в другом мигал глазом, в третьем плакал, и к Евгению опять привязалось: кто же виновен в судьбе Котика? Ни злости, ни раздражения он не ощущал в себе, хотя в него частенько попадали рикошетом выкрутасы двоюродного братца. «После войны разберемся...» — смутно подумалось ему. В последние месяцы Евгений слышал рассуждения, которые безотчетно отзывались в душе его если не всепрощением, то уж во всяком случае не мстительностью: люди наши не держат зла, и такая, мол, черта своими корнями обязана мудрости и опыту народа...

— Товарищ капитан,— напомнил Янкин.— Приехали.

— Какого черта!..— вырвалось у Евгения. Он поднял голову и по мягкому жесту Янкина ощутил, что тот не обиделся. Старый фронтовой товарищ безошибочно улавливал настроение Евгения и относился к его срывам снисходительно, хотя эта снисходительность и задевала Евгения,— по сути дела, он только с Янкиным и позволял себе иной раз расслабиться, выйти из рамок условностей, именуемых самодисциплиной.

— Говорю — приехали,— невозмутимо продолжал Янкин.

— Сам вижу,— сказал Евгений, подумав, что Янкин преотлично понял его.— Откуда ты взялся... такой?

— Откуда все,— философски ответил Янкин.

Незаметно истекло темное время, нагрянуло утро. Из серой заволочи выступило дерево, постояло, как солдат на часах, и отошло в туманную пелену; на песчаном откосе, у самой воды, печатал следы куличок. Птаха скакнула на источенную струей кирпичину и упорхнула, и тут же беззвучно появилось и двинулось к воде что-то зеленое, с широкой ребристой грудью — не сразу и догадаешься, что амфибия. Туман выталкивал к берегу десантные автомобили один за другим, они спускались под уклон и разбегались веером, стремясь к урезу воды. Плавающие машины несли на себе пехоту, пушки и минометы; урчанье моторов и всплески падающих грудью на воду амфибий глухо отдавались в запеленатых туманом соснах.

То ли от утренней прохлады, то ли под действием возникшей на пойме картины Евгения трясло. Он угадал за спиной сосенку, прислонился к ней, но унять себя не мог и ощутил, как задрожало все дерево. Туман таял, а десантные машины все шли и шли. Евгений кинул глазами по берегу, сосчитал — их было около сорока; они пересекали реку, на середине их сносило течением, но вот несколько амфибий приблизилось к тому берегу, за ними еще и еще, и стрелки посыпались за борт и заняли берег. Во второй рейс погрузили сорокапятки, минометы и опять пехоту. В воздухе стоял монотонный гул, было не разобрать — откуда прилетел снаряд.

Снаряд упал в реку, взметнув ввысь ярый столб воды. Евгений укрылся за деревом и продолжал наблюдать переправу, узнал в лицо бегающего по берегу полкового инженера и тогда вспомнил: форсирует полк второго эшелона, потому что передовой с вечера ввязался в бой с заслоном противника и вместе с ним сместился на правый фланг, чуть ли не в полосу соседа. Потому-то и понтонеров гоняли — в ожидании успеха — сначала в одну сторону, потом в другую...

В воду плюхнулся снаряд, вслед за этим сосредоточенный огонь накрыл переправу. Теперь уже было отличимо: противник стрелял изда-

лека, из-за левого фланга. Вода на реке закипела, четыре амфибии с сорокапятками, вырываясь из шквала, резко повернули вниз, по течению; они выстроились в кильватер, вышли из огня и плавно, одна за другой, сели на мель.

— Сапе-е-еры! Сапе-е-еры!

Евгений с необъяснимым облегчением оторвался от спасительного дерева и побежал по кромке обрыва. Он мог бы послать во взвод связного, но не сделал этого, отдал распоряжение лично. Возвращаясь через покинутые артиллерией позиции, Евгений все еще чувствовал приятную раскованность, в груди было хорошо, дышалось свободно и легко, и он рысил к тому же дереву, у которого торчал до обстрела. Под случайным этим деревом утвердился его наблюдательный пункт, и он пробирался к нему, хотя поблизости пустовали более удобные орудийные окопы — со щелями, нишами и ровиками. Пробирался, потому что именно возле этого, а не иного дерева, не говоря уж об окопе, могли найти его подчиненные и связные, позвать к телефону на переправе или к начальству, доложить и получить указания. По всему лесу жахали снаряды, фыркали и секли сучья осколки, сыпался песок, летели коряги, но Евгений упорно перебегал от ствола к стволу и наконец прилег за «своей» сосной.

На реке дыбилась вода, рыскали лодки, урчали моторы. Севшие на мель амфибии занесло течением, развернуло, будто магнитные стрелки. Евгений видел, как отчалили от берега лодки с его саперами; две из них пересекли стремнину и одновременно прибортнулись к ближней амфибии. Саперы попрыгали в воду.

— Во-оздух! — гулко раздалось в лесу.

Рассвет набрал силу, видимости прибавилось, и в небе загудело, из дымки выколупнулись самолеты. Их курс не оставлял никаких сомнений.

Саперы тоже обнаружили воздушную опасность, потому что дружно навалились на увязшую амфибию, раскачали и сдвинули, под винтом забурлила вода, оттуда понесло бурую муть, и амфибия с пушкой на борту тронулась. Саперы направились ко второй машине, они растянулись и брели по шею в воде. С берега казалось, будто нацеленные на реку крестоносцы пикировали на саперов, и хотя это было не так,— летчики вряд ли могли видеть солдат в воде, и первые бомбы легли далеко от них, почти у берега,— впечатление не пропадало. Евгений не заметил, как поднялся и отошел от дерева, все в нем кипело, он представлял тонущих, оглушенных взрывами саперов, видел рассеянные зенитками шарики дыма и неизвестно каким чутьем угадал появление на спуске долгожданных понтонных грузовиков. Передний буксировал на тележке катер.

— На воду! — заорал Евгений так, словно катер пытался скрыться. Махая рукой, он рванулся за машиной. Водитель превратно истолковал команду и затормозил. Евгений вскочил на подножку.

— Вперед!

Грузовик с ходу развернулся, сдал и притонил катер. Евгений на ходу отпускал крепления, торопил моториста, но тот уже заводил, мотор чихнул, и Евгений схватился за багор.

Этим багром он через несколько минут и подцепил в воде одного, затем второго тонущего сапера, наконец третьего. Третий был мертв: под каску залетел осколок. Оглушенные саперы, отдышавшись, забрались в катер, посидели чуток и опять спустились в воду — помогать товарищам. С помощью катера они сняли с мели остальные амфибии, и катер повернул к исходному берегу.

После налета «юнкерсов» в мутной и пенной воде плыли щепки, на

стрежне нырнуло под днище катера бревно; течение проволокло по борту столб с белыми чашками и пучками оборванных проводов, столб поплясал за кормой и, как привязанный, устремился за катером. Евгений оттолкнул его багром, но столб приближался, и все кончилось на глазах: катер потерял скорость, столб подтянулся к корме, двигатель заглох.

— Винт...— сказал моторист.— Провод намотался.

Катер потерял ход, его сносило течением. На берегу разорялся командир понтонной роты,— у него гуляли паромы,— а Евгений стоял в катере и колупал багром сорванный бомбой и брошенный в реку телеграфный столб. На носовой деревянной решетке навзничь лежал мертвый сапер, глаза его были открыты, и Евгений отодвинул ногу, боясь наступить на мокрую ладонь убитого.

Катер выручила весельная лодка, и когда Евгений соскочил на берег, уже был собран второй паром, на погрузку подошел танк; но отбуксировать на ту сторону пристань было нечем — у катера полетел винт, пришлось и пристань тянуть на веслах. Пристань поставили в створ и тут же взялись заводить трос, хотя по тросу можно было гонять всего один паром...

Первая же ступившая на заречную траву «тридцатьчетверка» пробороздила колею, пересекла кустарник и повела за собой пехоту. Плацдарм расширялся, на берегу появилась кучка пленных, и по цифири на погонах можно было судить, что все они одного полка. Старший среди пленных — фельдфебель, с витой окантовкой на петлицах и погонах,— прижал руки по швам и обратился к прибывшему на пароме Евгению с длинной тирадой. Евгений пренебрежительно отмахнулся от него, но тот был настойчив. «Камрад, камрад!..» — повторял он, и в конце концов общий язык был найден, пленные под командой того же красноволосого фельдфебеля вступили на паром, сменили понтонеров; немцы дружно схватились за трос, полетела команда: «Айн-цвай!.. Айн-цвай!..» Это были добровольцы. Как всякие добровольцы, работали они усердно, похоже было, что и в плен они отдались не без влияния своего бравого фельдфебеля. Во всяком случае, к такой мысли пришли понтонеры, и уже как своим, трудягам, принесли по котелку щей.

Так или иначе, но и в плену дисциплина есть дисциплина, и над рекой долго неслось фельдфебельское: «Айн-цвай!.. Айн-цвай!..»

Евгений со своей ротой и запасом мин перебрался на плацдарм, как только обозначилась первая контратака противника. «Запорол катер...» — на прощанье бросил ему лейтенант-понтонер. Евгений только пожал плечами: он уже был на пароме, и выяснять отношения не имело смысла. Но после того, как пленные вызвались таскать паром, Евгений едва не заорал: «Вот тебе вместо катера!»

Небольшой еще плацдарм жил особой жизнью. Командир стрелковой роты лежал в десятке шагов позади цепи, когда по нему хлестнула откуда-то слева очередь. Он зло посмотрел в ту сторону и цыкнул на подбежавшего Евгения. Тот распластался рядом.

— Что залегли? — задал он дурацкий вопрос.

— С той стороны — все стратеги!..— прорвало пехотинца.

— Да я что...

— Ты прикрой слева! Видал?

За песчаным надувом подвигалось что-то в зарослях: виднелась только похожая на черепаху башня с крестом, и ползла она медленно, будто выбирая путь. Вслед за первой выползла вторая башня, третья,

четвертая... Танки не стреляли, и по ним тоже не били, поэтому казалось, будто они исподтишка крались, рассчитывая на желанную внезапность. Но обоюдная тишина эта была обманчива, и та и другая стороны все время были начеку; наши — потому что им позарез нужны были плацдармы, немцы — потому что в последнюю неделю подтянули в Прибалтику несколько свежих дивизий и надеялись отсидеться по Неману.

Евгений оглянулся, стараясь уяснить обстановку. На исходном берегу понтонеры приступили к наводке моста. Он понимал, что это значило, ведь и немцы наблюдали участок форсирования, и не случайно их танки утюжили прибрежные заросли.

Устраивать минное поле по всем правилам военного искусства было поздно. Евгений развернул роту в цепь. Саперы держали по две противотанковые мины и, пригибаясь,— что ничуть не скрадывало их на открытой луговине,— двинулись встречь танкам.

Евгений тоже пошел в цепи.

Они шли под прицелом, это было трудней, чем под огнем, каждый ждал своего выстрела... Евгений затылком ощущал тоскливый взгляд пехотного командира.

Саперы двигались тяжело, словно на бойцах лежало по сто пудов.

— Принять правее! — каким-то надтреснутым, чужим голосом скомандовал Евгений, приставив ко рту ладони. Команда вырвалась невольно — лишь стоило подумать о ней; она вырвалась не потому, что нужна была, а потому что требовалось обозначить свое присутствие в цепи,— необходим был голос командира. Саперы вообще-то понимали, какой маневр от них требовался, и шли, цепляясь глазами за желтеющую песком промоину, за ручеек, по которому ставить мины. Быстро, внаброс.

На самом правом фланге шло отделение Янкина. Евгению казалось, что бойцы Янкина надежны, не подведут, он начал смещаться влево, ближе к урезу воды. За рекой, на Большой земле, было притягательно спокойно и даже уютно, хотя именно туда, по районам сосредоточения, беспрестанно садила вражеская артиллерия.

Эти дальние, безопасные для него разрывы слышал и Янкин. Он видел всю роту и видел капитана, видел, как Евгений отвалил на левый фланг, поймал его обеспокоенный взгляд и понял, почему так. От доверия, а скорее от догадки у него приятно похолодело в груди.

— Так держать,— негромко и опять без видимой необходимости подал голос Евгений.

Янкин добрел до приметного стебля лошадиного щавеля и от стебля начал считать шаги. Никогда раньше он не думал, что шаги такие длинные и редкие: ра-а-аз... два-а-а... Всего на два шага отошел от щавеля, но успел схватить все — и свое отделение, и широкую луговую даль, и отвалившего влево Евгения, и беззвучные силуэты вражеских танков. Он знал: стоило кому-то одному, у кого кишка тонка, залечь, и его примеру последуют другие, и тогда... Что будет тогда, Янкин не хотел и думать... Он прикинул расстояние до танков, убедился, что они должны бы уже стрелять, но огня все не было, и на какое-то мгновение ощутил вокруг себя удручающую пустоту. Ни единый звук, ни малейшее движение не доходили до его сознания. Даже собственная рука, которая раскачивалась взад-вперед, отложилась в зрительной памяти как нечто застывшее, словно омертвела, и Янкин с удивлением отметил на обшлаге темное пятно. «Откуда? — И тут же вспомнил: — Чай из котелка, утром...»

На поле боя все будто замерло, в этом беззвучии Янкин терялся. Он

сделал еще два растянутых шага, и снова перед ним мелькнули трава, саперы, заречный лес... До пересохшего ручья рукой подать, но Янкину мнилось, что им туда не добраться, что он, Янкин, никак не связан с подчиненными и влиять на них не может. Кажущаяся беспомощность на мгновение сковала его, он дрогнул, сбился со счета и вывалился из строя. Со стороны могло показаться, что сейчас он побежит назад, но он тотчас взял ногу и вернулся на место, хотя и не заметил, что держала ногу вся цепь. Вся цепь шагала в ногу, никто не замечал этого, и это было удивительно.

До ручья оставалось чуть-чуть, Янкин срезал угол пахотного поля и увидел под ногами замершую в испуге мышь. Недалеко была ее нора, но мышь оцепенела и дергала усиками.

— Пригото-овиться! — не по-военному, обыденно предупредил Евгений. Саперная цепь потеряла плавность, середина выпучилась, и одновременно по цепи полоснули танковые пулеметы. Саперы с минами залегли.

Янкин упал возле норы и детски наивно, с болезненным стыдом позавидовал юркнувшей в нору мыши. Он даже представил, какие у нее запасы, зерно к зерну; это уже была совсем чертовщина, Янкин испугался своих мыслей, оторвал взгляд от норы, в которой спрятался зверек, и пополз. Он двигал перед собой две мины, видел росную траву и машинально прислушивался к сложным, но понятным ему звукам боя. Он ловил глазами — на чем бы зацепиться, видел товарищей, они тоже ползли с минами, но взгляд на них не задерживался, будто отыскивал источники звуков. Сухие очереди, свист пуль, чей-то стон и негромкие команды казались Янкину расплавленно-яркими всплесками огня и звуков, они дополняли друг друга, были едины. В эту мешанину вплелись громыхающие в сотне шагов танки и ударившие по ним из-за реки противотанковые батареи. Добавилось едва различимое хлюпанье моста за излучиной. Ворвалась высокая, режущая слух команда пехотного офицера.

Янкин привстал на четвереньки, различил на левом фланге Евгения, и ему стало как-то спокойнее.

Глава одиннадцатая

1.

В САМУЮ ИЮЛЬСКУЮ ЖАРУ, в двадцатых числах, когда войска временно перешли к обороне и, ведя бои местного значения, готовились к возобновлению наступления, Евгений с саперами закреплял плацдарм. Работы было по горло, все больше ночной, скрытной: мины, мины... Евгений, как всегда, неотрывно находился с бойцами, иной раз и не нужен был он на минном поле, но не уходил — не дрыхнуть же, когда все делом заняты.

— Евген Владимирыч,— подсказал ему Янкин,— провернули бы удовольствие для солдатиков...

Евгений переждал, покуда тот поставит мину, всмотрелся в его лицо, но в темноте не видно было, и он не мог понять — о каком удовольствии заикался давний фронтовой товарищ. Необычно это было, чтобы Янкин кружился в каком-то вопросе близ да около...

— Давай конкретно, старина,— сказал Евгений.

— Я что? На носу победа!

— Ну и?..

— Портреты нужны. Саперы...

— Вон как! Подумаю.

Янкин несколько стеснялся несуразной, как он полагал, по военному времени просьбы, и перевел разговор на другое, но и в этой по видимости служебной беседе сквозила все та же мысль о фотокарточках.

— Зарядили в ночную смену, ставим, ставим... по всему передку. А дальше? — рассуждал он.

— Снимать будем.

— То-то оно, проходы! Наступать не за горами, и опять — сапер впереди...— Янкин вздохнул, похоже, он колебался в чем-то, но все-таки досказал: — Ждут солдатиков дома, Евген Владимирыч. Хоть рисунок...

Разговор этот запал Евгению в душу, однако заполучить на передний край фотографа было не просто. Мало того, вырваться в тыл — и то не представлялось случая, только раз за всю неделю смотался за реку — в штаб, со сведениями; это формально, а по существу к фотографу, потому что штаб как раз запросил у самого Евгения карточку. Но главное заключалось в том, чтобы привезти мастера в роту. Почта нынче действовала исправно, письмишками солдаты баловались досыта и уже не впервой наводили разговор на эту тему.

Вопреки ожиданию, мастера не оказалось на месте, но выручил Евгения все тот же ротный писарь.

— Я вас сделаю...— с готовностью вызвался Алхимик и, не дожидаясь приказания, сбегал и принес фотоаппарат. Он довольно умело щелкнул Евгения раз и другой, и хотел уже спрятать камеру.

— Молодец! Пошли,— сказал Евгений.

— Куда?

— На плацдарм.

Лицо у Алхимика стало скучным.

Переправлялись они через Неман в яркий полдень, переправа в этот час считалась опасной — немец нет-нет да кидал из дальнобойных,— но все обошлось. Новоявленный умелец был неразговорчив, и Евгений всю дорогу с некоторым удивлением — после многосуточных ночных бдений — рассматривал светлую заречную даль, непаханые поля и голые, одичавшие пажити. На широких луговых просторах глаз его невольно искал стадо или хоть какую ни на есть живность, хоть заблудшую коровенку, но ничего такого не было, лишь выделялись правильные ряды понатыканных, как спички, волнующихся в мареве кольев проволочного заграждения. Где-то там, в невидимой с реки ложбине, таились, пережидая светлое время, саперы.

Алхимика встретили они в полном боевом: бритые, причесанные и заправленные, как на строевой смотр. Кой от кого даже попахивало тройным одеколоном, и Евгений заметил:

— Женишки...

Кажется, словцо это пришлось по вкусу, потому что солдаты дружно хохотнули и обступили долгожданного умельца.

— Где будем делать? — бодренько осведомился Алхимик, раздвигая треногу и накидывая на голову полотенце.

— Больно ты горяч! — отрезал Янкин.— Здесь тыл, по-нашенски, столовка.

— Столовка? — удивился писарь-фотограф.

— А то! Подбитый танк видишь? С крестами который.

Алхимик опасливо глянул из-под ладошки — до танка было добрых сто метров — и поджал живот...



— Там... что ли?..— спросил медленно, приседая.

— Дак ты, мордопыс, не на пляжах промышлял? — высказал догадку тот же Янкин. Он держался несколько в стороне, будто и не желал увековечить себя.

Алхимик возмущенно окинул его взглядом, приставил ко лбу ладонь, примерил, с какой стороны солнце, хотя и так было все ясно.

— До войны, Янкин, до войны...— Он как присел, так и двигался вприсядку, отчего казался большеголовым карлой. Подвешенный через плечо аппарат волочился за ним по траве. Янкин подхватил футляр и поддерживал — куда Алхимик, туда и Янкин. Так они и подались к танку: пляшущий на полусогнутых умелец, за ним Янкин с поводком и кучкой все остальные. Без настоящего, боевого антуража фотографироваться саперы не соглашались, да оно и понятно: повоевали дай бог! Кому была охота посылать в тыл по-цивильному простецкие снимки? Стальное чудище подорвалось на мине, саперы законно числили его своим трофеем.

Процессия двигалась по тому самому высохшему ручью, где саперы минировали и отражали первую контратаку. Немцев в тот раз отбросили, и только танк с подбитой гусеницей остался торчать, как памятник. Пушка его грозно целилась черным оком, но саперы на нее ноль внимания, и кто-то даже пристукнул в ладоши, казалось, все забыли — где они... Умелец тоже поддался ритмичным хлопкам, в такт перебирал ногами, а Янкин послаблял поводок, не мешал ему. На гимнастерках позвякивали медали и ордена, и под эту музыку мало-помалу захлопали все. Даже Евгений, который шел поодаль, и тот не удержался, плеснул ладонями. Янкин сейчас же повернул к нему голову:

— И вы с нами?

Говорок и смешки среди саперов нарастали, один Алхимик не замечал комизма своего положения и продолжал вприсядку пританцовывать.

Где-то на полдороге по саперам жикнула пуля, смех и пляска оборвались, все распластались, и уже лежа покаялись перед Алхимиком: от фрицевого танка до передовых окопчиков совсем близко. Но Алхимик был свой брат, не обиделся за обман.

Дальше уже пробирались ползком.

Веселья поубавилось, люди остыли, но от затеи — непременно сняться возле подбитого танка — не отказались. Мастер моментальной фотографии занял безопасное лежачее положение, саперы по одному прокрадывались к броневой башне, выпрямлялись и на секунду застывали в напряженной позе. Евгений угнездился невдалеке от аппарата, и перед взором его проходили знакомые лица бойцов, по-праздничному размякшие и просветленные, с добродушными морщинами, родинками и конопушками, усатые и безусые, строгие и улыбчивые.

Взгляд его задержался на Янкине. Издали седина скрадывалась, и невысокий Янкин выглядел чернявым молодцом. Он разлегся, уткнул локти в траву и всем своим видом показывал, что из этой заводной карусели выключился, шабаш. К Янкину никто не приставал, его словно не замечали, и такая деликатность солдат заставила Евгения думать о весьма далеких от фронтовых будней предметах. Мысли его путешествовали в прошедшем времени и блуждали там, казалось, бесцельно, а на самом деле подергивали ту ниточку, которая связывала прожитое с сегодняшним. Невзначай вспомнил он, как ходил в детстве — под руководством дяди Павла и в компании с Котиком — к местечковому фотографу, с улыбкой представил себя в глубоких калошах, сидящим возле нарисованного на холсте моря...

2.

ПОТЕШИТЬСЯ КАРТОЧКАМИ саперам не довелось: немцы под конец будто сдурели и на плацдарме полыхнули с новой силой.

Стрелковый батальон, заглубившись в землю на небольшой возвышенности, держал левый фланг полка, а попросту говоря — дорогу; по этой ведущей к реке дороге и рвались немцы. Они поначалу сунулись слева, вдоль берега, но на вязком лугу посадили несколько танков и с трудом выволокли их обратно. Больше по лугу они не пошли. Не напирали и на правофланговый, разметнувшийся правее высотки, тоже на топком лугу, батальон. Разбомбив наплавной мост, упорно лезли по дороге.

У стрелкового батальона за спиной — река, отходить ему было некуда. Командовал поредевшим батальоном, состоявшим фактически из одной сводной роты, замполит полка — майор с потрескавшимися губами на желтом, пухлом от бессонницы лице. Майор был тяжеловат и двигался вразвалку, как грузчик. Бриджи ему раскроило осколком, он схватил лоскуты проволочной скрепкой из блокнота и так стоял, почти не выходя из ячейки единственного уцелевшего в батальоне лейтенанта — бывшего комвзвода, а ныне уже неизвестно кого по должности. В этой ячейке торчал и Евгений. Он мог помочь пехоте разве что десятком оставшихся у него мин. С этими минами тут же, в бывшей второй, а теперь, когда их отжали немцы, первой траншейке скучилось отделение Янкина. Остальные саперы заняли оборону вместе со стрелками.

Евгений жался в тесной ячейке. От физического ощущения силы и просто живой человеческой души, которая таилась в громоздкой и спокойной фигуре полкового замполита, ему было не то что бы уютней, но как-то уверенней, он ни на шаг не отступал, даже не отодвигался от майора и чувствовал, как у того колыхался живот. «Чревоугодник...» — подумал о нем Евгений, когда стихла пальба и наступила тягучая тишина — тишина, в которой терялось всякое представление о времени.

Замполит прежде не командовал, он был вообще не кадровый, и это знал Евгений, но здесь, в ячейке, это обстоятельство не имело никакого значения; жизнь частенько без спросу назначала кому чем заняться, и люди это принимали как должное. И замполит, и Евгений, и весь состав, попавший под начало замполита — все знали, что войскам необходим плацдарм, хотя специально об этом никто не распространялся. Как-то неловко было говорить об этом.

Вытесненный из ячейки лейтенант обиженно шмыгал носом и наконец, подобрав бесхозную лопатку, принялся со злостью долбить крутость.

По другую руку от замполита сидел на дне траншеи радист.

— Проверяй связь,— зачем-то напоминал ему замполит.

Радист бубнил позывные, когда начался артналет. Снаряды накрыли пятачок батальона, они месили землю, рвались на брустверах и падали в окопы, выбивая и без того жидкие ряды защитников плацдарма; бурая заволочь окрасила в один колер и ближние луговые прогалы, и дальний клин леса, и вздымающееся над головой жаркое небо.

Янкин видел, что капитан ему что-то говорит, но в сплошном грохоте разобрать его слов не мог. Лишь по губам понял: танки! Янкин метнулся по траншее в одну, в другую сторону, словно забыв что-то, а в действительности отыскивая в крутости ступеньку, чтобы выскочить наверх и присоединиться к отделению, залегшему в щелях вдоль дороги. Наконец это ему удалось, он перебежал открытое место и повалился в спасительное укрытие.

Евгений чуть не сорвался следом, но замполит придержал его рукой:

— Погоди, капитан, успеется...

Танки шли покачиваясь, на полном газу, и расчет у них оставался прежний — прошить оборону и сбросить русских в воду. Обе стороны понимали это, и каждая оценивала свои шансы по-своему.

— Успеется...— повторил замполит.

Немецкие танки заметно приблизились, и было непонятно, почему они не развертываются в линию. И замполит, и Евгений стояли пригнувшись — над бруствером торчали только их каски. До оставленной траншеи было метров сто, теперь в ней накапливались немцы; оттуда пустили очередь, струйка пуль пропела над касками замполита и Евгения, оба нырнули и опять подняли головы над земляным валиком.

Танки набегали на оборону по-прежнему в колонне, но что-то у них там изменилось, это заметили одновременно и замполит и Евгений; оба тут же осознали, что бывшая первая траншея, так некстати оставленная, и есть тот рубеж, на котором танки противника сейчас начнут развертываться, в траншее их ждали накопившиеся автоматчики... Евгений ощутил в теле дрожь и отстранился от замполита. Глазами он водил по сторонам, заметил чью-то шевельнувшуюся над земляной россыпью стальную макушку, перевел взгляд на щели с саперами и подумал, что решающей роли они не сыграют: один, от силы два танка могли проехать вблизи них.

Когда вслед за танковой лавиной выскочили из траншейки немцы с черными кургузыми автоматами,— это уже не было неожиданностью.

— Ну вот, и приспело наше время...— обронил замполит.

Не дойдя до саперных позиций, танки круто изменили курс, всей массой хлынули на левый, примкнутый к реке участок обороны. По ним громыхнули из-за реки, но как только они приблизились к нашей пехоте, артиллерия умолкла, стало ясно, почему немцы развернулись вблизи траншеи... Их танки шли фактически вдоль обороны, как бы пытаясь ее смотать, танковые пушки простреливали траншейные фасы,

подавляя там все живое, и на этот же участок устремились автоматчики.

Оборона еще держалась, на линии помятой траншейки пыхкали ответные выстрелы, в нескольких местах работали пулеметы, но цельной огневой системы уже не было. С самого почти берега, там, где кончалась траншея, поднялся резервный стрелковый взвод и валкой, неохотной рысью пошел на сближение с автоматчиками. Во главе взвода бежал с лопаткой в руке давешний лейтенант. Вряд ли мог взвод заткнуть брешь, но это было все, что мог выставить замполит. Он забрал из рук радиста микрофон, еще раз охватил глазами заволоченные дымом позиции и присел. Раскрыв планшет с картой, он передал координаты, затем лаконично и сухо вызвал огонь поддерживающей артгруппы — это был огонь на себя...

Залпы тяжелых орудий и реактивных минометов из-за реки обрушились на плацдарм, перепахивая и без того избитую, вывороченную землю. Лавина немецких танков расстроилась и поодиночке, вразброд схлынула. Лишь два из них проскочили к берегу, они ползли вдоль уреза воды, подминая гусеницами носилки с ранеными, снарядные ящики и приткнутые к суше лодки. Плацдарм покрылся пепельной, непроницаемой завесой. Эта густая пелена жалась к земле, но каждый разрыв подсвечивал ее, раздирал по невидимым швам, перекраивал и полоскал рваные края. В неровных разводьях высвечивал мутно-синий лесок, но разводья смыкались, и опять в дыму курился рассыпчатый, неземной ландшафт.

На плацдарме бушевала смерть,и казалось — все живое подавлено, лишь у самого берега было движение — это куражились два проникших туда немецких танка. Подавив раненых и расстреляв переправочные средства, они повернули назад. Они резали напрямик — по дороге, по которой не первый день стремились выйти к реке,— шли без выстрела и почти впритык, будто тянули цугом. Их запыленные корпуса попеременно ныряли в черно-желтые клубы дыма и пыли, показывались на две-три секунды, по ним шпарили откуда-то очереди, но они уже скрывались, чтобы через миг вынырнуть и вновь продолжать бег.

Однако выйти из боя тоже не просто... Убегающие танки прогромыхали вблизи заваленной ячейки замполита, и оба — замполит и Евгений — невольно присели; замполит ткнулся подбородком в шпилек антенны и выругал радиста, который молчком подвинул рацию.

— Ты почему... здесь? — зловеще уставился на Евгения замполит, подпирая рукой уколотый подбородок. Евгений смотрел на майора, не понимая его.

— Я... здесь...

— Поч-чему... танки?! — Замполит дрожал, все напряжение боя и потери от вызванного на себя огня, и такой ценой удержанный — теперь это было видно — плацдарм, и даже неизвестно как сохранившаяся жизнь самого замполита — все вылилось в этом крике. Лицо его посинело, и Евгений испугался — как бы майор не схватил его за горло!

В траншее пискнула рация, радист тронул лимб и протянул замполиту наушники. Майор взял черные кружки, руки у него дрожали, он пытался надеть наушники поверх каски.

— Танки...— невольно повторил Евгений.

Танки один за другим проурчали над траншеей. Они уходили целые и невредимые, и на их пути оставалось только одно препятствие — полузасыпанные щели с саперами. В дыму эти щели не просматривались ни со стороны обороны, ни сквозь танковые триплексы, лишь Евгений помнил о них... Это напряженное напоминание распружинило его, вы-

бросило на бруствер, он сыпанул с подошвы песком в лицо присевшему над рацией замполиту и растаял в пыльной мути.

В пяти неглубоких, пунктиром простроченных вдоль дороги щелях осталось в живых двое саперов. С тыла к ним приближались два отходящих танка. У переднего было сорвано крыло, оно обвисло и волочилось. В ходовой части у него недоставало ленивца и провисала гусеница, танк заносило. Он был хромоног и притормаживал, выравнивая курс.

Янкин ничего не видел, кроме этого подранка, и двумя руками подтягивал шнур с миной. Он ощущал шнур, как музыкант струну, видел и чувствовал, как подползла мина к колее, рассчитывал, даже видел точку, в которой трак угодит на мину.

Янкину не хватало терпения стоять на коленях, и он поднялся. Щель прикрывала его до пояса, его могло задеть любой пулей или осколком, но он не думал об этом. Он просто задыхался от дыма и взвешенной пыли. В забытьи он работал челюстями, на зубах у него трещало, он отплюнулся, но казалось — кто-то насовал в рот песка, и у него ныли зубы. В последние мгновения старый сапер видел уже не только точку, где встретятся мина с гусеницей, но видел и тот трак, который придавит минную коробку. Взгляд Янкина прикипел к этому траку, он считал — сколько траков впереди, тех, что лягут на дорогу раньше, до мины, и под конец стал считать вслух: четыре... три.. два... В последнюю секунду он присел, над его головой жахнула волна взрыва. Перебитая гусеница рваной лентой выстелилась впереди корпуса, многотонная махина с ходу соскочила катками на грунт и легко, как фанерная, развернулась поперек дороги. Второй танк обогнул подорванного собрата и прибавил газу.

Янкин, прижимая ладони к ушам, приподнял из щели голову. Прямо перед ним замерла перекошенная на одну сторону стальная громада. Сапер увидел молчаливый, нацеленный куда-то поверх его головы орудийный ствол, увидел поцарапанный лобовой лист и запорошенное, в черно-бурых мазутных пятнах пузо машины. Под днищем высвечивался кусок мутной дали и виднелась исковерканная, словно разъеденная оспой, земля. Для Янкина наступила странная тишина, он ловил ртом воздух и не слышал, как открылся люк в днище, только различил в темноватом проеме ноги выползающего танкиста.

— Стой...— сказал Янкин, не слыша своего голоса. Но и немец, по всему, не слышал его, он медленно ссунулся на землю и обмяк, не поднимая головы. Потом пополз встречь Янкину, не разбираясь, куда ползет. Сапер наконец понял, что немец ослеп, на месте глаз у него краснели заплывшие дыры, из них текло, все лицо танкиста было склизкое. Раненый что-то лопотал, но Янкин не понимал, да и не слышал слов, хотя сознавал, что человек просит помощи. Янкин с опаской поглядел под темное днище, но из люка никто больше не показывался, и тогда он выскочил, подхватил и поволок немца в щель. Янкин не заметил, когда спрыгнул к нему взъерошенный, взвинченный боем Сашка Пат.

— Свои побиты, а он — спаситель!... В Христа, в бога!..— заходился ротный цирюльник.

Янкин только по виду Сашки догадывался, о чем лай. Догадывался обо всем и немец, потому что попятился в угол щели и заслонился рукавом. Янкин достал из кармана пакет, разорвал обертку и стал наматывать немцу бинт. Но Сашка схватил сержанта за руку.

— Спаситель! Детишек кидают, детишек!.. — бесновался он, и Янкин ощутил, как колотила Сашку дрожь: после госпиталя он заметно припадал на ногу и был несдержан. Янкин решительно оттолкнул его,

Сашка повалился наземь и забился в истерике, из горла у него вырвался хрип, он шарил рукой — то ли пуговицы на вороте гимнастерки искал, то ли автомат... На его скорченные пальцы капала с губ пена.

Слепой сидел тихо, и Янкину казалось, что в ушах у него стоит тонкий, беззвучный писк. Он невидящим взором обвел мертвый танк, пустынную землю вокруг щели и затененную пепельным маревом реку. Его взгляд на какой-то миг задержался на искореженных лодках, паромах и на разбитом понтонном мосту — ничего больше не отложилось в его зрительной памяти...

3.

ПОСЛЕ ПЕРЕГРУППИРОВКИ советские войска вновь устремились вперед. Подтянувший резервы противник упорно сопротивлялся, его авиация беспрерывно висела над переправами через Неман, бомбила танковые и механизированные части на маршах и в районах сосредоточения. Гитлеровское командование стремилось затормозить наступление советских войск, но те продвигались вперед и вперед, и первого августа освободили Каунас.

Саперы Евгения получили для проверки улицу на окраине и какие-то мастерские, к которым примыкала эта улица. Осмотрели и прослушали в первую очередь проезжую часть, проверили подземное хозяйство, обстукали трубы и даже гидранты колодцев, но ничего не обнаружили и пошли по дворам. Во дворах тоже не было ничего подозрительного. Работа, похоже, близилась к концу.

Настроение у Евгения было хорошее: что ни говорите, а разминирование в тылу все же лучше, чем на передовой... К тому же он рассчитывал помыть роту в бане, ибо знал, что баня—всегда великое благо для солдата: не только грешное тело, но и душа расслабляется и оттаивает, как только скинет солдат подштанники и направится в парилку. Говорить с кем-либо на такую обыденную тему он воздерживался, боясь показаться несерьезным, но думать думал, и при этом ловил себя на желании пофилософствовать. В мыслях у него поначалу было вроде бы только мытье в бане, но каким-то незаметным образом на ум пришла притча о грязном белье, притча, связанная якобы с царем Петром и тоже с солдатами... Может, и напраслину приписывают царю, но всем известная притча повернула мысли Евгения в неожиданную сторону: почему один человек волен говорить и делать то, что не дозволено другому? Попробуй-ка ротный старшина сказать солдатикам: после бани грязное белье продай, а выпей... Хотел бы он посмотреть на этого старшину!

Евгений вспомнил о писаре, о том, что послал его искать городскую баню, потому что войсковые тылы отстали. И в этот момент подошел Янкин.

— Сюрприз? — обеспокоился Евгений.

— Нулижды нуль!

— Н-да... Был такой ученый парень...— облегченно вздохнул Евгений.

Вслед за Янкиным к Евгению потянулись свободные от задания саперы. Хотя сюрпризов на этой улице не обнаружили, однако нервное напряжение, испытанное во время проверки, равнялось отнюдь не нулю. Курцы достали портсигары и табакерки, над солдатскими головами закурчавился дымок, этот привычный успокоитель во всех случаях жизни. И только наблюдательный человек мог заметить тщательно

скрываемую неестественность улыбки в глазах одного или застывший и твердый, как стальной, шарик на щеке другого. Саперы сгруппировались возле палисадника, перед глухим фасадом одноэтажного особнячка, кто-то из них перегнулся через проволочную сетку, сорвал гладиолус. В зашторенном окне как будто мелькнула женская фигура, Янкин остерег:

— Заругают...

— Почему такое?

— Видишь...— затруднился Янкин.— При фрициках сеяно... и вообще, в войну цветочки...

— Не скажи, сержант... Для кого сеяно!

С этими словами сапер сломил еще один пунцовый гладиолус. Евгений хотел вмешаться, но в это время зашуршал гравий и на дорожке появилась женщина, вероятно, хозяйка особняка. На женщине было летнее платье и клеенчатый передник. Она без слов забрела на клумбу, принялась резать кухонным ножом цветы. Солдаты, тоже молчком, следили за ней. Собрав букет, она вышла на тротуар и протянула цветы саперам. На лице женщины играла неуверенная усмешка. Она как бы колебалась и не могла решить, кому отдать предпочтение. Ее затруднение было понятно — в куче запыленных, недавно вышедших из боев военных мудрено было выделить командира. Наконец женщина все же проследила за взглядом русских солдат, рассмотрела на погоне у Евгения звездочки и подошла к нему.

— Это вам! — сказала она.

Евгений в свою очередь не знал, как ему быть,— обнять ли эту женщину, или поклониться ей, а может, расцеловать руки... В конце концов он неловко, с излишней резкостью схватил букет и стал извиняться, но по смущению женщины понял, что извиняться не нужно, и смотрел на нее, не зная, что сказать.

— Спа-си-бо...— выговорила женщина и ушла.

Саперы во главе с Евгением тронулись вдоль палисадника и побрели по улице — бесцельно, просто так, потому что не могли стоять на месте.

Шагов через тридцать они подвалили к разбитой витрине. Хруская осколками, столпились перед лавкой. Дверь была замкнута; на полках, за разбитой рамой, навалом лежал копеечный товар: бабские гребешки, пузырьки с духами, баночки с кремом, губная помада и всякие штучки.

Янкин солидно, неспешно отступил на край неширокого тротуара и внимательно оглядел вывеску. Прочитать он ее не прочитал, но определил:

— Частное заведение... Буржуй.

— Ха-ха... Ешь ананасы, рябчиков жуй! — подхватил Сашка Пат.

— Рябчиков случалось,— заверил Янкин,— а что касаемо ананасов — не пробовал.

— Не пробовал, сержант, а критикуешь...— не унимался Сашка-цирюльник.— Какой буржуй? Он, как я: знал почем сотня гребешков, и вся коммерция.

Янкин хотел объяснить шутку, но его не слушали, и он замолк, вспомнил приезжего лектора, который битый час толковал саперам о мародерстве и достукался — саперы едва не освистали его. Ну, да ладно, задание имел человек, ездил и читал. Обидно, конечно, слушать было, но лектор в конце концов достиг результата — у Янкина зародилось сомнение: неужели сыщется среди саперов гнида? Мучительно стесняясь собственных подозрений, он все же косился на бойцов, как

бы кто не соблазнился расческой или еще какой мелочишкой. Но никто ничего не брал, бойцы только переглядывались и толкали друг друга в бока. Особенно выделялся рослый Сашка. Цирюльник просто заливался, рассказывая что-то товарищам, крутил во все стороны головой, и Янкин видел — у него рассечено осколком ухо. «Тронулся он, что ли?» — насторожился Янкин, невольно подвигаясь к нему.

— Могу из тебя красавчика сработать...— приставал Сашка к ротному писарю.

Алхимик отделывался ужимками, морщил нос и надувал щеки.

— Хошь, загрунтую веснушки? Разделаю под орех! Я гримом занимался, хошь — размалюю, как девку, хошь — под лешего... Хошь?

— Под бульдога можешь? — спросили Сашку, и Янкин неодобрительно фыркнул. Фыркнул потому, что сам же сегодня читал саперам газеты, и они рассматривали портрет деятеля, похожего на бульдога... Как-никак союзник, и неприлично смеяться. Янкин хотел одернуть озорников, но передумал, поскольку — поди докажи, о ком речь...

— Из Алхимика бульдог не получится,— сказал Сашка и протянул в витрину руку.

— Почему? — осклабился щербатым ртом Алхимик. Безапелляционный тон Сашки задел писаря за живое.

— Если б ты смоктал сигару...— говоря это, Сашка шарил по витринной полке, и скоро в руках у него очутились баночка с вазелином, помада, карандаш для бровей и еще какие-то причиндалы. Перебрав все это в руках, он притулил Алхимика к подоконнику и начал манипулировать: придал его лицу землистый оттенок, нанес на лоб морщины, прочертил борозды возле носа и у губ, насинил мешки под глазами, вывернул и велел так держать нижнюю губу. Потом отступил на шажок и руками отстранил всех.

— Что ты из меня делаешь? — зашлепал вывернутой губой Алхимик.

— Щеки у тебя девичьи, а нужно складками, с наплывом... И подбородка нету,— сожалел Сашка, довольно ловко орудуя карандашом и мазями.

Гримера подбадривали товарищи, и он старался вовсю. Под конец он втиснул в рот Алхимику предложенную кем-то трофейную сигару, в лице Алхимика появилось что-то тяжелое, хваткое, и если знать — кого хотел изобразить Сашка, да еще чуток сфантазировать, то можно было увидеть желаемое. Алхимик тужился, пучил глаза и накатывал воротником гимнастерки жиденькую складочку на подбородке. Вокруг все хохотали.

— Не натуживайся, бульдог, а то дух пустишь!

— С бульдога Гитлер пустит... Он теперича в Арденнах, злой.

Евгений взирал на художества саперов сквозь пальцы: пусть потешатся. Он и сам увлекся и не приметил, как возле него застопорила машина и на тротуар выскочил комбат майор Зубов.

— Кого встречаешь?

Евгений не сразу понял вопрос комбата, а поняв, спрятал букет за спину.

— Подарок...

Зубов был невыспавшийся и злой. Он четвертые сутки безвылазно мытарился в машине, и это бы еще ничего, беда в том, что потерялась где-то, не выходила на связь разведгруппа Владимира Богдановича, от которой ждали важную информацию. Группу эту посылал на задание именно Зубов — когда служил еще в штабе армии, и на душе у него было неладно. Он задержал взгляд на саперах:

— Чем заняты?

— Самодеятельностью,— беспечно ответил увлекшийся Сашка.

Зубов с одного взгляда охватил и разбитую витрину, и гримировочные принадлежности в руке парикмахера, и дурацкую, с вывернутой губой и сигарой во рту, физиономию Алхимика.

— Кто высадил стекло?

— Мы... не мы...

— Кто, я спрашиваю? Мародеры! — допытывался Зубов, он в исступлении пошарил по кобуре, но отдернул руку и повернулся к Евгению.

— Так и было,— доложил Евгений.

Зубов, не зная куда деть руки, схватился за козырек, подергал фуражку и сказал:

— Разгильдяйство! Если б не знал тебя с сорок первого...

— Не поверили бы?

— Нашелся... тупейный художник...— Зубов разглядывал несуразную, длинную и нескладную фигуру Сашки Пата.

— Мы временно... на отдыхе, товарищ майор,— не спасовал Сашка.

— Какой отдых! — вскинулся Зубов.— По всем данным контрудар назревает.

— Назреет — будем ударять...— сказал Евгений. Ему совершенно не хотелось говорить и даже думать об этих предметах: удар, контрудар... Вся война из того и состояла, удивляться тут было нечему. Беспокойство комбата по поводу назревшего контрудара не передалось ему, общие успехи на фронте уже перестроили его психику — в голову не приходило, что нынче возможны какие-либо неудачи на фронте. Все шло к победе! Бои, потери — это да, но поражение... О былых военных невзгодах он вспоминал со щемящим сердцем, почти с таким же чувством, с каким вспоминают о чем-то безвозвратно утерянном в детстве, где были и обиды, и сожаления, и поломанные игрушки...

Перед его глазами маячили усталые, грустные, озабоченные и даже откровенно озорные лица саперов, и в голове его мелькнуло, что представление, которое давал Сашка-парикмахер, явилось естественной разрядкой после нервотрепки с минами на улицах города. Зубов что-то говорил Евгению, но Евгений только делал вид, что слушает комбата — в действительности он витал далеко отсюда... Он стоял, опираясь спиной о фонарный столб, и совершенно машинально козырнул Зубову, когда тот направился к своей машине. Пора было и Евгению идти в штаб, а в штабах ведь всегда чего-нибудь жди!..

Когда Евгений, отдав необходимые распоряжения, явился в штаб, комбат сидел уже в своей будке, что-то писал, и Евгений молча козырнул ему.

— Доставай карту,— сказал Зубов.

Евгений вынул из планшета склейку, поднялся в будку, и Зубов собственноручно нанес на ней новую линию фронта, наметил скопление противника в районе Каунаса, прочертил пунктиром синюю стрелу возможного контрудара и наконец жирно выделил позиции своей артиллерии прямой наводки.

— Задача — прикрыть пушкарей минами,— сказал он в заключение.— Работать только в темноте.

Евгений забежал еще к снабженцам и в техчасть, наскоро отчитался по расходным материалам, передал штабной машинистке подарок: пачку трофейной писчей бумаги и плитку шоколада — все из второго взвода, у них была давнишняя дружба — и вернулся в роту. По дороге он прикинул расчет людей на ночное задание, а когда вернулся, то увидел,

что в расположении скучает один Сашка Пат, и тот с бельем в руках — ждет, когда его подменят. Увидев Евгения, Сашка доложил, что чистую смену для него старшина занес на квартиру. Евгений не стал терять времени и махнул через улицу в дом, где ночевал две ночи: в конце концов перед боевым заданием сам бог велел помыться.

Чтоб получить все двадцать четыре удовольствия, Евгений хотел еще и побриться перед баней. Переступая порожек, он готовил в уме фразу, с которой обратится к хозяюшке, степенной и приветливой Саломее. На столе увидел цветы, и это отвлекло его, фраза о теплой воде никак не складывалась... Ему нужна была вода, желательно теплая. Саломея же плохо понимала по-русски, и Евгений затруднялся объяснить свою потребность. К тому же он спешил, а степенная Саломея относилась к каждому своему шагу с милым и непреклонным уважением, и было заметно, что домашний свой труд она ставила так же высоко, как всякую иную работу. Манеры и весь ее облик вызывали у Евгения уважение, но отнюдь не восторг, потому что он постоянно пребывал в цейтноте, начиная с самого раннего утра, когда вскакивал после тревожного ночного сна и, не успев как следует позавтракать, срывался с места.

Саломея пробовала даже ворчать на «господина капитана», но Евгений быстро раскусил ее напускную строгость. К тому же и ее супруг тоже не отирался дома, ему тоже не хватало времени: он с утра до ночи пропадал в мастерских, которые силами таких же вот пожилых трудяг, как он сам, срочно восстанавливались.

На счастье, в этот раз Евгений застал мужа Саломеи дома — тот заскочил пообедать. Они без труда объяснились по части воды: хозяин говорил по-русски. Вода тут же была подана, Евгений сбросил китель. С хозяином дома он по-настоящему и виделся-то всего второй раз: ложились и вставали они в разное время. Хозяин был рабочий, хотя давно уже не работал, то есть, как пояснил, не состоял при деле.

Евгений взбил мыло и с блаженством намазался. В зеркале он увидел свою кудлатую голову с торчащими розовыми кончиками ушей и пенными щеками, и седую шевелюру стоящего за спиной старика. Только теперь он подумал о хозяине как о старике, присмотрелся к нему внимательней и невольно сравнил с собой, потому что в зеркале обе головы были рядом. Их глаза встретились, старик понял, что капитан рассматривает его.

— Я есть пожилой,— кивнул он.

— Нет, почему же...— замялся Евгений.

— У нас имел мальчик. И девочка.

Старик вздохнул. Евгений заметил, как скосились глаза его в сторону, и повернул голову в сторону, куда смотрел старик. Слева, на полосатых обоях, он различил выцветшее овальное пятно.

— Где он? — осведомился Евгений, догадываясь, что значило пятно на стене и кому принадлежала эта комната.

Старик принялся взволнованно объяснять что-то, мешая русские слова с литовскими, но Евгений все же разобрал суть: по всей улице квартировали немцы, и держать на стене портрет мальчика в русской военной форме было бы безрассудством, но теперь они с Саломеей решили водворить фото на место, хотя это не первая забота, главное — они не знают, где их сын, он ушел в сорок первом...

Евгений даже перестал скоблиться и вместе со стулом повернулся к старику. В его взгляде он прочитал еще что-то невысказанное, тревожное, и спросил:

— Вы не боялись при них?

— Ньет,— ответил старик.— Мы есть свое отечество.

— Да, да...— согласился Евгений. Он машинально подставлял ладонь, ловил сползающие с подбородка хлопья и вытирал ладонь о штаны. Старик отрешенно глядел куда-то сквозь Евгения, и казалось, сквозь стену, а Евгений также невидяще устремил взгляд мимо старика.

Старик не шевелился, стоял как статуя.

— Вы оставлять город? — спросил он.

— Кто сказал? — опомнился Евгений.

— Люди... Осталась девочка.

Эту девочку лет восьми Евгений видел и вчера, и сегодня, и все не понимал: дочь это или внучка.

— Нет, нет! Чепуха. Че-пу-ха...— раздумчиво повторил Евгений и заторопился, вспомнив вдруг, что его с ротой ждет ночное минирование на артпозициях, и соображая, что задание такого сорта — признак возможных осложнений. Однако, как и прежде, он и думать не думал о каких-либо невыгодных последствиях предстоящего сражения и уверенно добавил: — Об этом нечего рассуждать. Вперед идем.

Старик как будто успокоился, с извинением вышел за дверь, но через минуту вернулся и несколько церемонно протянул Евгению небольшую коробочку. Евгений мокрым полотенцем обтер лицо, но на шее сочилась кровь, он порезался, и старик сказал:

— Этот не зарежет.

Евгений открыл коробочку, в ней лежала безопасная бритва. Он хотел отказаться от подарка, но понял, что отказ обернулся бы непоправимой обидой для пожилого человека, ждущего домой — на последнем году войны — родного сына.

— Спасибо,— только и сказал Евгений.

В баню Евгений не успел. Когда он облачился в китель и начал прощаться со стариком и его женой, над городом завыла сирена. К ней сейчас же присоединился отдаленный сиротский гул, а по соседству в мастерских заныл рельс. На пороге вырос посыльный. Евгений козырнул и выскочил из комнаты.

Пожилая чета тоже поняла все без слов. Старый литовец рысцой потрусил к веранде, вывел дамский велосипед и вручил Евгению. Евгений без колебаний схватил руль, и старик уже вдогонку крикнул, чтобы он прислонил велосипед к крыльцу... к какому-то там крыльцу...

Тревога в городе оказалась ложной. В небе действительно плыли бомбовозы, но свои. Евгений выкатил с ротой на северо-западную окраину, где их тотчас и обстреляли.

Согнав машины на жнивье, он укрылся от налета за пригорком и напрямик вывел колонну к небольшому, прилепившемуся за обратным скатом хутору.

Заброшенный, бесхозный хутор встретил саперов мычанием, кудахтаньем, хрюканьем и голодным визгом всевозможной живности. В нечищеных загонах и по двору метались недоеные и некормленые коровы, грызлись хряки, носились куры. Подоспевший на первой машине Евгений тупо уставился в прислоненный к ограде дамский велосипед. Что-то знакомое померещилось ему в этом велосипеде, но отвлекаться было недосуг. Он распахнул ворота — для грузовиков,— и тотчас же со двора вырвалось и понеслось к видимым отсюда окопчикам стадо свиней, по стаду кто-то издали сыпнул из автомата — не разобрать, свой ли, немец ли,— очередь с присвистом стебанула по хуторским постройкам, и саперы с руганью повалились через борта. Грузовички попятились в тень ближних деревьев, ища там защиты.

В это самое время первый эшелон наших бомбардировщиков скинул свой груз, и на северо-западе загрохотало.

— Накрыли! — сказал Янкин. После бани он был еще распаренный и благодушный.

Бомбили, по всей вероятности, скопление немецких войск в ближнем оперативном тылу.

Самолеты шли волнами, и в их гуле почти целиком пропадали голоса вражеских зениток. Вслед за бомбовозами проплыли шумные штурмовики, они летели и без того низко, а возвращались уже над самой землей. В их темных плоскостях светились рваные дыры.

— Взять по четыре мины! — приказал Евгений.

Минут через двадцать саперы достигли района артпозиций.

Противотанковые пушки разметнулись по широкому, скошенному полю, его желтизна на левом фланге была очерчена ровной полосой зеленых лип. За придорожными липами, между крон, золотилось такое же отлогое поле, и ничего на нем, кроме гладкой желтизны, не выделялось. Обтянутые масками окопы с едва приметными краюшками орудийных щитов, мелкие, тоже крытые сетками пехотные траншейки, командно-наблюдательные пункты, даже голые, как всегда плохо замаскированные щели связистов — ничто не бросалось в глаза за дальностью расстояния. От этого казалось, что местность за дорогой не входила в район военных действий, а вся оборона ограничивалась полоской одноцветных и одинаковых ростом, будто нарисованных, деревьев.

Евгений обвел взглядом сектор обороны и убедился, что первая траншея выдвинута несколько вперед. Здесь же, за длинным и пологим обратным скатом, наспех посажен артиллерийский заслон — в расчете на танковую контратаку противника. Выбранная пехотой открытая позиция показалась Евгению неудачной. Так оно по сути и было: на этом направлении наши наступающие части просто не смогли продвинуться дальше и закрепились, как говорится, на достигнутом рубеже.

Разглядев лежащий на земле провод, Евгений быстро и безошибочно добрался по нему до командира противотанкового дивизиона. Вместе с артиллеристом на НП сидел командир подвижного отряда заграждений, незнакомый Евгению инженерный лейтенант.

— Действуй, сапер... Перед тобой весь мой сектор...— артиллерист поднялся с земляной приступки в неглубокой щели и провел рукой справа налево. Евгений машинально повернул голову, и в его зрительной памяти опять же обозначились четче всего дороги с липами, на правом и на левом фланге. Дороги расходились, утыкаясь двумя лучами в горизонт, уводили взгляд куда-то вдаль.

На поле, между окопов, упало несколько снарядов.

— Пристреливают,— заметил артиллерист.

Евгений стоял в щели, прикидывая, как им лучше выбраться на открытое место. По обстановке начинать минирование следовало незамедлительно, не дожидаясь темноты. Командир отряда заграждения — восточный человек с узкими щелками глаз и тонкими, сжатыми губами — тоже понимал это, он резко, как на пружине, поднялся, стряхнул с брюк песок и выскочил на жнивье.

— Ракету, капитан, ракету! — напомнил он, не оборачиваясь и старательно произнося гласные.

Евгений проследил, как скуластый лейтенант, пригибаясь и петляя, словно под обстрелом, побежал налево.

— И тебе ракету? — с нервным смешком осведомился артиллерист. Евгению показалось, что он где-то уже встречал его, но где — хоть убей, не помнил!

Минировать начали без промедления. Длинный летний день закатывался, надвигались подсиненные сумерки. Воздух стал гуще, запахло парной землей, соломой и еще чем-то далеким, жилым, так что Евгений даже повел носом. Он успел протрястись через все будущее минное поле, с фланга на фланг, вернулся в первый взвод и поторопил Янкина. Но в таких делах Янкин никогда не торопился. Он проверил поставленный взрыватель, последил, как Сашка Пат привалил мину дерниной, и строго сказал:

— Евген Владимирыч, вы же знаете...

Докончить он не успел. Где-то вдали, казалось, по всему фронту, заклокотало и в воздухе захлюпало, будто издали стремительно налетела стая невидимых птиц. Огневой налет вздыбил землю, снаряды обкинули всю местность, взрывы заплясали у траншей, на артпозициях, ослепили наблюдательные и командные пункты; предвечерний ветер лениво поволок над жнивьем желто-бурые хвосты дыма и пыли, соединяя их с лиловыми отсветами закатного горизонта. В разнобойном грохоте нарастало что-то неприятно-тревожное, а спустя некоторое время стало ясно: к обороне приближаются танки. Земля под ногами мелко, едва заметно вибрировала. Началась контратака.

Удар, как и предыдущие, был сильный и жесткий: терять фашистам было нечего...

Слева выбрались из кустов на дорогу один за другим четыре автомобиля-миноукладчика подвижного отряда заграждений. В дымных просветах мелькали фигурки минеров, спускающих с задних бортов желоба — для сброса мин. Миноукладчики проскочили по асфальту до первой траншеи, съехали на поле, развернулись и уступом поползли вдоль нее.

Янкин, не дожидаясь понуканья, вскочил на ноги и затормошил прилегших саперов:

— Чё разлеглись? Ну, чё? Тащите мины...

Танки не были видны до последнего мгновения, и когда они миновали траншею и показались из темной, плывущей стены взвешенного песка и дыма, Евгений удивился, как до них близко. Он уставился на одну машину, потом на другую. Он видел каждую прорезь в надульном тормозе и все внимание сосредоточил на конце ствола. Подсознательно оглянулся, будто искал защиты, отметил, как в ближнем окопе расчет выкатывал из укрытия пушку; номера ухватились за щит, за сошники, за колеса... На длинном стволе у самого среза отсвечивали звездочки.

Батареи противника перенесли огонь в глубину, и саперы короткими перебежками разносили последние мины — перед самыми окопами батареи.

Сухо скреготнул первый танковый выстрел, граната рванула позади орудия, обдав окоп землей и осколками. В тот же миг пальнул ответный выстрел, болванка тоже промазала. Саперы припали к земле, над головами у них началась артиллерийская дуэль, и в нее тут же ввязались десятки танков и несколько дивизионов противотанковой артиллерии. Врезанные в грунт орудия водили стволами над самой землей, выжигая перед собой стерню и взметая вихри обугленной соломы и пепла. Сумрак все более окутывал местность. Евгений, лежа, поднял руку и закрутил над головой, отзывая саперов из зоны огня. Однако и его, и саперов заволокло, а когда дым порвался и багровые в отсветах выстрелов клочья понесло в сторону, он увидел рядом с собой подбитый танк. На борту его вскипала пузырями краска. Огонь сине-желтым валиком разливался по панцирю, пожирал черный, с белыми подводами крест. За горящим танком вынырнул другой, он повернул немного в сторону,

на пушку. Евгений не видел ее, судил обо всем лишь по движению танка. Танк бил по окопу, но пушечка не отвечала ему, и Евгений в оцепенении смотрел на танк, забыв, что нужно отползать.

Позади танков из дымной гущины возникли, как привидения, два автомобиля: это ползли, завершая минирование, машины отряда заграждения. Машин осталось только две, но они ползли, выдерживая заданное направление.

— Товарищ капитан! — закричал Янкин, показывая рукой в сторону чудом пробившихся машин. Евгений в недоумении потряс головой. Он решил, что заграждении опоздали и потому минировали уже после прохождения боевых порядков противника. Похоже, они преградили танкам не атаку, а отход.

Саперы торопливо выставляли в грунт последние коробки, и Сашка в спешке оставил мину на поверхности.

— Ты чё?..— набросился на него Янкин.



— Вон... Ал... Алхимик...— стал заикаться Сашка, оборачиваясь к ползущему за ним писарю.

— А-а! — взбеленился Янкин.— Горазд на чужом дышле в рай!

Сашка шарахнулся к своей мине, но Евгений торопил всех с отходом, мину бросили. Поблизости ухнул снаряд, саперы подались за Евгением; вплотную за ним полз Янкин, за Янкиным — Сашка Пат, еще дальше — Алхимик и остальные. Сашка хватал ртом воздух: его оглушило.

Растоптав первое орудие и проутюжив окоп, танк-крестоносец резко изменил курс, из-под гусениц его полетели комья, он устремился к левому флангу, заходя на батарею с тыла. В образовавшуюся брешь втягивались еще две бронированные машины, за ними целились в промежуток, переползая мелкие воронки, транспортеры с автоматчиками. В обороне наметилась явная вмятина. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Евгений отвел саперов к хутору.

— Занимай оборону! Первый взвод на правом фланге: вспаханная борозда — колодец... Янкин, живей! Второй взвод...

Саперы поспешно развернулись в цепь, припали к земле и замахали лопатами. В потемневшем воздухе местность почти не просматривалась, судить о сражении оставалось по звукам. Саперы водили головами, определяя на слух линию обороны и маневр наседающих танков. Яростная, ожесточенная пальба еще кипела, стороны схватились насмерть. Немцы спешно вводили резервы, но в чем-то они просчитались — не успели засветло проткнуть оборону. На поле боя уже опускалась настоящая темнота, орудийная канонада затихала, и лишь справа какая-то пушечка все еще запоздало частила по транспортерам, по их расплывчатым силуэтам.

«Курицыны дети! Спохватились!..» — подумал о них со злостью Евгений, но в ту же минуту пушечка замолкла: видимо, ее прихлопнули...

Десант спешился с транспортера где-то поблизости, но в дымном мареве немцев не было заметно, лишь при вспышках то в одном, то в другом месте возникали их силуэты. Саперы открыли по ним огонь, и автоматчики, пустив десяток тусклых в пыли ракет, залегли.

Бой затих, но кое-где все еще пыхкали взрывы и поднималась кутерьма: то выходящие из боя танки натыкались на мины. Евгений плохо слышал, о чем кричал ему Янкин: бункер... люди в бункере... чертовщина какая-то!.. Он и сообразить ничего не успел, как из темноты, урча, прибился к хутору рыскающий по сторонам минораскладчик. Борта и кабина у него были снесены, задняя резина размочалена... Исковерканная машина ткнулась в загородку и заглохла, по ней издалека прорезалась трассирующая очередь. Пренебрегая цепочкой цветастых, словно игрушечных, пуль, Евгений кинулся к висящей на одной петле дверце и выволок сникшего на руле лейтенанта. Скулы на его лице еще больше обострились, он прикрывал глаза рукой, повторяя: «Я просил ракету... ракету...»

Ракета не появилась потому, что командир дивизиона со своей ячейкой управления угодил под прямое попадание... Но что могло дать это объяснение лейтенанту? Евгений слышал, что Янкин по-прежнему что-то кричит, и поволок лейтенанта на голос.

Распаленный сержант выкрикивал:

— Черт знает — откуда они!.. Черт знает!..

Евгений заглянул в лаз. В погребе горела плошка, на земляном полу виднелась женщина с ребенком на коленях. Она исподлобья коси-

лась на военных, руки ее и ноги судорожно упирались в пол. Женщина со страхом пятилась к задней стенке.

— На машину! — коротко бросил Евгений. Он не признал в испуганной и распатланной женщине свою недавнюю хозяйку — Саломею.

Внезапно хутор оказался в самом пекле, нужно было отправить раненых, а вместе с ними и женщину с ребенком. Янкин окликнул ее, но она будто не слышала его и все пятилась к уставленной бочками стене. На траве, возле погреба, стонал лейтенант, и Янкин кинулся за подмогой, привел Сашку с Алхимиком.

— Берите,— ткнул пальцем в лейтенанта и полез в погреб. Он подошел к онемевшей от страха женщине, поднял ее и подтолкнул к выходу.— Наверх... спасаться...— приговаривал он. Ребенок уткнулся в бархатную кацавейку матери, которая подступила к лестнице и неловко нащупывала ногой нижнюю перекладину.

— Живей! — требовал Евгений.

— О, русски...— лопотала перепуганная женщина, медленно и неохотно, с видимой растерянностью поднимаясь из своего укрытия.

Евгений с недоумением слушал ее лопотанье — только теперь он признал Саломею. Ему представлялось, что он никогда раньше не знал жизни, не видел всей ее сложности так отчетливо, как сейчас. Он будто читал на лице растерянной литовки все, что она думала, что произошло с ней в эти дни, и раньше — за месяц до этого, за год, за десять лет до сегодняшнего дня... «Как она попала сюда? Бежала все-таки из города...» — думал Евгений. Совсем недавно хутор был под немцем, потом его взяли русские, теперь опять подступали немцы... Было от чего потерять голову! Евгений протянул Саломее руку, но она потупилась, не увидела протянутой руки и сама выбралась из лаза. За ней выскочил наверх Янкин. Подхватив женщину под руку, он потянул ее к заведенному уже грузовику.

— Ма-ма-а!..— заголосила девочка.— Ма-а...

Дорогу им пересек красный пунктир. Короткая очередь перерезала женщину вполтуловища, она повалилась. Янкин приник ухом к ее груди, но все было кончено, и он потянул к себе ребенка. Девочка с ужасом уставилась в изрытое шрамами, незнакомое и страшное при вспышках огня лицо Янкина и упиралась. Она пальцами сжимала деревянные бусы на груди мертвой матери, наконец бусы рассыпались... Янкин оторвал девочку и понес ее к машине.

Глава двенадцатая

1.

В ШТАБ ДИВИЗИИ, расположенный всего в километре от передовой, Евгений добрался через полчаса после того, как его вызвали. Роща была забита машинами радиосвязи, броневичками, танками и мотопехотой. Его сразу захватила деловая спешка. А дело было в том, что комдив собрал офицерский состав усиленного танкового батальона и все экипажи «тридцатьчетверок», назначенных в передовой отряд. Инструктаж еще не начался, и Евгений пристроился на левом фланге.

Среди начальства выделялся командарм. Он что-то показывал на карте, которую держали перед ним штабники. При виде командующего

Евгеиий всегда тушевался, ему казалось, будто старое, с сорок первого года, зиакомство с геиералом создавало между иими какие-то особые отношеиия, тогда как иа самом-то деле командарм вряд ли даже помнил и фамилию Евгения.

— До граиицы восемьдесят километров,— говорил генерал, одной рукой поддерживая другую, хотя повязку после ранения он уже снял.— Задача реальная.

— Вполне. Завтра будут на канале,— согласился командир дивизии.

— И — плацдарм! С ходу! Кто первый иа ту сторону — тому...

Можно было не договаривать: или грудь в крестах, или...

Комдив был иформироваи о иемецких боеприпасах с отравляющими веществами в старой крепости, ои что-то вполголоса ответил, и штабиики начали свертывать двухсотку, шуршали, и было уже не слышно генеральского голоса. Евгений лишь уловил, как звякнули геиеральские шпоры, посмотрел на его сапоги и подумал, не те ли это шпоры, при которых генерал — тогда еще комдив, полковник — начииал войну в далекой отсюда Бессарабии? Миого воды утекло с того жаркого и трудного лета, миого было плохого, немало и хорошего, особеиио в последиие два года, и все-таки чуть уловимый звон генеральских шпор отдавался в душе Евгения тоскливым отзвуком минувшего... Евгений вздрогнул, но к офицерам подошел комдив, и все внимание Евгения переключилось на задаиие.

Передовой отряд выступил в сумерки. Пересеченная местиость благоприятствовала скрытному выдвижеиию колонны, но затрудияла обзор, и командир таикового батальона высунулся в распахиутый люк своей «тридцатьчетверки». Колоииа ползла по грунтовке, пересекла рощу, обогнула болотистую впадиину и втяиулась в кустарник.

Евгеиий следовал на бронетраиспортере с запасом взрывчатки. На поворотах неизмеино маячил впереди силуэт в шлемофоне: комбат... Темень быстро сгущалась, в небе застрекотали кукурузники, их моторы глушили шум передового отряда. Евгений не сразу это сообразил, но потом все-таки понял, что бомбить ночью иемцев, которые ие имели здесь подготовленной обороны, весь деиь маневрировали и черт знает где и как сейчас располагались,— затея пустая, значит, они преследовали иную цель...

В иочном рейде многое зависело от разведвзвода. Разведчики прокладывали курс где-то впереди, оии были иевидимы и иеслышимы, ио Евгений не переставал думать о них, потому что вместе с танковым разведвзводом находились иесколько саперов. Он полагал, что они миновали уже линию иемецкого прикрытия, хотя так ли это,— никто ие мог сказать с достовериостью, поскольку оборона противника была нарушеиа и, как всегда в период преследования, держалась отдельиыми разрозиениыми очагами. Евгения беспокоило сейчас и другое: ие отстали бы амфибии и поитоны. Он лучше других представлял всю сложность форсирования канала: отвесиые бетоиированные берега, глубииа порядочная... Амфибии и полупонтоны на воду-то неизвестно как спускать, не говоря уж о погрузке иа них боевой техники!

Из задумчивости его вывел глуховатый взрыв. Евгеиий определил — миia. Не дожидаясь приказания комбата, кивиул водителю, тот вырулил иа обочииу и пошел обгонять танки первой роты. Раза два бронетраиспортер чуть ие задело гусеницей, но саперы все же вырвались вперед, обогнули командирский танк, в котором все также маячил комбат, и подались вдогон за разведкой: никто не сомневался, что имеиио там иаскочили на мииу. Примерио через километр бронетран-

спортер настиг остановившийся разведвзвод. Прямо посреди дороги стояла «тридцатьчетверка» с распущенной гусеницей. Евгений на ходу выскочил из кабины. К нему тут же подошел Сашка Пат. В руках он держал противотанковую мину.

— Вот...

— Всего одна?

Сашка пожал плечами.

— Вторая бахнула...

Евгений подошел к танкистам, и лейтенант весело отчеканил: убитых и раненых нет. Евгений понимал, что веселость эта — всего лишь нервное возбуждение, реакция молодого лейтенанта на взрыв, и ничего не сказал. Он и сам однажды, находясь в танке, перенес взрыв мины под гусеницей, и знал, что это такое...

Каток, под которым рвануло, был выбит; оттаскивать танк не оставалось времени, саперы нашли объезд, и разведчики тронулись дальше.

По сторонам плыли размытые темнотой перелески, под колесами блеснул брод через ручей, вырезалось на просветленном куске неба сухостойное, будто распятое дерево. К колонне откуда-то придвинулась и побежала обочь зубчатая лесная стенка. В вечернем воздухе густо синели выхлопные газы. Скоро совсем стемнело, и ничего уже, кроме слабых кормовых огней на идущих впереди танках, не различалось. Случай с подрывом не произвел на Евгения особого впечатления, он только время от времени подносил к светящемуся приборному щитку часы. Мысли пошли какие-то путаные, сонные, но где-то внутри пульсировало ощутимое, как живчик, понятие: «Граница, граница...» Скоро старая граница!

К рассвету передовой отряд преодолел большую часть пути. Позади остался подернутый сизым туманом болотистый, никем не занятый лесной массив. Танки и колесные машины вырвались на простор. Где-то на востоке и северо-востоке громыхало — там пробивались главные силы дивизии. Но за ревом и лязгом танков экипажи ничего не слышали. Сидящие на ветерке саперы тоже едва различали далекий гул.

Евгений очнулся от забытья и безмятежно зевнул. В кабине бронетранспортера было тепло, даже душно. Евгений двумя руками приоткрыл тяжелую броневую дверь. Водитель осуждающе покосился — Евгений захлопнул дверь и пошутил:

— Что-то у тебя уши пухнут!

— Курить охота, товарищ капитан...

— Так бы и сказал! — С этими словами Евгений извлек из оттопыренного кармана пачку, помял папиросу, сунул солдату в зубы. Потом зажег спичку, поднес, но машина прыгала и тряслась на выбоинах, и солдат попросил:

— Подсмалите.

Евгений почмокал цигарку, она закоптилась от спички, тлела одним боком, но водитель — настоящий курец — подслюнил где нужно и глубоко затянулся.

Летнее утро обещало зной. В небе растаяло последнее облачко, и даже повисевшая над головами «рама» пропала, как видение. Солнце наливалось плавленой медью, но его низкие, продольные лучи не обжигали, а только красили розовым отсветом пыльные башни танков, угловатые борта бронированных машин и растворялись в клубах дымно-серой завесы. Эта завеса просматривалась на равнинной местности издалека, и по ней откуда-то прихлюпал снаряд. Снаряд был пристре-

лочный, разорвался с перелетом, и в танках его не заметили. Насторожились только понтонеры да саперы — эти тащили за собой громоздкие плавсредства.

Головной танк с прежней заданностью клацал траками, он не менял ни скорости, ни курса, и вся колонна размеренно следовала за ним, копируя изгибы дороги, прошивая перелески и вновь выползая на клочковатые, обмежованные валунами поля. По бортам машин плескалась влажная от росы, застоявшаяся рожь, проезд сузился, и танки левой гусеницей давили посевы. Стебли с колосьями ложились ровно, как на уборке; с примятой полосы, забивая солярку, повеяло от вымолоченного зерна хлебным духом. Рука Янкина порыскала за бортом транспортера.

— Перестояла...— заключил сержант.

Но никто не поддержал разговора,— саперы, сжавшись, взглядами провожали уносимый ветром бурый тюльпан разрыва.

Над передовым отрядом побарражировало и скрылось звено наших истребителей. Колонна вырвалась изо ржи, преодолела незасеянный, каменистый холм и скатилась под уклон, к сухой канаве. Первый танк остановился, осторожно пощупал землю и полез через препятствие. Едва он успел перебраться на ту сторону, по колонне пришелся орудийный залп. Подразделения с разбега еще сжимались, до предела сокращая дистанции, гусеничные и колесные машины по инерции выбирали последние метры, и тут показался за канавой — в полукилометре — строй горбатых, напоминающих верблюдов, немецких танков. Они курили слева по курсу — наперерез, и тоже по полевой дороге. По ним можно было достать бронебойными, но «тридцатьчетверки» стояли в затылок друг другу; они начали сдавать, бронетранспортер с саперами тоже попятился, его зацепил танк и что-то хрустнуло. Водитель в горячке рванулся из кабины, однако Евгений придержал его: нашел время сводить счеты!

Все прекрасно знали, что немецкие танкисты связывались с «тридцатьчетверками» без особой охоты, ну да здесь нашла коса на камень... Немцы, без сомнения, наблюдали передовой отряд, видели заминку, однако выжидали, не стреляли. Их замысел прояснился, как только в воздухе загудели «юнкерсы»: бомбовозы с первого захода брали горку и валились на цель.

— Разминулись с ястребками...— задрал глаза Сашка Пат.

— Небо широкое,— ответил Янкин, вжимая голову, в ушах его еще стоял звон улетевших прежде времени истребителей.

Все могло кончиться в несколько минут: встречный бой скоротечен... Командир на виду у всех торчал из башни, его танк — единственный — находился за канавой и елозил взад-вперед, выходя из-под возможного выстрела. В эти несколько секунд не только командир отряда, но и все поняли, что разведка и боевое охранение проскочили слишком далеко вперед, или же немцы умышленно пропустили их...

От ведущего «юнкерса» отделились сигары — их было видно, они еще не набрали ускорения и не стабилизировались. Но на них никто не смотрел, все взгляды собрал, как в фокус, комбат. Вероятно, он отдал какой-то приказ, потому что танковые роты, разворачиваясь влево и вправо, на полном газу рванулись вперед, почти все одновременно подвалили к канаве. На секунду замирая, танки беззвучно кланялись, перекрывали гусеницами канаву и снова ревели моторами. «Тридцатьчетверки» резко пошли на сближение с арьергардом противника, это был единственный шанс избежать бомбежки.

Кажется, и немцы поняли это. Поворачивая башни, они спешно пы-

тались организовать огонь с места. Они почему-то упрямо не соступали с проселка, хотя вся местность была проходима. «Тридцатьчетверки» сблизились с ними в течение одной минуты. Они, казалось, шли на таран, и пушечная дуэль слилась со скрежетом железа, тупым звоном и фырканьем болванок, резким воем самолетов. «Юнкерсы» надрывно выходили из пике — они не могли бомбить кашу из своих и чужих танков, замкнув круг, лишь горячими тенями носились над полем боя.

Беглый огонь «тридцатьчетверок» по меченым крестами бортам вызвал пожары, два вражеских танка окутались дымом. Из одного экипаж выбрался, второй полыхнул взрывом, тяжелая башня приподнялась, махнула стволом и боком скользнула на землю. Немцам съезжать с дороги было уже ни к чему, расстояние и без того сократилось до предела, стрельба шла в упор... Лобовая броня «тридцатьчетверок» давала выигрыш, но вот снаряд угодил в гусеницу, «тридцатьчетверка» потеряла ленту и на ходу круто развернулась. В ту же секунду немцы сосредоточили на ней огонь, ее охватило пламя. На башне открылся люк, но из него никто не вылез... Обожженные танкисты появились внизу, под днищем — их было двое. Они отползли в сторону, и тут же в танке ухнули боеприпасы.

В дымной панораме все наплывало одно на другое, но было заметно, как немцы помалу пятятся. Бой смещался, удаляясь к западу.

Евгений ощутил, как припекло ему голову, и пощупал рукой каску. Каска действительно была горячая, ее нажарило поднявшееся уже солнце. Он не отводил взгляда от горящего танка, словно прикипел к трем заметным звездочкам на башне: это был тот самый танк, что снес у транспортера бампер... Евгений с саперами залег в злополучной канаве — на лугу бесновался бой, пахали землю снаряды, горело железо, над головами по-прежнему метались самолеты. Но вот в небесной карусели что-то изменилось. Евгений поймал это на слух и, не понимая еще, что произошло, обернулся. Он увидел, как «юнкерсы», разделившись на две группы, начали клевать понтонеров. Понтонные блоки и амфибии беспомощно ползали среди взрывов.

— Щиты! Колейный переход! — прокричал он, надо было и понтонерам, вслед за танкистами, прорываться вперед — другого пути не было...

Саперы уже подавали щиты. В канаве стоял Янкин, каска на нем сбилась, он поправлял ее и в грунте выкручивал каблуком метку — для укладки первого щита.

— Рысью! — требовал он.

Первый щит волокли Сашка с Алхимиком. Тяжелый, из сырых брусьев щит бороздил землю, задевал неровности, рвался из рук. Рослый Сашка чертыхался и перехватывал свой край то левой, то правой рукой, приноравливаясь к жидкому напарнику. Алхимик слышал раздражение Сашки, морщил нос и тяжело дышал. Сквозь щербину во рту с каждым выдохом у него вырывался тонкий свист. Сашка сбился с ноги и споткнулся.

— Не свисти, мымра! — вырвалось у него.

— Пат, я не могу больше...

Все же они подтянули колею, за другой конец схватился Янкин, щит с маху бросили на канаву. Янкин тут же начал закреплять торцы кольями, но колья плохо шли в ссохшийся грунт, топор звенел, и Янкин подложил под обух выхваченную из каски пилотку. Он привык работать на переднем крае, тихо... Но на этот раз саперов не услышали, а увидели — немецкие летчики еще не разучились гоняться за оди-

иочками. Над головами саперов блеснул фонарями «юнкерс», вниз полетела кассета бомбочек.

— Ложи-и-ись! — предупредил Евгеиий.

Он первый брякнулся в каиаву рядом с мостиком, обнял руками голову и, холодея, ждал. В голове его билось: не попадут... не попадут... После серии взрывов он вскочил, увидел двух упавших, цепко держащих в руках вторую колею саперов; по тому, как замахиулся на иих иогой, но не ударил третий товарищ, как подхватили щит набежавшие Сашка с Алхимиком, по перекошенному рту Сашки и бледному, веснушчатому лицу Алхимика понял: упавшие — мертвы.

Яикин своим топором, казалось, грозил самолетам, а на самом-то деле вгонял клинья. Понтоны уже громыхали к канаве.

А впереди, по-прежиему грудь в грудь, бились танки. Горели еще две бронированиые громадииы, и в чаду ие разобрать было, чьи они. В какой-то миг Евгению показалось, что танковый батальон, а с иим и весь передовой отряд обречен на гибель. Но «тридцатьчетверки» все же теснили иемцев. Клочок взрытой и задымленной, схвачеииой огнем земли будто уплывал в иепроглядную высь — солице пронизывало клубы копоти, обливало безразлично-ласковым светом разбитые, мертвые коробки таиков с крестами и звездами на броне, усиливая и без того тягостное впечатление чего-то несообразного и ненужного...

2.

СБИВ ЗАСЛОН иемцев, передовой отряд продолжал рейд. Из люка передией «тридцатьчетверки» опять высунулся н стоял на виду у всех комбат.

Евгений двигался в середиие колоны н хорошо видел торчащую из башни фигуру в танкошлеме. На коленях у Евгения хрустела развернутая сотка, ои примеривался взглядом к линии канала и прилегающему пятну леса: передовой отряд углубился от исходного рубежа почти на восемьдесят километров.

До канала оставался пустяк, и Евгеиий ждал последиего донесения от иижеиериой разведки.

В транспортере было душно, висевшее в зените солнце насквозь пропалило его, горячие лучи, казалось, проиикали через броню, пронизывали каску, пилотку, гимнастерку и даже плотные яловые сапоги. Дышать было иечем, Евгений хватал раскрытым ртом пропыленный воздух и вяло следил, как расплывалось на пыльных жалюзи капота тусклое пятно солнца. Липкой рукой он сгонял с лица пот. На лобовое стекло занесло овода, овод долго ползал, пытался взлететь, потом забился в угол, и Евгений придавил его локтем. Думать ии о чем не хотелось, но возбуждеиие от недавнего боя и общее приподнятое иастроение — настроение победителя — не оставляло его. Он невольно перебирал в голове то один, то другой вопрос, и все эти вопросы касались отнюдь не военных дел. Да, собственно, это были и не вопросы, а, скорее, случайные догадки; например, Евгений пытался представить себе состояние иемцев, терпящих поражение в войне. Сиачала он представил это как нечто схожее с его ощущениями в сорок первом году, но тут же решил, что это не то, что в сорок первом на его Родине оставался иетронутым н недосягаемым глубокнй тыл. А что останется в Германии?

— Да, что останется?..— спросил он у воднтеля.

Водитель очумело глянул иа капитана, двинул плечами, крутнул

баранку на ухабе. Он ничего не ответил, и было видно, что не понял вопроса. Евгений уточнил:

— От Германии.

— Пшик...

— А народ?

— Конечно... Они-то измывались, а мы — славяне... потерпим.

— Вот сокрушим Гитлера, и в первую очередь — что почувствуют немцы? — допытывался Евгений.

— Штыки в землю!

Штыки в землю — это было ясно, а дальше? Евгений припомнил, какими глазами провожали бойцов жители в сорок первом, при отходе, и ощутил озноб; он шевельнул лопатками, на спине у него подернулась мокрая рубашка. Н-да, недобрые глаза провожали их, но в тех глазах все же просвечивали вера и надежда. А как встретят немки своих чистокровных? И что скажут эти мужчины своим детям и женам? На кого свалят они свои преступления?

Дорога перестала пылить, танки и машины вырвались на травянистое плато. По сторонам зеленел кочковатый луг, колонна без остановки пересекла его и втянулась в рощу. На горизонте синела опушка соснового бора, на зеленом фоне возвышался обвалованный берег канала. Евгений напружинился и привстал на сиденье. Передние «тридцатьчетверки» уже спускались под уклон, и Евгений опять отчетливо различил над башней голову комбата. Наперерез головному танку вынеслась из ольшаника пестрая кучка людей со вскинутыми над головами разномастными винтовками, карабинами, автоматами, пистолетами — это были местные партизаны. Командирский танк сбавил газ и, качнувшись, стал. К нему подвалили остальные машины. Партизаны со всех сторон полезли на командирский танк, облепили башню, что-то показывали, возбужденно махая руками в сторону дальнего леса. Слышались русская и польская речь. В это время вернулась с канала инженерная разведка, передовой отряд, не задерживаясь, рванулся вперед.

На ближних подступах по танкам ударили с того берега прямой наводкой, батальон потерял еще две «тридцатьчетверки»...

Вскоре танкисты подавили огонь врага, но с ходу спустить с отвесных бетонированных стенок амфибии и понтоны на воду не удалось: у саперов хватило тола лишь на подрыв одного спуска, да и то немцы гвоздили по нему со всех направлений; удалось только переправить — в мертвой, непростреливаемой зоне — взвод пехоты с отделением саперов, которые зацепились на западном берегу. Это уже была Польша.

Евгений отправился латать и готовить к форсированию продырявленные понтоны и амфибии. В роще он наткнулся на новую группу цивильных людей с оружием, они что-то говорили, но пролетавшие штурмовики заглушали голоса. Все подняли головы и увидели, как самолеты принялись утюжить немецкую оборону за каналом. В томительном безветрии оттуда доносился рев моторов, клекот авиапушек, дробь пулеметов и взрывы... Ко всем этим звукам прибавлялся далекий, надсадный гул — то подходили с востока главные силы дивизии. Землю под ногами трясло, среди щелестящих ольховых порослей мелко зудели две сосенки, Евгений сорвал желтую колючку, сунул в рот.

Подошедший человек в конфедератке сказал:

— Интернациональ...

Евгений устало поглядел на него и, словно оправдываясь, ответил:

— Задержались полки... Солярки не было, тылы отстали.

— Да, да, тылы... интернациональ... Париж, де Голль...

Запас слов у них иссяк, и они оба рассмеялись.

Над головами пронеслась вторая волна штурмовиков. За каналом вновь забушевало. Этот грохот перерос в нестерпимую, как в землетрясение, дрожь. Земля под ногами ходила. Евгений невольно обернулся и увидел в подернутых маревом перелесках «тридцатьчетверки». Подоспевшие танковые полки устремились к каналу.

Форсировать начали под вечер. По берегу зажгли дымовые шашки, над каналом взвилась темная завеса, по ней немцы открыли слепой огонь. Сейчас же ввязалась наша артиллерия. Тяжелые дальнобойные орудия густо клали снаряды по синему лесному массиву, и туда же пикировали бомбардировщики. Над бором всплыли дымные лиловые облака, затмевая падающее, закатное солнце; лучи его еще пронизывали, жгли густые клубы над деревьями и над каналом, но мутная завеса уже по-ночному задернула лес, взрывы, небо и догорающий шар. К каналу устремились амфибии, понтоны, и все, что могло держаться на воде. В местах будущих аппарелей до последнего мгновения дежурили саперы: шурфы со взрывчаткой были затрамбованы и электролинии подключены, однако осколки снарядов рвали сеть.

— Янкин, кончай! — из окопчика торопил Евгений. В руках он держал наготове ключ от подрывной машинки. Янкин заизолировал свежий сросток возле самого берега и поднялся бежать.

Евгений в последний раз схватил глазом всю панораму. Дымный вал сносило на противника, по всей низине — влево и вправо от окопчика — двигались к берегу амфибии и понтонные машины. На амфибиях жалась пехота, покачивались орудия, торчали минометы. Из кустистых опушек выползли танки. На левом фланге, за зеленым мысом, просматривался разрыв в боевых порядках, дальше — вновь ползли уменьшенные до размеров игрушек танки — это уже был соседний полк. Евгений чувствовал, как струится на ноги песок с крутостей, как все дрожит вокруг, и понимал: вот-вот взрывать, сейчас взметнется ракета. Он смотрел на Янкина.

Янкин отбежал от шурфа на три шага, когда перед ним упала мина. Осколки жикнули в сторону, мимо ног, но опять зацепило кабель. Янкин упал на место разрыва. По-настоящему соединять и изолировать кабель не оставалось времени, сержант зубами содрал лак с медных ниток, наскоро скрутил концы и зажал в кулаке. Другой рукой засигналил капитану: давай! — и, уткнувшись головой в землю, стал ждать взрыва.

Евгений уже не замечал подходивших амфибий, понтонов и танков, он видел только лежащего невдалеке от заряда Янкина, который зажимал в кулаке сросток. В шурфе было затрамбовано двадцать килограммов тола, и когда по всему берегу взвились ракеты, Евгений долго не мог попасть ключом в гнездо подрывной машинки — глаза его косились на Янкина. Наконец он вставил рукоятку, но держал ее недвижно, ощущая на всем теле холодный, отвратительный пот. Евгений, пожалуй, знал, что крутнет ручку, и как только вдоль всего канала — в местах соседних аппарелей — поднялись, опережая звук, черные фонтаны, он крутнул... Потом медленно поднялся. Янкина на прежнем месте не было...

Со спуска один за другим валились тупыми носами на воду амфибии. Евгений какую-то минуту цепенел в своей ячейке, потом понесся к спуску. Амфибии буксовали, и саперы швыряли под колеса обломки бетона, нагребали песок, совали дерн. Оборона противника загадочно

молчала. На лице Евгения отразилась тревога, возле губ прочертились складки.

— Затаился гад...

Вечер догорал. Из-за покореженного бомбами и снарядами леса разливался по небу горячий закат. Воду на канале рябило. Евгений глядел на бегущие по зеркалу пунцовые чешуйки, потом уставился на торчащую из бетонного шва хворостину. От хворостины упала на бетон красноватая тень.

— Закрепился немец,— подтвердил его мысли кто-то из своих, кажется, Сашка Пат.

Евгений только двинул бровями, поправил на боку брезентовую сумку с маской,— трудно доходила до него человеческая речь, оглох он от взрыва, а может быть, и от очередной потери...

Эх, Янкин, Янкин, старый, битый сапер!..

Но и о нем думать было некогда. На спусках ухали в воду полупонтоны. К пристаням подваливали танки. Вдруг откуда-то налетел протяжный свист, Евгений повел головой, машинально засек пункты переправ соседнего полка... Свист над головой внезапно оборвался, возле десантных машин пыхнул взрыв, Евгений схватился за живот. Сашка Пат, оказавшийся поблизости, бросился к нему. Через борт из машины выскочил еще кто-то, но Сашка уже взвалил Евгения на спину и понес к окопчику.

В окопчике Евгений ладонью зажал вспоротый живот, в глазах его стыло тоскливое недоумение. В ожидании санитаров Сашка принялся бинтовать его, задрал у него мокрую рубашку, наложил тампон, стал водить бинт вокруг поясницы. Перевязывать сидящего было неудобно, Сашка пытался приподнять Евгения, но увидел, что тот сморщился, и отказался от своей затеи.

— Сейчас, Евгений Владимирыч, сейчас...

Кровь текла по рукам у Сашки, он вытирал ладони о гимнастерку и опять брался за бинт. В глаза капитана он не смотрел,— верно, боялся показать слезу.

Евгений тоже не глядел на ротного цирюльника. Он вдруг вспомнил о дне рождения... Да, сегодня он родился и, по рассказу мамы,— в предвечерний час. Он хотел сказать об этом Сашке, но передумал, он гнал от себя невесть откуда всплывшую мысль: рождение и смерть в один час...

Пальба за каналом удалялась, и уходило от него и все остальное — незадачливый, в дыму пропавший Янкин, Сашка, танки, война... Подбежавших санитаров он уже не видел, не видел и того, как спешно несли они его к санитарной машине. Жить или умереть в свой день рождения — теперь это от него уже не зависело...



Николай ЧЕРГИНЕЦ

•



СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Повесть

Рисунки М. Бельского.

Выстрел на пустыре

СТАРШИНА МИЛИЦИИ Марков бежал за преступником, который только что у него на глазах ударил ножом человека. Теперь он удирал через пустырь к берегу реки, через которую был переброшен трубопровод. «Хочет перебраться по трубопроводу на ту сторону. А там закоулки, огороды... Уйдет!» — мелькнуло в голове у старшины.

Убегавший изредка, полуобернувшись, вскидывал руку, и тогда Марков слышал визг пули. Только визг, без выстрела. «Мелкокалиберный,—определил он.—Не из тех ли, что в тире украли?»

Марков понимал, что ему с пятью десятками лет за плечами не угнаться за молодым парнем. Но и упустить столь опасного преступника было нельзя.

— Стой! Стрелять буду!— рванул он из кобуры пистолет.

Преступник ответил сразу двумя выстрелами. Марков тоже дважды выстрелил вверх, затем остановился, как когда-то в тире, правым боком вперед, вытянул руку с пистолетом, поймал на мушку ноги бегущего. Рука дрожала. Марков затаил дыхание и плавно нажал на спуск. Гулкий выстрел эхом воротился из-за реки. Убегавший упал. Старшина быстрым шагом направился к нему.

«Может, притворяется?» — подумал он, заходя справа. В случае чего — преступнику будет несподручно стрелять: голова его лежит на согнутой в локте правой руке.

Остановился в нескольких шагах. На спине лежавшего по светло-голубой рубашке расползалось бурое пятно. Подошел ближе, наклонился.

«Мертв! — выдохнул, досадуя на себя.— Промазал-таки. А целился ниже пояса».

Марков только теперь заметил, что продолжает держать в руке пистолет. Сунул его в кобуру и, расстегнув на рубашке верхнюю пуговицу, огляделся: «Хоть бы душа живая!»

Нужно было срочно сообщить в отдел о случившемся. Но как? Оставить убитого с пистолетом в руке нельзя. Вся надежда, что кто-нибудь пойдет по трубопроводу через реку. Маркову повезло. На противоположном берегу появился мужчина. Вот он подошел к воде, бросил взгляд назад и быстро пошел по трубам. Марков шагнул ему навстречу.

— Товарищ, можно вас на минутку?

Мужчина неуверенно приблизился.

— Слушаю, товарищ старшина!

— У вас документы при себе?

— Да, пропуск. С работы, тороплюсь домой. Вот и решил путь сократить. Вы уж извините, товарищ старшина, впредь буду только по мосту...

Марков, возвращая пропуск, перебил:

— Сейчас дело не в зтом, товарищ Хрусталев. Видите, убитый лежит. Позвоните по 02. Скажите, чтоб работника прокуратуры взяли с собой. Только, я вас прошу, побыстрее — темнеет...

— Понял, товарищ старшина!

Хрусталев напрямик побежал через пустырь.

«К магазину... Правильно. Там телефоны-автоматы, да и по служебному можно позвонить»,— отметил про себя старшина, возвращаясь к трупу и садясь неподалеку на траву. Внезапно навалилась какая-то слабость, колени дрожали, к горлу подступала тошнота.

«Как же зто произошло?» — в который раз задавал он себе вопрос, припоминая подробности.

В парке остался сержант Кривец. Конечно же, он ничего не слышал и не знает, потому что пошел вдоль реки. А он, Марков, принял левее, по косогору. Обогнул планетарий — возле него была небольшая очередь, постоял у площадки, где вертелась карусель, не торопясь пошел дальше.

Заросшая аллея привела его к стрелковому тиру, где три дня назад случилась беда. Кто-то напал на сторожа, так хватил его по голове, что старика доставили в больницу без сознания и вряд ли он скоро придет в себя. А из тира унесли двенадцать мелкокалиберных пистолетов. «И этот стрелял из мелкокалиберного... Да, здесь есть какая-то связь».

Старшина был недалеко от злополучного тира, когда из-за кустов до него долетело несколько слов. Интонация говорившего заставила остановиться и прислушаться.

— Ты, Шкет, не думай, что Глухой за тебя будет просто так мазу тянуть...

«Знакомый жаргон»,— подумал старшина и нырнул в кусты. Метрах в семи от него на пятачке стояли двое. Неожиданно один из них, лица которого Марков не видел, взмахнул рукой — блеснул лезвием нож.

— На, сука, получай!

Его собеседник снопом осел на траву, а сам преступник — заметил он Маркова или нет? — метнулся в сторону, ломая кусты. Марков подбежал к лежащему, схватил его за руку. Пульса не было. Нож торчал в груди прямо напротив сердца.

Когда старшина бросился за убегающим, тот был уже метрах в двадцати, на аллее, ведущей, к выходу из парка. «Не догнать»,— прикинул старшина и громко крикнул:

— Держите его, он человека убил!

По аллее тоже к выходу шла группа парней и девушек. Они оглянулись на крик и, увидев бегущих, расступились.

— Задержите его!.. Это убийца!

Но Маркова, видимо, не поняли, никто не преградил преступнику путь. Их единоборство продолжалось. Сначала пересекли улицу с трамвайными путями, потом убегавший попытался уйти, перемахнув забор... Марков не отставал. И лишь когда выбежали на пустырь, понял, что силы сдают, и сделал единственный прицельный выстрел. Целился в ноги, по инструкции. А вышло вон что... «Стареть стал. Дыхание подвело...»

Старшина Марков прослужил в милиции не один десяток лет, побывал в разных переделках, но вот так, как сегодня, стрелять в человека, пусть даже преступника, пришлось впервые. Правда, в годы войны по фашистам стрелял. Не было у него жалости к ним. А вот зтого молодого парня, похоже, жалел и корил себя, что не попал в ногу...

Его размышления прервали подъехавшие машины. Сколько их было — три или четыре? Из черной «Волги», которая остановилась последней, вышел начальник городского Управления внутренних дел. Старшина откозырял ему, доложил о случившемся. Генерал приблизился к трупу, постоял, рассматривая его при свете фар, потом, повернувшись к старшине, негромко сказал:

— Михаил Антонович, пистолет сдайте майору Петровскому, а сами с Леньковым и Феофановым немедленно в парк — обеспечьте там охрану трупа до прибытия опергруппы. Здесь займутся другие...

Маркова не удивило приказание генерала сдать оружие: так положено, если оно было применено против человека.

Майор милиции Игорь Николаевич Ветров, которому была поставлена задача срочно установить фамилии погибших, читал рапорт Маркова. Старшина дословно приводил подслушанный разговор, который определенно указывал на связь обоих убитых с преступным миром. Ветров направил отпечатки их пальцев в оперативно-технический отдел для проверки по дактокартотеке. Если они в прошлом судимы, то установить фамилии — дело считанных дней.

Затем майор занялся пистолетом, из которого убегавший стрелял по Маркову. Да, пистолет действительно из тех, что были похищены недавно в стрелковом тире. Над раскрытием зтого преступления работала оперативная группа во главе с начальником уголовного розыска города полковником Севидовым, но до сих пор дело почти

не сдвинулось с места. Сторож по-прежнему находился в тяжелом, чтобы не сказать почти безнадежном состоянии.

Ветров и следователь прокуратуры Савич решили сами допросить свидетелей. Начали с жены сторожа.

Маленькая, сухонькая, раздавленная несчастьем, она изо всех сил старалась держать себя в руках. С нею уже дважды разговаривали работники милиции, но это было, как говорится, накоротке.

— Екатерина Петровна, сколько лет вы замужем за Анатолием Ивановичем?

— Да уже, слава богу, без малого сорок.

— А давно он работает охранником в тире?

Старушка на минуту задумалась, потом подняла глаза на Савича:

— Восьмой год пошел...

— А он никогда не рассказывал, чтобы во время дежурства к нему приходили посторонние или, может, кто пытался в тир проникнуть?

— Нет, ничего такого не рассказывал. Я сама иной раз дежурила с ним ночью. В тир посторонний человек попасть не мог: муж никому не открывал. Однажды, помню, вечером, часов в десять, постучал мужчина. В пневматическом тире работает. Так муж не открыл ему, пока к светлому окну не подошел. Я еще тогда сказала: «Ты совсем, старик, с ума спятил, своих не впускаешь!» А он мне: «Не смейся, у меня здесь оружия на целую роту, и шутить с этим нельзя. К тому же — инструкция».

— А как у него зрение, слух?

— Слышит он хорошо, но вот если читать — очки надевает. А на улице и дома ходит без очков.

— А револьвер во время дежурства носил при себе?

— Да, всегда. И с гордостью. Ведь он в молодые годы офицером был.

Ветров подсел поближе.

— Екатерина Петровна, как вы думаете, кто мог совершить преступление?

— Не знаю. Но без помощи человека, которого муж знает в лицо, не обошлось. Ну, а если что — муж стрелял бы. Человек он решительный.

— Скажите, а не могло так случиться, что он вышел с какой-нибудь целью из тира, а преступники этим воспользовались? Скажем, кто-то позвал на помощь.

— Нет, позвонил бы сразу куда следует.

Савич закончил писать, дал старушке прочитать протокол допроса. Та расписалась и ушла.

А в коридоре ждала инструктор ДОСААФ Короткова, которая ночью проверяла сторожа. На вид ей было лет тридцать. Одета просто, но со вкусом, среднего роста, с высокой модной прической.

— Проходите, пожалуйста, присаживайтесь,— пригласил Ветров. Он решил побеседовать с этой женщиной подробно, ведь она, по существу, видела Шатилова последней.

— Анна Павловна, вы давно работаете в ДОСААФ?

— Около семи лет. Когда я поступила, Шатилов уже работал.

— И часто приходилось проверять этот тир?

— Дело в том, что у нас все инструкторы участвуют в проверке, по графику. В этом месяце я проверяла дважды, с 6-го на 7-е июля и в ту ночь — с 27-го на 28-е.

— А сколько раз в течение ночи вы должны проверять охранников? — спросил Ветров.

— Не менее двух. А у меня получилось, что трижды... Первый раз — около девяти вечера, второй...

Но Ветров перебил ее:

— Вот и расскажите по порядку, как все это происходило. Только не спешите.

— Вечером я взяла с собой шестилетнего сына и пошла в парк. Мы побывали на детской площадке, возле самолета, что стоит недалеко от тира, прохаживались по набережной. Около девяти часов пошли к тиру. Дверь была заперта, и я постучала. Через минуту слышу шаги в тамбуре. Шатилов спросил, кто стучит. Я назвала себя, и он говорит: «Вы с посторонним». Я рассмеялась и вместе с сыном подошла к окну: «Посмотрите на этого постороннего». Только тогда он открыл. Расписалась в книге проверяющих, позвонила, как требует инструкция, в Республиканский комитет и сказала дежурному, откуда звоню. Затем мы с сыном ушли.

— Анна Павловна, а вы возле тира подозрительных людей не встречали?

— Нет, вроде бы. Впрочем, подождите. Да, точно, видела там рабочего тира Данилюка. Вот только имени его не помню. Мне показалось, что он ждет кого-то.

Савич насторожился.

— Анна Павловна, а почему вы не сказали об этом нашим сотрудникам?

— Как-то упустила из виду.

— А в какое время вы были в тире вторично?

— Приблизительно в час ночи. В первой комнате на электрической плитке грелся чайник. Я спросила, не приходил ли кто. Шатилов ответил: нет. Я расписалась в книге, позвонила в комитет и ушла.

— А он запер за вами дверь?

— Да, хорошо помню, как щелкнули оба крючка и замок. Я еще с крыльца не успела спуститься.

— Никого не видели у тира или в парке?

— Нет. Мне даже немножко не по себе стало: так было тихо и пустынно. Вышла из парка и бегом к трамваю.

— В трамвае никого из знакомых не видели?

— Вагон был почти пустой. Правда, на переднем сиденье полулежал какой-то пьяный. Водитель, подъезжая к вокзалу, увидел милицейскую машину, остановился. Милиционеры тут же забрали пьяного. А я приехала домой и легла спать.

— А при каких обстоятельствах вы видели Шатилова в третий раз?

— Мне нужно было выходить к двум. Но я вспомнила, что утром в тир придет группа ребят из десятой школы записываться в кружок. Встала в семь часов, быстро оделась и приехала к парку. Вход в тир был не заперт, дверь в служебное помещение — настежь. Смотрю, Шатилов стоит подле нее и держится за косяк. Лицо и руки в крови. В этот момент подоспел инструктор, Сафронов Николай Николаевич. Мы вместе подошли к Шатилову: что произошло? Он, не отвечая, стал валиться набок. Мы подхватили его и посадили на стул. Сидеть он не мог, пришлось поддерживать. Пришел начальник клуба и сразу стал звонить в «Скорую помощь» и в милицию. Вскоре приехали работники милиции, а затем и «Скорая»... И только тогда я увидела в тренерской комнате на полу лужу крови, а рядом — большой камень.

— Анна Павловна, а почему дверь оказалась не запертой, когда вы пришли?

— Да кто ж его знает? Но мне кажется, что Шатилов сам открыл, потому что было утро. Начиная с половины восьмого в тир уже приходят тренеры.

Ветров задал еще пару вопросов, но ничего существенного выяснить не мог.

— Владимир Николаевич,— обратился он к Савичу,— ты продолжай, а я пока коечто уточню. Увидимся позже.

Ветров вышел в другой кабинет, позвонил начальнику отдела кадров Республиканского комитета ДОСААФ и попросил рассказать о Данилюке.

Через несколько минут он вручил молодому сотруднику уголовного розыска Майскому листок с именем-отчеством и адресом Данилюка.

— Осторожно, не привлекая внимания, проверь этого гражданина. Поинтересуйся, что это за человек, как характеризуется, с кем дружит. Постарайся выяснить, что он делал 27 июля в парке. Его видели там около девяти вечера.— Другому сотруднику он поручил проверить, забирали ли работники милиции около часу ночи на привокзальной площади из трамвая пьяного мужчину.

Предупредив дежурного, что скоро вернется, Ветров вышел из управления. Он хотел в оставшееся до вечера время побеседовать с работниками тира. Прошло несколько дней после преступления, а надежной версии еще нет. Ниточек, за которые можно тянуть, несколько, а конкретных фактов кот наплакал. Между тем, надо было спешить: в руках преступников оказалось большое количество оружия и боеприпасов.

...Ровно в девятнадцать собрались в кабинете начальника управления. Каждый участник оперативной группы докладывал о проделанном. Проверено большое количество лиц, которые могли совершить преступление, прочесывались расположенные вблизи города лесные массивы — на случай, если бы преступники решили опробовать оружие. Генерал слушал молча, делал пометки в записной книжке. Лишь перебил сотрудника, предположившего, что преступники скорее всего «залетные»:

— Рано, рано вы приходите к такому выводу.

Генерал был самым молодым из начальников управлений внутренних дел республики. Среднего роста, ладно скроен, по-мужски хорош собой. Даже ранние залысины были ему к лицу. Он как бы рассуждал вслух:

— Давайте прикинем, что у нас есть в подтверждение того, что преступники приезжие? Только одно: хищение оружия из тира у нас за многие годы совершено впервые. Ну, а если посмотреть на аналогичные преступления по стране? Их тоже мало, и там, где они совершались, почерк был другим. А что говорит в пользу того, что преступники проживают в городе? Во-первых, они изучили порядок работы тира и несения службы охранниками. В этой связи нельзя отбрасывать и версию, что к преступлению причастен кто-либо из работников тира. Взять хотя бы Данилюка. Мы знаем, что он, будучи несовершеннолетним, судился за кражу из магазина. Я не хочу сказать, что Данилюк непременно причастен к этому нападению, но его надо проверить. Во-вторых, вы, товарищи, почему-то не обратили внимания на два странных обстоятельства. Неделю назад неизвестные напали на сторожа магазина и похитили коньяк и кофе. Сторожа они оглушили камнем, а замки взломали скорее всего «фомкой» или монтировкой. Охранника тира преступники тоже ударили камнем, а шкафы с оружием вскрывали тоже специальным приспособлением. — Генерал взглянул на Ветрова и продолжал: — Мне кажется убедительным предположение товарища Ветрова. Он подробно побеседовал со всеми работниками тира и сделал вывод, что нападение совер-

шено не ночью, а утром, когда Шатилов уже чувствовал себя в безопасности. Кстати, нападение на сторожа магазина тоже было совершено утром. Необходимо дать экспертам задание выяснить, не одним ли и тем же предметом взламывались запоры магазина и тира. То же самое надо сделать с отпечатками следов, обнаруженных на земле у тира и у магазина.

То, что между убитым преступником и кражей оружия есть связь, сомнений ни у кого не вызывает. Предлагаю проверку этой версии, а заодно и выяснение причин убийства неизвестного в парке поручить Ветрову. В помощь ему необходимо выделить не менее двух оперативных работников. Нельзя исключать, что преступники могут воспользоваться оружием, чтобы добыть деньги или ценности. Поэтому подумайте об усилении охраны банков, сберегательных касс. Надо тщательно проинструктировать всех инкассаторов, работников торговли и кассиров предприятий и организаций.

Генерал помолчал немного, затем, обращаясь к Ветрову, спросил:

— Фамилии погибших не установили?

— Нет, товарищ генерал. Я перед совещанием звонил в дактокартотеку, говорят, завтра или даже послезавтра дадут ответ.

Генерал повернулся к Севидову:

— А по нашей картотеке под кличками «Шкет» и «Глухой» никто не значится?

— Нет, Виктор Алексеевич. Мы сегодня разослали запросы по местам лишения свободы. Из слов, которые слышал старшина Марков, со всей очевидностью следует, что «Глухой» где-то отбывает срок наказания.

— Ну, а что с пьяным в трамвае?

Ветров доложил:

— Экипаж патрульной автомашины Октябрьского отдела взял его и доставил в вытрезвитель. По словам водителя трамвая, бедняга заканчивал уже третий круг. Что касается Коротковой, то я уверен, что она говорила правду.

Данилюк отпадает

ДВЕРЬ ОТКРЫЛ ВЫСОКИЙ, угловатый парень. Слегка прихрамывая, провел в комнату и, узнав, что имеет дело с работниками уголовного розыска, суетливо предложил сесть.

Это был Данилюк. Он жил вместе с родителями, но теперь их дома не было. «Это, пожалуй, к лучшему»,— подумал Ветров и спросил:

— Скажите, Виктор Адамович, вы давно работаете в тире?

— Два с половиной года. Сразу после освобождения и устроился туда.

— А за что судились?

Ветров знал, за что был судим Данилюк, хотелось лишь убедиться, насколько он искренен.

Данилюк помрачнел, но рассказал все без утайки. Затем, не ожидая следующего вопроса, с обидой сказал:

— Вы решили, раз человек судим, значит, тир — дело его рук. Напрасно. Мне хватило одного срока. Помнить буду всю жизнь...

— Зря обижаетесь,— перебил Ветров.— Мы со всеми, кто работает в тире, беседуем. Это, во-первых. Стараемся отбросить сомнения в отношении людей, не причастных к преступлению. А во-вторых, к вам у нас имеется несколько вопросов. Что вы делали вечером двадцать седьмого июля?

— Двадцать седьмого? — задумался Данилюк.— Это в тот самый вечер?.. Был в кино. В «Летнем».

— С кем?

— Со своей девушкой, Клашей Семеновой.

— А что смотрели?

— «Фанфан-Тюльпан». Сеанс начался в девять тридцать.

— А где вы встретились с Клашей?

— В парке. Я ее ожидал недалеко от тира, там рядом вход имеется. Она приехала трамваем, и мы пошли к кинотеатру.

Увидев, что Майский делает в блокноте какие-то пометки, Данилюк улыбнулся:

— Это легко проверить. Когда мы выходили после сеанса из зала, я увидел на полу кошелек. Отдали его администратору. Она при нас пересчитала деньги — там было сто сорок рублей — и записала мою и Клашину фамилии. После я проводил Клашу домой. Пешком дошли до площади, затем сели в трамвай и доехали до улицы Калинина. Постояли у ее дома минут тридцать. Потом я остановил такси и поехал домой.

— А кто из домашних слышал, как вы пришли?

— Было уже около половины второго, но родители еще не спали. Они собирались утром уезжать в Смоленск. Там неожиданно умер мой дядя — брат отца. Телеграмма

пришла вечером. Вот родители и собирались на похороны. Утром встали в шесть. Я проводил их на поезд, он отправлялся в 7 часов 30 минут, и сразу же поехал на работу. Прихожу, а в тире народу полно, милиция.

Данилюк замолчал. Опустив глаза на руки, лежавшие на коленях, он ожидал следующего вопроса.

Ветров почему-то сразу поверил ему. Дотронувшись до руки Данилюка, он спросил:

— Виктор, а вам не знакомы люди по кличкам Шкет и Глухой?

— Нет, не слыхал таких кличек.

— Скажите, а лично у вас нет никаких предположений? Кто мог напасть на сторожа и выкрасть оружие?

— Я уже об этом думал. В одном твердо уверен: пистолеты им понадобились не для того, чтобы по воробьям стрелять. А кто это мог сделать, ума не приложу. Думается, тут не обошлось без работников тира или постоянных посетителей.

— Может быть, в клубе появлялись подозрительные лица?

— Нет, я никого не замечал.

На улице Ветров попросил Майского проверить показания Данилюка, а сам поехал в управление.

„Крот“ и „Шкет“

«...Таким образом, прихожу к выводу, что при попытке скрыться был убит гр-н Хоревич Валерий Иванович, по кличке «Крот», чья дактокарта хранится в дактокартотеке ранее судимых лиц. Дактокарты неизвестного гражданина, труп которого обнаружен в парке им. Горького, в картотеке МВД не имеется».

(Из заключения эксперта Оперативно-технического управления).

ВЕТРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ доложил генералу, что фамилия человека, которого застрелил старшина Марков, установлена. Генерал выслушал и попросил приехать к нему. Когда Ветров вошел, он отложил в сторону бумаги и стал просматривать материалы экспертизы. «Похоже, ночь не спал, а может, опять сердце пошаливает»,— глядя на покрасневшие, подпухшие глаза начальника управления, подумал Игорь Николаевич.

Генерал работал много, изо дня в день недосыпал, и это сказывалось на его здоровье. «Что ни говори,— думал Ветров,— руководить большим аппаратом милиции, да еще в таком городе, как наш, сложно. Ошибись кто-либо из сотрудников — сразу же неприятности. Все на виду...»

Недавно в управление был доставлен мужчина, на которого «очевидцы» указали как якобы на участника драки. Потом выяснилось, что этот гражданин к происшествию не причастен. Дежурный извинился перед ним и отпустил. Но тот принялся жаловаться во все инстанции. Пошли звонки, требования наказать виновного. Генерал строго отчитал сотрудника, допустившего ошибку, но в обиду его не дал.

Ветров задумался и не заметил, как генерал, закончив чтение, встал из-за стола.

— Значит, один из них Хоревич, трижды судимый, освободился месяц назад. Интересно, что его привело в Минск? Он ведь не здешний?

— Нет, он коренной житель Витебска. Там же и судили....

— А «Шкет» еще не установлен?

— Пока нет, товарищ генерал. За сутки поступило семь заявлений о пропаже мужчин. Но... все нашлись.

— А как в других областях, особенно в Витебске?

— Ничего для нас интересного.

— Что вы намерены делать дальше?

— Считаю, что для ускорения дела надо ехать искать Глухого. Возможно, удастся выяснить цель приезда Хоревича.

Генерал прошелся по кабинету.

— Перед вашим приходом мне звонил Севидов. Эксперты дают заключение, что следы, обнаруженные у магазина, где была совершена кража коньяка, и у тира, оставлены одним и тем же человеком, а взломы в обоих случаях совершены с помощью одного и того же металлического предмета. Скорее всего, «фомкой». Это тоже нужно иметь в виду... Кто поедет с вами?

— Следователь Савич, он уже договорился у себя.

— Не возражаю. Сегодня и поезжайте.

В колонии Ветрова и Савича встретил высокий худощавый майор.

— Начальник оперативной части Смоляк,— представился он.

Ветров коротко сообщил о цели визита. Стоило ему назвать кличку, как Смоляк тут же сказал:

— «Глухой»? Ага, это о нем запрос был. Есть у нас такой. Васеев Вячеслав Кириллович, 1943 года рождения, ранее трижды судимый. Сейчас отбывает срок за кражу из магазина ювелирных изделий. У него есть еще одна кличка — «Пловец».

— А за что его прозвали «Глухим»? — спросил Савич.

— Точно не знаю. Но здесь, в колонии, рассказывают, что однажды ночью, когда Васеев вместе с группой преступников совершал первую кражу, между прочим, тоже из магазина, его поставили на «шухере», а он не услышал, как подошел наряд милиции, и его, а затем и дружков, которые уже хозяйничали в магазине, задержали...— Смоляк подошел к сейфу, взял объемистую папку.— Вот его личное дело. Можете ознакомиться.

Ветров раскрыл папку. С большой фотографии на него смотрел небритый, с худым, вытянутым лицом мужчина.

— Что ж, познакомимся,— улыбнулся Ветров и принялся листать страницу за страницей.

С детства был парень как парень, разве что без определенных интересов. Одно время увлекся спортом, начал заниматься плаванием, но вскоре бросил. «Может быть, поэтому и «Пловцом» окрестили»,— подумал Ветров. Потом сошелся с двумя такими же, как и он, «трудными» подростками. Дело кончилось тем, что Васеев за хулиганство был направлен в колонию для несовершеннолетних. Затем, будучи уже взрослым, совершил кражу. Отбыл срок наказания и вскоре снова оказался на скамье подсудимых.

Ветрова интересовал последний приговор. Васеева судили за кражу из ювелирного магазина. Но из похищенного у него изъята самая малость. На вопрос, где находятся остальные ценности, и во время следствия, и на суде отвечал, что их у него похитил случайный знакомый, фамилии которого он не знает. На это обстоятельство Ветров и Савич обратили особое внимание.

— Похоже, «Шкет» и есть тот человек, который прятал вещи и ценности,— сказал Савич.

Ветров улыбнулся:

— Знаешь, давай попытаемся выяснить это у Васеева.

— Каким образом?

— Не будем от него скрывать, что «Шкет» убит, а вот насчет Хоревича — молчок. Сделаем вид, что нам все известно.

Минут через десять они увидели Васеева. Тот вошел в кабинет и остановился недалеко от двери:

— Здравствуйте. Заключенный Васеев явился.

— Садитесь, Васеев. Мы приехали побеседовать по делу, к которому вы имеете отношение.

Васеев ухмыльнулся и ехидно сказал:

— По делу, к которому имею отношение, я уже нахожусь здесь.

— Так-то оно так, но, оказывается, некоторые вопросы еще требуют пояснений. Чтобы не терять времени и не играть в прятки, мы скажем о сути дела. Недавно «Крот»,— Ветров показал Васееву фото Хоревича,— убил «Шкета».

Лицо Васеева залила бледность. Ветров и Савич понимали, что сейчас важно воспользоваться тем, что фамилия «Крота» известна, и так сыграть на кличке «Шкет», чтобы Васеев назвал его фамилию.

— Нам нужно вас допросить,— включился в разговор Савич и, положив перед собой бланк протокола, начал задавать вопросы, касающиеся биографии Васеева. Затем перевернул лист и спокойно, даже буднично предложил:— А теперь, Васеев, расскажите, где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с этими людьми?

Савич вел себя так, будто ему все ясно, и показания Васеева нужны только для формы.

Васеев лихорадочно думал. Они действительно вместе со «Шкетом» обокрали ювелирный магазин. Взяли много и удачно скрылись. Выжидали целый месяц, а затем приступили к реализации добычи. С десятком золотых часов направились по скупочным магазинам. Действовали осмотрительно: с парой-другой часов Васеев входил в помещение, а «Шкет» с остальными дожидался на улице.

В одном из магазинов Васеев предложил приемщику две пары часов: о цене, мол, договоримся. Приемщик вертел часы в руках, торговался. И в этот момент за спиной у Васеева, словно из-под земли, выросли оперативники. Когда выводили из магазина, увидел, что «Шкет» наблюдает из-за угла.

Осудили на двенадцать лет. Срок большой, и Васеева беспокоило, сумеет ли «Шкет» сохранить ценности. Поэтому, когда освобождался из колонии старый знакомый, Васеев попросил его зайти к «Шкету» и передать, чтобы тот прислал посылку. Каково же было его удивление, когда порученец сообщил, что «Шкет», сделав вид, будто и не знает Васеева, даже не захотел взять записку. Последующие попытки наладить связь оказались безрезультатными. Значит, «Шкет» прибрал к рукам все ценности и делиться не желает.

В колонии Васеев подружился с Хоревичем и рассказал ему о своих тревогах. Хоревич, когда освобождался, пообещал отыскать и хорошенько прижать «Шкета». Васеев знал, насколько горяч был Хоревич, и поэтому не удивился, услыхав об убийстве. Его сейчас интересовало одно: что сказал «Шкет»? «Впрочем, он уже мертв, а это значит, что ценности потеряны. Жалеть его нечего, раз он так обошелся со мной. Для меня, пожалуй, будет выгодно, если милиция найдет ценности: уменьшится иск, и можно немножко подзаработать денег. Ну, а что Хоревич пошел на мокруху, моей вины нет. Я его не толкал...»

Его размышления прервал Савич:

— Итак, Васеев, начнем?

— Да, я расскажу все, что знаю...

После допроса Васеева отпустили в зону. Савич отложил ручку в сторону и повернулся к Ветрову:

— Похоже, правду сказал. Главная цель нашей поездки достигнута: мы узнали фамилию «Шкета».

— Нужно попытаться выяснить, у кого мог остановиться в городе Хоревич. Кажется, Васеев действительно не знает, кто мог его приютить. Сам он в нашем городе не бывал, друзей там у него, если верить Васееву, нет.

— Может, у «Шкета» остановился?

— Вообще-то, мог. Но, пожалуй, тот принимать человека, которого прислал Васеев, не стал бы...

— Скажите,— обратился Ветров к вошедшему Смоляку,— а мы можем установить всех жителей города, которые освободились за время, пока Хоревич находился в колонии?

— Конечно... Но что это даст?

— Как знать. Мы, естественно, родственников, гостиницы проверим. Но Хоревич мог, находясь в колонии, познакомиться с кем-либо из наших сограждан и остановиться у него.

— Хорошо, список мы подготовим. Какие еще будут просьбы?

— Спасибо, пока все.

Удача Майского

У ХОРЕВИЧА родственников в городе не оказалось. Проверили все городские гостиницы — тоже тщетно. Началось изучение лиц, отсидевших в лагере. Их набралось девятнадцать человек. Это дело было поручено Майскому и еще двоим молодым работникам — Осипову и Лепешко.

Ветрову предстояло выяснить, что из себя представлял Олег Воронов, по кличке «Шкет».

Данные на Воронова были собраны часа за два. Олегу недавно исполнилось двадцать лет. Был единственным ребенком в семье, жил недалеко от парка имени Горького. Отец работал заведующим одной из баз, мать — бухгалтером на заводе. Олег с грехом пополам закончил школу, каким-то образом поступил в институт. Но учиться не хотел, и со второго курса его отчислили.

О том, что Олег убит, родители еще не знали и никаких признаков волнения по поводу его трехдневного отсутствия не проявляли. Видимо, такие отлучки были не в новинку. Встречу с родителями Олега Ветров запланировал на вечер.

В кабинет буквально влетел Майский.

— Вот,— выпалил он, кладя на стол серьги и часы.

Два часа назад Ветров направил его к Наташе Еремке, с которой, как было установлено, дружил Воронов.

— Наташа учится на втором курсе университета,— переводя дух и присев на краешек стула, начал рассказывать Майский.— Приехал я к ней домой — она сидит на крыльце и читает. Познакомились, разговорились. Спрашиваю, знает ли Воронова, а она в ответ: «Знала, но больше знать его не хочу!» Отчего же, спрашиваю, он в такую немилость попал? Говорит, грубиян он и хам. Пусть научится вести себя. Оказывается, они дружили давно, но в последнее время Олег здорово изменился. Почти ежедневно пьян, при встречах врет. Я, как бы между прочим, спросил: «Наташа, а он вам ничего не дарил?» — «Почему не дарил? Дарил,— говорит,— сейчас покажу». Вошли мы в дом, заглянула она в ящик тумбочки и достает вот эти серьги и часы. Ну, я пригласил понятых, составил протокол, затем попросил Наташу поехать со мной сюда. Ожидает в коридоре...

— Приглашай ее, а я позову Савича,— тут же потянулся Ветров к телефону.

В кабинет настороженно вошла девушка лет двадцати с небольшим и почти следом за нею — Савич.

Савич, ознакомившись с протоколом, составленным Майским, спросил:

— Не обиделись на нас за бесцеремонность?

— Нет, что вы, надо так надо.

— Скажите, Наталья Ивановна, когда вы в последний раз видели Олега?

— Да месяца полтора тому. Заявился совсем пьяный, еле на ногах стоял. Приглашал погулять. Но я так его отчитала, что больше не появляется.

— А при каких обстоятельствах он подарил вам эти серьги и часы?

— Дело было еще зимой. У меня 14 февраля день рождения. Я пригласила друзей, пришел и Алик. Тогда он и преподнес мне все это... Увидела я серьги и часы, спрашиваю, где он их взял. Алик ответил, что у него этого добра навалом. А меня подарок очень смутил и даже напугал. Во-первых, такая уйма денег, а во-вторых,— это я потом заметила — и то и другое без упаковки. В общем, я взяла серьги и часы да пошла к его родителям. И возвратила подарок. Мать его, помню, разволновалась. Но через день приходит Алик. Стал мне объяснять, что купил часы и серьги на деньги, которые ему тайком от матери дал отец. Бывало у них такое. А насчет того, что у него эти часы и серьги не последние, он, мол, пошутил. Словом, взяла я их, но избавиться от какого-то неприятного ощущения не могла. Так и валялись в тумбочке...

— А других ценностей или, скажем, оружия вы у него не видели?

После долгого раздумья девушка ответила:

— Нет, не припомню.

— С кем он дружил?

— Ко мне приходил один. Видела его в компании с Василием Баскиным, Виктором Дрейчуком. Еще с Колей Тищенко...

Наташа своей откровенностью вызвала доверие, и Савич с надеждой спросил:

— Скажите, Наталья Ивановна, а имя Васеева Вячеслава вам не знакомо?

Девушка опять задумалась. Ветров пришел ей на помощь:

— У него еще клички «Глухой», «Пловец».

— Высокий такой, худой? Как же, помню. С такой противной, язвительной ухмылочкой...

— Часто они встречались?

— Этого Славку видела я, может быть, раз пять. Алик, как познакомился с ним, с того и начал пить.

— А где сейчас этот Славка, не знаете?

— Что-то давно его не видно. Больше года. Да, Алик мне как-то говорил, что он уехал отсюда насовсем.

— Может, знаете и Хоревича Валерия?

— Нет, о таком не слыхала.

Савич начал записывать показания, а Ветров отправился к родителям Воронова. Он знал, что разговор будет нелегкий, но откладывать его было нельзя. К тому же генерал поручил эту миссию лично ему, Ветрову.

Савич на время расследования дела переселился в здание Управления внутренних дел. Ему отвели отдельный кабинет, и он почти не выходил оттуда: допросить предстояло много людей. И когда часа через два к нему снова заглянул Ветров, он разговаривал уже с четвертым свидетелем, одним из работников тира. Прервав допрос, он попросил свидетеля подождать несколько минут в коридоре.

— Ну, как?

— И не спрашивай! Сейчас там такое творится! Дай, пожалуйста, разрешение на выдачу трупа из морга. Шофер отвезет...

Пока Савич оформлял нужные документы, Ветров задумчиво глядел в окно. Потом заговорил:

— Где-то я читал, что рождение — это случайность, а смерть — жестокая закономерность. Вот она, в действии. Причем эта закономерность срабатывает неожиданно, как рок. Вот и Воронов... Мог же парень жить да жить. Родители, видать, все делали, чтобы он учился, ни в чем не знал нужды. Жаль только, к труду не приучили. В этом их просчет и их вина. К сожалению, отец и мать и сейчас этого не поняли. Ты бы знал, сколько упреков в наш адрес от них я выслушал! Живет там с ними какой-то родственничек, вроде по аптечной части, так он грозился до министра дойти. И все равно жаль парня, да и родителей его. Ну ладно, работай, а я доложу генералу.

Цыган

Майский с лейтенантом Осиповым целый день метались по городу в поисках людей, которые вышли из колонии во время пребывания там Хоревича. Безрезультатно. Уже вечером позвонили по одному из последних адресов. Открыла молодая женщина.

— Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здесь живет Лапко Сергей Федорович?

— Да, здесь, а что вам угодно?

— Мы из милиции. Разрешите войти.— Майский протянул хозяйке служебное удостоверение.

Женщина отступила от двери, суетливо предложила:
— Да, пожалуйста. А что случилось?
— Ничего особенного, у нас только один вопрос: не приходил ли к вашему мужу кто-либо из знакомых по колонии?
Майский ожидал привычного «нет», и с его губ уже готово было сорваться «извините, до свидания». Но женщина сказала:
— Да, останавливался один недавно. Хоревич. Да вот куда-то запропал. Переночевал три ночи, а затем как в воду канул. Я уже мужу предлагала, чтобы он в милицию сообщил, человек ведь приезжий, впервые в этом городе. Все что угодно может случиться. Вижу, права была.
— А где сейчас муж?
— В магазин пошел, скоро будет.
Майский и Осипов прошли в небольшую комнату, присели на предложенные хозяйкой стулья. Ждать долго не пришлось. Лапко своим ключом открыл дверь, разделся в прихожей. Вошел — и удивленно уставился на незнакомых.
— Сережа, это товарищи из милиции. Хоревичем интересуются.
— А что, успел что-либо натворить? То-то четвертый день носа не кажет...
Майский прервал его:
— Сергей Федорович, откуда вы знаете Хоревича?
— По колонии... Я ведь судим был.
— За что?
— По глупости. В ресторане пьяным полез правоту доказывать. Ну, в общем, драка вышла. Два года дали на размышление. С Хоревичем я особой дружбы не водил, но когда он появился и попросил разрешения пожить неделю, не отказал. Отвели ему вторую комнату...
— С какой целью он приехал?
— Говорил, хочет одного человека найти. А если откровенно, мне с ним по-настоящему и поговорить не пришлось. Уходишь на работу — он спит, приходишь — его еще нет.
— С кем он здесь встречался?
— Не знаю.
— И никто его не спрашивал? Не заходил?
— Нет... Впрочем, приходил какой-то цыган. Я тогда дома один был. Спросил Хоревича. Я ответил, что его нет. Он извинился и ушел.
Хозяйка, до этого не вступавшая в разговор, встрепенулась:
— Цыган, говоришь? С усиками?
— Да, с усиками.— Лапко удивленно посмотрел на жену,— Ты что, его тоже видела?
— Да, шла однажды домой, смотрю, к углу нашего дома такси подошло. За рулем цыган сидит. А рядом с ним — Хоревич. На меня они внимания не обратили, о чем-то оживленно разговаривали. Хоревич минут через тридцать пришел.
— У вас какие-нибудь его вещи остались? — спросил Осипов.
— Да, он с чемоданом приехал,— ответила женщина и пригласила всех во вторую комнату. Чемодан лежал на полу у кровати. Он был на замке.
— Дайте, пожалуйста, шило или гвоздик.
Кроме двух рубашек, белья, электробритвы, в чемодане обнаружили две пачки мелкокалиберных патронов.

Девушка была опечалена. Она стояла у окна диспетчера и рассказывала:
— Я достала кошелек, а сумочку положила на сиденье. Рассчиталась и вышла. Когда машина ушла, вспомнила — сумочка...
Диспетчер — круглолицая черноволосая женщина — спросила:
— Номер машины не запомнили?
— Нет. Водитель такой худощавый, с усиками, глаза черные. На цыгана похож.
Диспетчер задумалась.
— Цыган у нас двое. Один в отпуске, выйдет дня через три-четыре. Второй — Стасевский Петр Станиславович. Сегодня он в первую смену, минут через сорок будет здесь.
Девушка поблагодарила диспетчера и вышла на улицу дожидаться Стасевского.

Немного погодя Майский вместе с Лапко и его женой тоже стояли у выхода из таксомоторного парка и ждали Стасевского. Тот уже закончил работу и вот-вот должен появиться на проходной.
Смуглый, с усиками мужчина направился к трамвайной остановке.
Лапко и его жена почти в один голос воскликнули:
— Он!

Обыск в два приема

«Принимая во внимание, что в квартире гражданина Воронова могут находиться вещи и предметы, имеющие значение по делу, на основании статьи 167 УПК БССР постановил: произвести в квартире Воронова Олега Семеновича обыск.

Следователь прокуратуры Савич».

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНЯТЬ решение об обыске в квартире Воронова, руководство управления и Савич думали долго. С одной стороны, делать обыск в доме человека, который недавно погиб, вроде бы и нетактично, но с другой — тщательный осмотр квартиры и вещей мог многое дать следствию.

На обыск вместе с Савичем поехал лейтенант Лепешко. Дверь открыл отец Олега, из-за его спины выглядывала мать. Савич поздоровался, попросил разрешения войти. Супруги молча посторонились. В квартире было тихо, все напоминало о недавней трагедии. Из дальней комнаты вышел пожилой мужчина, и Савич сразу же вспомнил рассказ Ветрова о родственнике «по аптечной части».

— Мы понимаем, что вам не до нас. Но обстановка требует быстрых мер. До сего времени неизвестны мотивы убийства. Возникла необходимость у вас дома поискать ответы на некоторые вопросы. В связи с этим мы бы хотели вместе с вами осмотреть комнату, в которой жил Олег.

Родственник, до этого стоявший у проема двери, быстро подошел к хозяину:

— Слышишь, Семен, они хотят ответ на вопрос, кто убийца, и причину убийства искать здесь, в твоей квартире! — Затем он повернулся к Савичу:— Я отвечу на ваши вопросы. Вы посмотрите, по улицам днем честному человеку пройти невозможно.

— Это вам, что ли? — спросил Савич.

— Нет, ко мне еще не приставали, но к людям... С Олегом так и случилось. Средь бела дня напали, забрали часы, убили. А милиция и прокуратура в шапку спят да еще претензии к потерпевшим предъявляют!

Савич понимал, что вступать в спор бессмысленно, и кивнул Лепешко. Тот молча вышел и через несколько минут возвратился в сопровождении милиционера и двоих понятых...

Нашли под матрацем часы Олега, на отсутствие которых намекал родственник. Но больше — ничего....

Ветров возвратился из больницы в унынии: Шатилов по-прежнему был без сознания, и надежды на то, что он вообще сможет дать показания, почти не было: тяжелейшая черепная травма.

Позвонил начальник управления: «Зайди, дело есть». В кабинете сидели родители Воронова и уже знакомый майору их родственник. Они пришли с жалобой: по какому праву у них был произведен обыск? Говорил отец:

— Олег был замечательный парень, ни с кем из швали не знался. И не надо искать разгадку злодейского убийства среди его друзей и близких.

Ветров не раз удивлялся выдержке генерала. Сидит со спокойным лицом и внимательно слушает.

— Никогда голоса на нас не повысил. А какой скромный был. Мы как-то хотели ему тахту купить вместо старой металлической кровати, но он отказался, пожалел наших денег.

— Простите, когда это было? — поинтересовался генерал.

— Да месяца два назад.

— Скажите, товарищ Воронов, а почему ваш сын не работал?

— Мы с женой решили дать ему летом отдохнуть. Сами получаем достаточно...

— А почему он институт бросил?

Все трое молчали.

— Вот видите, товарищи, а вы возмущаетесь. Дело в том, что нам больше, чем вам, известно об Олеге. Для нас даже незначительная деталь может оказаться золотым ключиком. Вы говорили, что Олега ограбили — забрали у него часы, а обыск позволил нам найти часы и отбросить этот домысел. Так что не надо обижаться и мешать нам исполнять свой долг...

Вороновы ушли. Проводив их, генерал хитро улыбаясь, остановился напротив Ветрова:

— Заметил, кровать не захотел менять?

— Вы думаете, товарищ генерал...

— А чем не шутит Его Величество Случай! Давай-ка бери машину и приглашай Савича...

Ветров, казалось, не слышал раздраженного ворчания хозяина квартиры, которого Савич безуспешно пытался успокоить. Майор, как заправский слесарь, орудовал гаеч-

ным ключом — разбирал металлическую кровать, на которой прежде спал Олег. Вот он снял верхнюю, никелированную часть и, перевернув спинку, постучал ею об пол. Из ножек посыпались бумажные свертки. Савич поднял несколько из них, развернул. На ладони у него ярко заблестели серьги и дамские золотые часики.

В комнате воцарилась гробовая тишина.

Встреча в парке

«...На основании изложенного прихожу к выводу: взлом запоров на дверях магазина № 237 и запоров шкафов-хранилищ оружия в тире произведен одним и тем же металлическим предметом...»

(Из заключения трассологической экспертизы).

НА ОЧЕРЕДНОМ СОВЕЩАНИИ у начальника УВД докладывал его заместитель Матвеев.

— То обстоятельство, что мы нашли в квартире Воронова похищенные золотые изделия, не продвинуло нас вперед. Обрывается и версия, что к преступлению мог быть причастен тот, у кого остановился Хоревич. Ничего не дала и проверка друзей Воронова: ни Баскин, ни Дрейчук, ни Тищенко, без сомнения, знать ничего не знают. Остается одна ниточка — таксист Стасевский. Он был знаком с Хоревичем. Предлагаю на этой версии сконцентрировать основное внимание.

В кабинете наступила тишина. Генерал не спешил — давал сотрудникам время подумать. Наконец отыскал глазами начальника уголовного розыска Севидова:

— Ваше мнение?

Севидов встал.

— Я, товарищ генерал, думаю, что нам нужно установить, куда Воронов спрятал остальные ценности. Тысяч на пятнадцать мы так и не нашли. Дома у Воронова изъяли все. Значит, были у него неизвестные пока нам связи.

Генерал кивнул:

— Да, вы правы. Надо искать ценности, а стало быть, и тех, в чьи руки они попали. Воронов был на виду у многих, и кропотливый опрос может дать положительные результаты.

Подросток лет пятнадцати вышел из кинотеатра задолго до конца сеанса. Сильно шатаясь, побрел к стоявшей у кустов скамейки. Его тут же стошнило.

Старшина Марков включил радиостанцию и попросил дежурного по отделу направить к кинотеатру «Скорую помощь». Парню было совсем плохо.

Старшина подошел к лежащему:

— Что, брат, перепил? Разве можно так? В твои годы молоко пить надо.

«Скорая» неслась по безлюдной аллее. Марков несколько раз мигнул карманным фонариком, и она остановилась. Врач — средних лет мужчина — и молоденькая медсестра склонились над подростком. Пока делали укол, шофер достал из машины носилки. Врач и Марков положили на них парнишку, и машина увезла его из парка.

— И какой это сукин сын споил мальца?

Марков прошел по самым темным и глухим местам парка и возвратился к кинотеатру. Сеанс закончился, люди выходили из зрительного зала, растекались в разные стороны. Торопились и работники кинотеатра: это был последний сеанс.

Вдруг Маркова позвали — голос шел из дальней, еще не закрытой двери. Старшина вошел в зал. Администратор кинотеатра Ольга Степановна указала пальцем в дальний угол: там на полу лежал паренек — ровесник того, что увезла «Скорая». Старшина дотронулся рукой до его плеча:

— Проснись, приехали!

Паренек вздрогнул, поднял голову. Увидев милиционера, тяжело поднялся:

— Извините, уснул.

От него разило спиртным.

— Где это ты выпил?

— Да... с другом.

Старшина вызвал патрульную автомашину, а сам достал записную книжку:

— Фамилия?

— Ростик Петр.

— Как фамилия друга?

— Кранов Николай. Мы вместе с ним в кино пришли. А где он сейчас, не знаю...

— Что пили?

— Коньяк. Сначала одну бутылку, потом вторую. У Николая дома целый ящик.

С подошедшей машиной приехал сержант Кривец. Марков, поддерживая сильно шатавшегося Ростика, вывел его из кинотеатра и передал наряду.

— Рапорт напишу, когда приду в отдел.

До конца дежурства оставалось три часа. Марков с Кривцом шли по парку. В темной аллее они нагнали едва тащившего ноги человека. Маркову он показался знакомым. Ага, в тот вечер, когда был убит Воронов, видел его в парке тоже пьяным.

— Что это вы, товарищ, зачастили насчет рюмки?

— Извиняюсь. Понимаете, с товарищами по случаю отпуска выпили...

— Вы мне такое объяснение еще на прошлой неделе давали. Мой вам совет: пока не поздно, одумайтесь, а то и до беды недалеко.

— Как не понимать, товарищ старшина.

— Давай доведем до дому, а то в историю какую-нибудь влипнет,— предложил Кривец.

Поддерживая мужчину под руки, довели до подъезда. В этот момент во двор въехала милицейская машина. Шофер открыл дверцу. Марков увидел уже знакомого Петра Ростика. Тот подскочил к мужчине:

— Папа? За что тебя?

— Вот это да! — развел руками Марков.— Выходит, друзья по несчастью. Идите оба домой, завтра разберемся.

В отделе Марков, сдав оружие дежурному, рассказывал о происшествии.

Дежурный, немолодой капитан, вспомнил:

— Кстати, Михаил Антонович, звонили из больницы. Сказали, что парень, которому ты «Скорую» вызывал, пришел в себя и домой просится. Может, по пути заберешь его? Он в твоем районе живет.

— Хорошо, заберу.

— Только не забудь на завтра его с родителями в детскую комнату пригласить.

В больнице Марков взял Николая Кранова, посадил в машину, и уже минут через пятнадцать оба входили в скупо освещенный двор. Молча подошли к двери квартиры, остановились. Парень медлил, надеясь, что милиционер уйдет. Но старшина должен был передать Николая родителям из рук в руки, и поэтому сам постучал. Вскоре в сенях послышались шаги и сонный голос:

— Кто там?

Ответил Николай:

— Папа, это я, открой.

Дверь открылась. Мужчина, увидев милиционера, забеспокоился:

— Что случилось?

— Ничего особенного. Сына вашего доставил, так что приглашайте в дом.

— Да-да, входите, пожалуйста,— суетливо предложил хозяин. Марков, подталкивая Николая, пошел следом. Они оказались в кухне. У двери, ведущей в спальню, застыл какой-то человек.

«Ишь ты, уже оделся,— старшину удивила напряженная поза мужчины.— Интересно, чего он так стоит, вроде бежать собрался?» — подумал Марков и, повернувшись к хозяину, сказал:

— Ваш сын ночью был задержан в сильной степени опьянения и доставлен в больницу. Видите, он еще по-настоящему не пришел в себя.

Отец подошел к сыну и дал ему подзатыльник:

— Ты где это так набрался, стервец?

— Дома, а где же еще. Почему не выпить, когда вон целый ящик коньяку в кладовке стоит. Решили с Петькой побаловаться, да не рассчитали.

Краем глаза Марков заметил, как забеспокоился отец. Не подавая вида, спросил у Николая:

— А чей это коньяк, что ты им, как собственным, распоряжаешься?

— Да вот батя принес.

Старшина сделал наивное лицо и повернулся к Кранову-старшему:

— А что это вы ящиками коньяк таскаете? Нарочно хотите сына на пьянство толкнуть?

Кранов побледнел:

— Да я... понимаете, мы... вот с братом,— он кивнул на стоявшего у двери мужчину,— купили. Скоро день рождения, хотели отметить.

Михаил Антонович видел: что-то здесь нечисто. Решил поделиться подозрениями с Ветровым и тут же переменил тему:

— Ну, это ваше дело. Только завтра вместе с сыном зайдите в детскую комнату. С ним там побеседуют.

Соседи знают все

Майскому не стоило труда собрать о цыгане интересующие уголовный розыск сведения. Особенно много он узнал со слов соседки Стасевского — Михеевой. В прошлом году какой-то молодой парень ходил по домам и предлагал зо-

лотые часы и серьги. Все отказывались, только со Стасевским он, видимо, нашел общий язык: стал часто появляться у него в доме.

Майский попросил Михееву поехать к следователю. Савич показал ей три фотографии: не узнает ли она кого-либо. Михеева без раздумий взяла снимок Воронова:

— Вот этот хлопец приходил ко мне и ко многим моим соседям. Предлагал часы и серьги. Говорил, золотые.

— Сколько раз он заходил к Стасевскому?

— Я не считала. Раз пять-шесть. Спелись, видно. А этому цыгану палец в рот не клади.

— Почему вы так думаете?

— Тертый он калач. Я-то вижу, не первый десяток на свете живу. Хорошего человека от дурного могу отличить. Заглянули бы к нему в дом. Как во дворце! Машину купил. Трое детей, а работает он один. Посудите сами, разве можно на одну зарплату так жить?

Савич вскоре кончил допрос и попрощался с Михеевой. Позвал Ветрова, дал прочесть показания.

— Судя по всему, Стасевский неплохо погрел руки,— сказал Ветров.— Займусь им сам.

С утра Ветров направился в ГАИ, чтобы выяснить, когда Стасевский приобрел «Волгу». Оказывается, как он и предполагал, после знакомства с Вороновым. Майор поехал в магазин. Директор магазина позвал бухгалтера:

— Вера Ивановна, дайте, пожалуйста, товарищу журнал учета очереди на автомобили «Волга» и найдите ему в бухгалтерии местечко. У меня здесь и минуты спокойно не посидишь.

Ветров быстро отыскал в журнале фамилию Стасевского. Так и есть: фамилия и адрес написаны поверх вытертого текста. Ветров подозвал бухгалтера:

— Вы не знаете, что за текст был здесь раньше?

— Нет, первый раз вижу. Может, изменился адрес?

— Тогда зачем же стирать фамилию?

— Да, вы правы.

— Вы ведете этот журнал?

— Да, но эту запись делала не я.

— А кто?

— Не знаю.

— Мне придется на время взять у вас журнал.

— Пожалуйста, если надо. Скажу только директору.

Еще одна встреча

Дежурить в милиции или патрулировать летним вечером да еще в воскресенье хлопотно. Люди возвращаются из-за города возбужденными — кто от свежего воздуха, солнца и воды, кто от спиртного. Последних нередко приходится призывать к порядку. Марков и Кривец задержали троих подвыпивших парней, грубо пристававших к пожилому мужчине. Кривец на патрульной машине повез хулиганов в отдел, а Марков медленно пошел по улице. За годы службы он познакомился со многими жителями района и теперь не успевал отвечать на приветственные слова и жесты.

Михаил Антонович свернул за угол и направился к кинотеатру «Мир», где они должны были встретиться с Кривцом. Навстречу шел Асаевич. К этому человеку старшина относился с недоверием. Асаевич был трижды судим. При встречах он вежливо здоровался, заверял, что с прошлым покончено, что он «завязал» раз и навсегда, но Марков каким-то особым чутьем улавливал в его словах фальшь.

— Здравия желаю, товарищ старшина. Что это вы сегодня один?

— Здравствуйте. Понадобится — буду не один. А вы опять выпили? Смотрите, Асаевич...

— Что вы, товарищ старшина! Это же я в честь воскресенья. В рабочие дни и в рот не беру.

Марков кивнул: «Ну-ну» — и пошел дальше, к кинотеатру, где его уже ожидал напарник. Темнело. Они решили осмотреть дворы близлежащих домов. Там иногда в кустарниках собираются выпивохи.

Навстречу шел участковый инспектор Лукашик. С ним — шестеро дружинников. Обменявшись со старшиной парой слов, Лукашик сказал:



— Мы тоже хотели прочесать эти дворы. Так что давайте разобьемся на группы.

Маркову и Кривцу не раз в этот вечер пришлось одергивать нарушителей, разнимать не в меру горячих. Только к полуночи стало спокойней. Город засыпал.

Неожиданно послышался их радиопозывной.

— «Юпитер»! «Юпитер»! Я сто сорок первый, слышу вас хорошо. Прием! — доложил старшина.

Дежурный по отделу приказал:

— Сто сорок первый, у входа в парк вас ждет патрульная машина. В магазин № 17, в квадрате 3, проник преступник. Совместно примите меры к задержанию. Сторож ждет у магазина. Как поняли? Прием!

— Понял вас, понял! — ответил Марков.

Бегом бросились к парковой арке. Вот и машина. Вскочили в нее. Вместе с шофером — четыре человека. Ехали минут пять.

Пожилая сторожиха прерывистым от волнения и страха голосом сообщила:

— Вор забрался. Когда я обходила магазин с тыльной стороны, в кабинете заведующего вдруг загорелся свет. Не было — и вдруг загорелся.

Марков расставил людей, а сам вместе со сторожихой подошел к магазину, обнесенному невысоким забором.

— Вот там, видите, свет,— кивком показала сторожиха.

Старшина бесшумно перелез через забор. Что происходило в кабинете — не видно. Пододвинул ящик из-под бутылок, встал на него и осторожно глянул поверх занавесок. В кресле заведующего, спиной к окну, сидел человек. Перед ним стояли две открытые бутылки — коньяк и шампанское. На глазах у Маркова преступник налил полстакана коньяка, выпил и прямо из горлышка запил шампанским. Затем, словно дразня старшину, взял в руки дрель, лежавшую на столе, подошел к сейфу и, не торопясь, вогнал сверло в дверцу.

Чтобы выяснить, сколько всего преступников в магазине, Марков продолжал наблюдение. К тому же нужно было дождаться, пока вторая машина привезет собакуищейку. Да и заведующий магазином, которому позвонила сторожиха, вот-вот должен подойти. В его присутствии брать вора будет сподручнее: покажет все ходы и выходы.

Дверные замки на месте, окна целы. Значит, вор забрался через приемное окно. Старшина осторожно спустился на землю, пошел вдоль стены. Так и есть: деревянная ставня взломана.

Подмога подоспела быстро, и Марков ввел приехавших в курс дела. Судя по всему, вор действует один. Чтобы кто-либо стоял на стрёме, тоже не видно. Посоветовавшись, решили заведующего не дожидаться. В магазин через взломанное окно лезут Марков, Кривец и проводник с собакой. Остальные окружат здание.

Так и сделали.

Марков, осторожно ступая, пошел к кабинету заведующего. Дверь приоткрыта, и хорошо слышно, как работает ручная дрель. Вор был настолько увлечен своим занятием, что даже не услышал шагов. Проводник молча отодвинул Маркова, отстегнул поводок, затем резко распахнул дверь:

— Фас!

Громадный пес одним прыжком достал преступника, сбил с ног, подмял под себя. Марков с товарищами вмиг надели на вора наручники. Помогли встать на ноги.

Старшина взглянул на задержанного и чуть не поперхнулся: перед ним стоял тот самый мужчина, которого он видел в квартире Кранова. Вор тоже узнал Маркова и криво усмехнулся:

— Привет, старшина. Меня, конечно, домой, как того пацана, не поведешь?

— Для вас найдется другой дом.

Задержанным оказался некто Волох, уголовник со стажем. Позднее выяснилось, что он разыскивается Одесским уголовным розыском за кражу из квартиры.

В роли пассажира

**«...На основаннн нзложенного прнхожу к следующнм выводам.
Первое: Уннчтоженный тенст, ранее учнненный под № 6487 в кннге учета покупателей автомашнн «Волга», был следующего содержання:
«Иванов Леонид Леонидович, прожнвающнй по улице Смольской, 14, кв. 6.
Второе: В результате почерковедческой экспертнзы установлено, что запнсь «Стасевскнй Петр Станнславовнч, прожнвающнй по Партнзанскому проспекту, 15-а, кв. 1» учннена гр-ном Стасевскнм Петром Станнславовнчем».**

(Из заключения эксперта оперативно-техннческого отдела МВД).

ВЕТРОВ ПОЗВОНИЛ. Подождал немного н снова нажал кнопку. Тихо. «Не повезло»,— вздохнул Игорь Нниколаевич н пошел вниз по лестннце. Навстречу с хозяйственной сумкой в руке тяжело поднималась женщнна.

«Может, жена?» — подумал майор. И действительно женщнна остановилась у двери, в которую он звонил, достала ключ.

— Скажите, здесь проживает Иванов Леонид Леонидович?

Женщина как-то странно взглянула на незнакомца, пригласила войтн н уже в небольшой полутемной прихожей, не отвечая на вопрос, спросила:

— А вы кто будете?

— Я из милиции.— Ветров протянул женщине удостоверенне.

— Леонид Леонидович умер год назад. А вам по какому вопросу он понадобился? Может, я смогу быть полезной.

— Извините, не знал, что у вас такое горе. Я хотел бы выяснить, записывался ли он в очередь на автомашину?

— Да, несколько лет назад. Жили вдвоем. Детн взрослые, обеспечены. Вот он мне как-то и говорит: «Давай купим машину. Летом за город или к родственникам в деревню с шиком ездить будем». Я согласилась. Но, как видите, не дождался... Сердце подвело.

— Скажите, а фамилия Стасевский вам ничего не говорит?

— Нет, не знаю такого.

— Понимаете, мы столкнулись с таким случаем: в журнале, который ведется в магазине, вместо вашего мужа вписан Стасевский. Кто-то сделал подчистку. Весной этого года Стасевский приобрел «Волгу».

Женщнна задумалась:

— А в магазине что говорят?

— Ничего онн объяснить не могут. Извините, не буду больше отнимать у вас времени. Возможно, как-нибудь к вам заедет следователь.

— Я вечерами всегда дома.

Ветров попрощался н вышел. Он уже спустился на первый этаж, как услыхал голос Ивановой:

— Одну минутку!

Он быстро поднялся. Женщина ждала его на лестничной площадке.

— Скажите, а этот Стасевский случайно не таксист?

— Да, он работает водителем такси.

— Боже мой, как же я забыла! Проходите, пожалуйста.

Усадив Ветрова в кресло, она начала рассказывать:

— В июле прошлого года муж возвращался из командировки. От Бобруйска ехал автобусом. Неожиданно ему стало плохо. Попросил водителя остановить автобус. Вышел на дорогу, но пассажиры торопили. Леонид решил остаться на свежем воздухе, а потом добираться до города на попутной. Автобус ушел. Спустя какое-то время ему стало лучше. Остановил такси. В нем сидели трое пассажиров, но водитель-цыган взял. К концу пути разговорились. Леонид спросил мнение водителя о «Волге», сказав, что стоит в очереди.

Попутчики вышли где-то на окраине, а Леонид назвал свой адрес. И тут он опять почувствовал себя плохо. Это заметил водитель н потребовал, чтобы муж с ним рассчитался. Леонид отдал деньги н попросил таксиста отвезти его в больницу. Но тот отказался. Когда они подъехали к нашему дому, Леня был уже в полуобморочном состоянии. Я уложила его на диван и по телефону вызвала «Скорую». Таксист взял с меня еще десятку и уехал. Когда Леониду оказали помощь, он рассказал о своих приключениях в дороге.

Где-то через неделю после похорон ко мне неожиданно пришел тот цыган н сказал, что муж просил его помочь выбрать в автомагазине машину. Я прогнала его, помнится, даже назвала убийцей.

— А очередью в магазине вы не интересовались?

— Нет. Зачем мне теперь машина?

...Ветров шел по улице и обдумывал план дальнейших действий. О Стасевском надо собрать как можно больше сведений. Интересно, что скажут о нем на работе?

Таксопарк был недалеко, н Ветров решил пройтись пешком. В витрине магазина

«Детские игрушки» его внимание привлекла электрическая железная дорога. Он давно обещал сыну такую. Минут через пять, держа в руке сверток, вышел из магазина. И вдруг на стоянке такси увидел за рулем человека, в котором безошибочно узнал Стасевского.

Машина Стасевского стояла по очереди третьей, пассажиров не было. Ветров был в гражданском, и у него мелькнула мысль: «А что если прокатиться? Стасевский вряд ли знает меня в лицо».

Он стал в сторонке, подождал, пока ушли первые две машины. Затем подскочил к такси, открыл переднюю дверцу:

— Вы свободны? Подбросьте меня, пожалуйста, к магазину «Яхонт».

— Садитесь,— ответил Стасевский и, трогая машину, добавил: — Нам лишь бы платили да о чае не забыли.

Вел он мастерски, привычно лавировал в потоке машин.

Возле «Яхонта» Ветров попросил:

— Подождите, пожалуйста, пару минут. Забегу и поедем дальше.

— Э нет, дорогой,— запротестовал Стасевский.— Требуется задаток. Этак многие говорят «подожди минутку», а уходят навсегда.

Ветров рассмеялся:

— Ну, вам, по-моему, никогда не приходилось выкладывать из своего кармана. Я оставлю сверток. Здесь электрическая железная дорога. Без нее сын домой не пустит. Хорошо?

Потолкавшись среди покупателей, Ветров вскоре вышел и, открывая дверцу машины, попросил:

— Давайте съездим в «Аметист». Может, там есть то, что мне нужно.

Машина снова понеслась по улицам.

— А что вы ищете?

— Недорогие золотые серьги. У жены и у сына завтра день рождения — так уж совпало. Сыну вот взял подарок, а жене, верно, придется поискать.

О такой игре со Стасевским Ветров поначалу и не думал. Помог случай. Игорь Николаевич по опыту знал, как важно бывает воспользоваться моментом. «Клюнет или нет?»

Стасевский «клюнул»: у него вдруг появился интерес к пассажиру.

— Вы в городе живете?

— Да, коренной, можно сказать.

— А работаете где?

— В научно-исследовательском институте.

Остановились у «Аметиста». Ветров вышел и через несколько минут с расстроенным видом возвратился к машине:

— Ничего у них путного нет. Давайте проедем в центр. Может, там что-либо найду.

Стасевский взглянул на часы:

— Вряд ли успеем до закрытия. Пока вы ходили, я вспомнил... У меня один знакомый работает на базе ювелирторга. Я у него по знакомству кое-что доставал. Так что, если хотите, завтра подвезу серьги. Понравятся — возьмете.

— А они золотые, с пробой? — колебался Ветров.

— Можете не волноваться. Что я, жулик какой-нибудь? — и, похлопав рукой по баранке, добавил: — Государство доверило почти десять тысяч...

Договорились встретиться назавтра в шесть часов вечера на площади Якуба Коласа. Ветров доехал до улицы Энгельса, рассчитался. Стасевский взял с него строго по счетчику и даже о чаевых не намекнул.

Купите и часы

НА КВАРТИРЕ у Кранова нашли двенадцать бутылок армянского коньяка и сорок шесть банок растворимого кофе. Кранов и Волох под давлением улик сознались, что совершили три кражи, причем Кранов действовал как наводчик. Но свою причастность к нападению на Шатилова и сторожа магазина отрицали.

Савич ждал заключения экспертизы по изъятому у Волоха ломику: все тот же дотошный старшина Марков подобрал его у взломанного приемного окна. И вот заключение получено: применение ломика в обоих случаях в нем категорически исключалось. Уголовное дело Волоха и Кранова передали другому следователю.

Опять оставался один Стасевский. В тот день Осипову и Майскому поручили неотступно следовать за таксистом, чтобы выяснить место хранения ценностей. Оперативная машина с утра сидела у него на «хвосте».

Стасевский вышел из дома в шесть утра. Постоял у ворот, закурил. На трамвае доехал до таксопарка. Вскоре он выехал на линию и почти весь день развозил в раз-

ные стороны пассажиров. Ни один из них не был знаком со Стасевским: каждый, выходя из машины, платил за проезд. Около трех часов дня Стасевский высадил очередного пассажира, подъехал к стоянке и спросил:

— Кому в сторону Северного поселка?

Желающих не нашлось, и Стасевский поехал порожняком. На окраине поселка остановил машину, вошел в небольшой деревянный домик. Оперработники стали за углом. Осипов прошелся мимо и краешком глаза осмотрел двор. В левом углу его находился сарай, у входа в который играли две девочки. Вскоре Стасевский вышел в сопровождении высокого мужчины. Стасевский выглянул из калитки, повертел головой, затем оба быстро прошли по двору, скрылись в сарае...

Прошло минут десять, прежде чем Стасевский возвратился к машине. Майский остался выяснять, кто проживает в доме, а Осипов с шофером продолжали наблюдение.

Стасевский пообедал в кафе и сразу же влился в поток такси. В шесть вечера отвез двоих женщин к обсерватории. Больше пассажиров брать не стал. Приехал к ювелирному магазину. Осипов поспешил за ним. Стасевский подошел к прилавку, обратился к продавцу:

— Девушка, выручите, пожалуйста. Дайте две коробочки. Хочу друзьям запонки подарить. Когда-то себе купил, а коробки выбросил.

Продавщица нашла две небольшие коробочки.

— Такие пойдут?

— Да, вполне. Сколько с меня?

— Ничего. У нас многие вынимают покупку, а коробочку оставляют на прилавке.

— Спасибо, девушка, до свидания!

Он вышел из магазина, сел в машину и вскоре приехал к месту встречи. Ветров уже ждал его.

— Добрый вечер.

— Здравствуйте.

Стасевский, не теряя времени, приступил к делу:

— Я попросил у друга, кроме серег, еще и часы. Можете посмотреть.

Ветров открыл коробочку.

— А сколько они стоят?

— В цене сойдемся. Между нами, за часы он просит меньше обычной стоимости.

— А они новые?

— Конечно.

Ветров молча вертел в руках часы и серьги. «Наверняка из той партии. Торопиться не буду, поторгуюсь».

Стасевский старался держать себя непринужденно, но глаза все время рыскали по сторонам, руки то нервно сжимали баранку, то беспокойно шарили по сиденью, да и беспрерывно льющийся поток слов выдавал его с головой. Не выдержал, спросил прямо:

— Ну как, берете?

— Хорошо, беру. Но придется подъехать ко мне. Я рассчитывал только на серьги.

— О чем вопрос,— с облегчением сказал Стасевский.— Куда ехать?

— Улица Фабрициуса.

Ветров не случайно назвал эту улицу: надо будет ехать мимо городского управления милиции, где их ждут. Стасевский достал из кармана половинку черного резинового мячика, надел на горевший зеленым огоньком фонарь.

— Для чего это? — сделал недоуменное лицо Ветров.

— Для комфорта. С зеленым первый милиционер остановит.

Вскоре подъезжали к управлению. Ветров ощутил беспокойство: не прозевали бы! И тут же облегченно вздохнул: впереди на дороге стоял работник ГАИ. Он поднял жезл. Стасевский чертыхнулся.

— Вот черт, неужели заметил?

Такси приняло вправо. Водитель вышел, быстрым шагом направился к автоинспектору. Ветров последовал за ним. Улыбаясь во весь рот, Стасевский сказал:

— Товарищ лейтенант, я ехал аккуратно, ей-богу, никаких нарушений не было.

— К вашему сведению, я не лейтенант, а сержант. Заприте машину и пройдемте в управление.

Стасевский вспомнил о пассажире, который стоял рядом и открыто держал в руке коробочки.

— Вы меня подождите у машины, я сейчас, вот только разберемся, здесь какое-то недоразумение.

— Ничего, ничего,— улыбнулся Ветров.— Вместе и разберемся.

Лишь после этих слов Стасевский все понял. Опустив голову, двинулся за сержантом. Следом — Ветров.

Вошли в кабинет, где дожидался Савич. Ветров по-хозяйски придвинул таксисту стул:

— Присаживайтесь, Стасевский.

— Спасибо, я постою.

— Нет уж, садитесь. Разговор у нас долгий. Вам, конечно, уже ясно, что я работник милиции. Для большей ясности добавлю, что звание у меня майор, а фамилия Ветров. А это — следователь прокуратуры города Савич.

Савич, до этого молча рассматривавший серьги и часы, спросил:

— Откуда у вас эти предметы?

— Знакомый попросил продать. Вот я и предложил товарищу.

— Как фамилия знакомого?

— Я не знаю.

— Где встречаетесь?

— Как когда... Чаще всего он меня сам находит. А где нашего брата искать, как не на стоянках такси?

— Скажите, Стасевский, вы знакомы с Вороновым?

— С Вороновым?

— Да, с Вороновым, Олегом Семеновичем, по кличке «Шкет»?

— Нет, впервые слышу.

— Хорошо, напомним. Воронов — это тот, кто продавал вам золотые часы и серьги. И заметьте, продавал целыми партиями.

Ветров подключился к допросу:

— Заодно объясните, за какие деньги вы приобрели «Волгу»?

— Последовал совету: «Накопил — машину купил».

— Это на вашу зарплату?

— Вся семья жила впроголодь.

— А как вы оказались в очереди?

— Как оказался? Пришел в магазин и записался. А когда подошла очередь — получил открытку.

— Сколько лет стояли на очереди?

— Шесть.

В комнату вошел Майский, молча протянул Ветрову записку. Игорь Николаевич пробежал ее глазами. Майский сообщал, что в доме на Северном поселке проживает двоюродный брат Стасевского — Зверович.

Ветров присел к столу и написал: «Готовьте документы и технику для обыска». Майский кивнул и вышел. Затем майор пододвинул телефон, набрал номер директора таксопарка. Представившись, попросил, чтобы прислали кого-нибудь в управление милиции забрать машину. Стасевский слышал этот разговор и, как только Ветров положил трубку, вскочил:

— Зачем позорите? Мне ведь работать там. Что обо мне подумают?!

— Успокойтесь, Стасевский. Вы сами себя опозорили, дальше некуда. Да и говорить, что вы там будете работать, опрометчиво. В ближайшем будущем такая возможность исключена.

— Что вам от меня надо?

— Ну что ж, давайте по порядку. Итак, первое: где, когда и у кого достали золотые изделия?

— Я же говорил, мне их дал знакомый...

Ветров перебил его:

— Бросьте, Стасевский. Оставьте эти сказки для наивных людей. А чтобы у вас не было сомнений, мы напомним, как к вам в дом пришел Олег Воронов и предложил большое количество золотых часов и серег. И вы в отличие от соседей были ослеплены блеском золота. Воронов стал частым гостем в вашем доме. Кстати, как поживает ваш двоюродный брат Зверович? Или его тоже не знаете? Помочь вспомнить, где хранили ценности?

Ветров не случайно сказал «хранили»: пусть Стасевский думает, что уличен до конца.

— Так что, Петр Станиславович,— спросил Савич,— начнем?

— А что начинать? И так все ясно! Да, я купил у того пацана, будь он трижды проклят, серьги и часы. Пришел, предложил... Взыграла цыганская кровь, купил на свою голову. Жаль, что брату наделал неприятностей. И чего, думал, крутится тот тип у ворот? Оказывается, вы уже все знали. Хорошо, давайте договоримся так: что докажете, о том буду рассказывать. И точка!

Савич кивнул:

— Хорошо. Сначала мы запишем ваши показания в отношении часов и серег...

Ветров вышел из кабинета, нашел Майского:

— Александр Сергеевич! Возьми одного человека и поезжай к дому Зверовича. Установите наблюдение. Важно, чтобы хозяин не ушел и мы не потеряли время на его поиски. Осипов пусть готовится к выезду на обыск. Связь по радио.

Когда Игорь Николаевич вошел в кабинет, Савич заканчивал записывать показания. Дал Стасевскому прочитать протокол допроса, пальцем указал, где расписаться. Затем, отложив в сторону протокол, предложия:

— Ну что, пойдем дальше?

Стасевский усмехнулся:

— Только не забывайте наш уговор.

— Хорошо, хорошо. Такой вопрос: вам знаком Хоревич?

— Что-то не припомню,— задумавшись, сказал Стасевский.

— Напомню. Он приехал из мест заключения, чтобы отнять ценности у Воронова.

— А, этот... Да, знаю такого. Познакомились недавно. Он засек нашу встречу с Вороновым и потом подкатился ко мне. Стал в друзья набиваться. Но я быстро раскусил и отшил его.

— А где он жил, вам известно?

—Дом и квартиру могу показать. Там его кореш с женой живет. Они вместе срок тянули.

Савич попросил поставить подпись под ответом.

— А все же как вы машину приобрели? — вернулся к прерванному разговору Ветров.

Лицо Стасевского помрачнело.

— Я же говорил, как приобрел. Копил. Подошла очередь — пришла открытка...

Ветров улыбнулся:

— Договаривались быть откровенными, да нарушаете уговор. Постараемся помочь. Скажите точно: сколько лет ждали?

— Ну, около шести.

— Выходит, вы за четыре года вперед знали, что название улицы, на которой живете, будет изменено?

Стасевский удивленно взглянул на майора:

— Не понял, как будет изменено?

— Вы сейчас по какой улице живете?

— По Партизанскому проспекту.

— А раньше как она называлась?

— Могилевское шоссе...

Только теперь Стасевский понял, что попал впросак, но не сдавался:

— Я же мог пойти в магазин и попросить, чтобы изменили название улицы?

— Но не сделали этого. А чтобы вам стало ясно, что упираться не стоит, напомним о гражданине Иванове, которого подвозили домой... Вот почитайте.

Положив перед Стасевским заключение эксперта, Ветров продолжал:

— Здесь ясно сказано, что исправление в журнал внесли лично вы. А вот показания директора и работников магазина. Кстати, чтобы внести изменение, требуется письменное заявление стоящего в очереди. Как видите, и здесь ваша карта бита.

Стасевский неожиданно рассмеялся:

— Ваша взяла!.. Пиши, начальник. Все скажу, терять больше нечего! Остались у меня только жена и дети. Их я не украл. Пиши...

Все было примерно так, как Ветров и предполагал. Как-то, проезжая мимо дома, куда он подвозил мужчину, у которого по дороге схватило сердце, Стасевский увидел похоронную процессию. Остановил машину, подошел поближе. Так и есть: в гробу лежал давешний его пассажир. Вспомнилось, с какой радостью тот рассказывал, что подходит его очередь на «Волгу». Стасевскому давно не давала покоя мысль купить машину. Особенно после того, как удалось околпачить этого мальчишку, Воронова. Сложно, конечно, было сбывать золотишко, но Стасевский быстро приспособился. Продавал по одной-две вещи пассажирам, случайным знакомым, часто ездил на толкучки — там проще купить и продать все что угодно. Вскоре денег уже хватало. Вся загвоздка — где купить? На очередь стать можно, но ждать долго — лет десять.

В тот момент, при виде покойного, Стасевского осенило. Выждав с неделю, он пошел к Ивановым домой. Открывшей дверь вдове сказал, что пришел-де по просьбе ее мужа: помочь выбрать машину. Вдова прогнала его. В порыве гнева она крикнула, что ей машина не нужна. А это и хотел знать Стасевский. Выяснить фамилию умершего не составляло труда.

С тех пор он зачастил в магазин «Автомобили». Приметил, где хранится журнал учета очереди, разыскал в нем номер Иванова. Однажды, улучив момент, когда бухгалтер вышла из кабинета, схватил журнал, спрятал под пальто, вышел на улицу. Сидя в машине, вытер резинкой фамилию и адрес Иванова, а вместо него вписал себя.

Севидов докладывал начальнику управления:

— К сожалению, товарищ генерал, рвется и эта ниточка: Стасевский не знает, где Хоревич добыл пистолет. Известно, что и сам Хоревич к нападению на тир не причастен. Это же можно сказать и о Воронове. Отпали Кранов и Волох...

— А как в отношении городских связей Хоревича?

— Вот тут кое-что любопытное. Сегодня утром мне позвонил Лапко, у которого — помните? — останавливался Хоревич, и сообщил, что к нему приходил какой-то мужчина. Искал Хоревича. Лапко предложил ему прийти вечером. Думаю, Виктор Алексеевич, трогать этого человека не стоит. Установим его личность и попытаемся выяснить связи.

— Лиц, судимых за аналогичные преступления, отобрали?

— Да, по городу два человека, по области — три, по республике — восемь. Мы подготовили задания по их проверке.— Севидов положил перед генералом несколько листов бумаги.

Генерал прочел и подписал их. Затем встал, прошелся. Остановился у больших часов в углу кабинета. Долго смотрел на циферблат, думал. Повернулся к Севидову:

— Усилили охрану банков, сберкасс?

— Так точно. Кроме того, товарищ генерал, мы проинструктировали руководителей предприятий, организаций и учреждений, чтобы они в дни получек обеспечивали своих кассиров надежной охраной. В городе продолжается патрулирование наших людей, переодетых в гражданское. Держим под контролем транспорт и другие места возможного появления преступников. Люди работают с полной отдачей сил. Я не сомневаюсь, что преступников найдем.

Генерал улыбнулся:

— Только сделать это надо как можно скорее, чтобы не дать им совершить новое, может быть, еще более тяжкое преступление. Я попросил бы Ветрова лично заняться человеком, которого сегодня ожидает Лапко.

К полуночи Ветров уже сидел в своем кабинете и составлял справку о человеке, который интересовался Хоревичем. Это был некто Асаевич. Конечно же, тот самый, о котором недавно говорил Марков. Ветров с похвалой подумал о старшине: «Толковый мужик Михаил Антонович. Нутром чует, где нечисто. Надо будет переговорить с ним об этом Асаевиче».

(Окончание следует)

Анатолий КОЗЛОВИЧ

ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...

Дневник помощника комбайнера

29 ИЮЛЯ. «НЕ ПОКЛОНЯСЬ ДО ЗЕМЛИ...»

В красную ленточку, дрожащую на ветру, уперлась вереница комбайнов.

— Дорогие товарищи, а особенно комбайнеры! — Председатель задержал на толпе механизаторов взгляд.— Игнат, заглуши свою таратайку, а то не слышно ничего.

— Леша, заглуши мотор! — крикнул Игнат Игнатьевич молодому напарнику.

Леша побежал к комбайну, стоявшему первым.

Председатель дождался тишины и продолжил:

— Значит... дорогие товарищи! Сегодня вы начинаете уборку урожая, выращенного тружениками нашего колхоза. Урожай хороший, даже, можно сказать, небывалый. Его надо убрать без потерь, быстрыми темпами. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе.

Председателю подали ножницы, он перерезал красную ленту. Несколько человек похлопало в ладоши, и мы поехали. Игнат Игнатьевич — за рулем, я и Леша — на мостике. Наш «Колос» шел первым, потому что в прошлом году на жатве занял первое место. Об этом свидетельствовал и красный флаг, который в последнюю минуту перед выездом из мастерских принес бригадир тракторной бригады Петя Руцкий и водрузил над двигателем.

Когда переправлялись через автомагистраль Брест — Москва, из окон остановившихся легковушек на нас глазели чистенькие дамы. Одна высунулась с фотоаппаратом: возможно, видела комбайн впервые.

Ехали мы в бригаду Боровки, что в трех километрах от Новоселок, центра колхоза. По пути встретили трактор с прицепом, набитым травой. Тракторист помигал фарами, заставил нас остановиться и слезть с комбайна. «Поздравляю!» — сказал он, поочередно пожав нам руки. И только сейчас мы ощутили по-настоящему всю торжественность и значительность дня, ради которого живет и работает колхоз «Вперед», летнего страдного дня, который, как известно, кормит весь год, кормит страну.

Сегодня зажинки. Холодное лето на две недели задержало созревание хлебов. Прогноз обещает дождливый август. В колхозе 630 гектаров зерновых, 7 комбайнов. На комбайн по 90 гектаров — это значительно выше нормы... Затянем уборку — опоздаем с осенним севом. Посеем в неблагоприятные сроки — на следующий год урожая не жди. Такова обстановка. Она диктует свои законы, свой особый ритм жизни каждому, кто сегодня вышел в поле и кто в поле сегодня не вышел, а трудится на своем обычном рабочем месте — за станком, в учреждении, в проектном институте,— не ведая, что в колхозе «Вперед» началась жатва, не подозревая, как прочно связан он с этим событием.

По дороге комбайны растянулись, а те, что на полугусеничном ходу, и вовсе отстали. Их три, отдельное звено, во главе звена Антон Соловьев, на каждом агрегате по два механизатора.

Второе звено из трех комбайнов СК-4 на колесном ходу ведет Виктор Козич. В нашем звене всего один комбайн, но обслуживают его три механизатора. Это потому, что «Колос» — комбайн более сложный, чем старенький СК-4, более производительный и в то же время более капризный. Звеньевым у нас Игнат Игнатьевич Нестерук. Как влитый сидит он за рулем, время от времени смахивая со лба седые волосы. Нестерук едет на свою последнюю жатву. По правде говоря, он не хотел на комбайн, потому что тяжело в его годы, да председатель упросил: «Некого, Игнатович, садить на «Колос», поработай еще сезон, покажи молодежи, как надо трудиться... Леше Демидовичу все свое умельство передай». Леша — наш сменный комбайнер. Ему 31 год, он широченный в плечах, сила из него так и прет. «Медведь! Не перетягивай гайки»,— ворчал на него Нестерук, когда готовили комбайн к уборке. Механизатором Леша стал после восьмого класса, так что на жатве далеко не новичок.

Опушка леса возле поля была забита техникой: тракторы с прицепами, автосамосвалы, передвижная мастерская («летучка»), сварка на колесах, председательский «газик», белая «Волга» какого-то начальства, потрепанный «Москвич» председателя сельсовета, мотоциклы бригадира и фотокорреспондента районной газеты—все прибыли сюда ради нас, комбайнеров: обслуживать, помогать, организовывать, контролировать, глазеть, славить.

Подкатывали один за другим комбайны, выстраивались в ряд. Сегодня мы убираем ячмень. От каждого зернышка тянется вверх длинный ус, через него зерно налилось солнцем, ароматом, жизнью. Ус выполнил свою роль, «налил» урожай центнеров под сорок — и... стал нашим заклятым врагом. Усатый ячмень плохо вымолачивается. Горе тому, кто не умеет его жать.

Первым начал Нестерук. Никто ему не сказал: начинай, мол, Игнатьевич. Все, кто находился здесь, как само собой разумеющееся признали за ним это право. И он — тоже: никому ни слова не говоря, сел и поехал в загонку. И все молча, толпой двинулись следом за комбайном.

Когда в «Колосе» включается молотильный аппарат и приходят в движение многочисленные шнеки, транспортеры, шкивы, барабаны, приводные ремни и цепи, издающие страшный грохот,— кажется, огромный комбайн сейчас оторвется от земли и реактивно взмоет в небо.

Словцо «реактивно» пришло в голову не случайно. Комбайн — агрегат сложный, а все сложные аппараты и механизмы мы по привычке видим бороздящими далекие моря и океаны, штурмующими таинственный космос, проникающими в неизведанный микромир, но только не ползающими по земле, по обыкновенному полю, на котором растет зауряднейший хлеб, до того заурядный, что, взяв его в руки, мы даже не думаем о нем, а просто откусываем и жуем. Жуем, чтобы штурмовать и бороздить неведомые миры... Недавно смотрел телепередачу: наши славные космонавты демонстрировали и жевание хлеба в невесомости.

А мы с Лешей неотступно следовали за «Колосом» и в стерне видели во множестве зерна. Каждое зернышко лежало с усом: комбайн вымолачивал не чисто. Игнат Игнатьевич остановил агрегат, подошел к нам, спросил с тревогой:

— Есть?

— Есть,— ответил Леша.

— Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь.— Нестерук по-стариковски крякнул, опустившись на колени, пригляделся к стерне. Затем лег и осторожно подул на кучку половы. Два зернышка остались лежать. Это был пропавший хлеб.

Игнат Игнатьевич заглушил двигатель. Достали инструмент, еще раз облазили весь комбайн: подтянули подбарабанье, увеличили обороты барабана, отрегулировали подачу ветра... Тронулись. Реактивный грохот, завихряющаяся пыль, золотистая копна. В бункере, пронзенном солнечным светом, сверкает зернопад. Все ли зерно попадает сюда? Опять остановка, опять Нестерук, не доверяя нашей информации, ложится и сдувает полову. Потерь меньше. Но что же или кто же сдерживает меня бодро написать: потерь не было совсем? Игнат Игнатьевич Нестерук! В сердцах он швырнул ключ и вытер мокрый лоб. Ключ больше не помощник, в комбайне отрегулировано, поджато, закрыто все, что можно было отрегулировать, поджать, закрыть. И хотя председатель сказал: «Нормально, Игнатович»,— и те незначительные потери зерна можно расценить как допустимые — все равно неспокойно у меня на душе. Потому что Игнат Игнатьевич нервно швырнул ключ и стал грузно подниматься по ступенькам в кабину, и была темной от пота его голубая рубашка.

Я поднялся следом и стал за спиной комбайнера — обычное место помощника, если нет работы на земле. Мельтешили под мотовилом колосья. Руки Нестерука уверенно лежали на руле. В правом и левом бункерах пульсировало зерно.

— Хорошую технику я носил бы на руках, как хорошую жинку,— неожиданно произнес Нестерук.— А тут...— Он щелкнул выключателем вентилятора.— Одно расстройство. О, видишь, опять...

На шнек жатки намоталась солома. Опять надо было резать ее ножом, выдирать из-под шнека. Когда я совсем упарился, на помощь пришел Игнат Игнатьевич: смотрел-смотрел из кабины, да не усидел. Вместе мы освободили шнек и собрались уж лезть в кабину, как мимо нас с грохотом и пылью промчался комбайн. Нестерук посмотрел вслед, покачал головой:

— Соловей резвится. На второй скорости пошел. Ну-ка, глянем...

Мы прошли пару метров за комбайном Соловьева. В стерне, на земле, густо светились зерна.

— Стой, так твою перетак! — Нестерук сорвался с места.— Стой! — Догнал Соловьева, замахал кулаком.

— Что за шум, Игнатович? — подчеркнуто вежливо спросил Соловьев. Был он в зеленых вельветовых брючках и щегольской белой кепке.

— Ты куда летишь? — Нестерук не замечал вежливости Соловьева.

— Все, Игнатович, ша... Вас понял! Берегите здоровье! — Соловьев с ухмылкой попятился.

— И кого посадили на комбайн — приблуду, соловья, щелкунца! — Нестерук остывал медленно. Мы сделали целый круг, а грозно нахмуренные брови его все еще не раздвинулись.— Приблудился к колхозу и гонит... Ах ты!..

— Разве он не местный? — спросил я, чтобы как-то отвлечь Игната Игнатьевича.

— Приехал откуда-то. Крым и Рим прошел, заводы и стройки. А теперь на землю его потянуло, на крестьянство. Погляди-им!

— Вы бы отдохнули, Игнат Игнатьевич,— предложил я.— Мы тут сами с Лешей...

Он согласился. Я видел, как он посидел немного с ремонтниками, затем ходил за комбайном, приглядывался к стерне, поднимал колоски.

В шесть часов вечера была дана команда заканчивать. На сегодня хватит, это пробный выезд.

— Регулируйте комбайны, хлопцы, устраняйте неисправности,— сказал председатель.

— Все сделаем, Гаврилович,— весело и дружно отвечали механизаторы.— Да никуда не годятся такие зажинки: и дожди пойдут, и поломки замучают, если не замочить.

— От не можете вы без этого! — Председатель погрозил пальцем, как грозят шаловливым детям, когда их не хочется наказывать.— Ладно, ждите тут, поеду с агрономом, привезу.

Мучительно долго тянется время в ожидании. Заглянули мы в комбайн, и Игнатьевич говорит: «Хватит, молодежь, для первого дня. Пошли в подкидного перекинемся».

На краю лесочка, под зелеными березками, уже слышались азартные возгласы игроков; шоферы с переменным успехом атаковали комбайнеров, трактористы — ремонтников.

А председателя все нет. Играть в карты надоело.

— Надул председатель, мужики.

— Тато не обманет.

— Точно, за ним это не водится, не такой человек.

— Так докуда ждать?! Жрать хочется!

— Двинем навстречу!

Погрузились в «летучку», поехали. В Новоселках, на улице, встретили председательский «газик».

— Что же вы, Гаврилович? Кишки марш играют...

— Невтерпеж? От пьянчуги! — Председатель по-отечески сощурился.— А закусывать запчастями собрались? Их и так мало. Я же ужин поджидал: первое, второе, чай горячий.

За председательским «газиком» следовала машина с поваром Олей в кабине.

— Ну, раз не дождались там, поехали в столовую,— решил председатель.

— Лучше в лесок, Гаврилович, на природу.

В окру́ге не счесть уютных мест. Нашли лесную лужайку с травой-муравой, расположились.

Председатель Иван Гаврилович Корневич поднял стакан.

— Выпьем за то, чтобы не подвела нас погода, хлопцы. И чтобы все вы поработали на совесть. Где-то к пятнадцатому августа надо убрать. Уберем?

— Будет видно, Гаврилович. Если дожди пойдут, то...

— Да шо ты треплешь? Уберем!

— Суп стынет, мужики!

Супу остыть не позволили.

Налили по второй. Стакан поднял Виктор Козич и сам поднялся: неудобно говорить тост на корточках.

— Насчет совести Гаврилович сказал точно. Есть у нас товарищи, которые думают, будто хлеб убирать — все равно что песни свистеть. Сегодня один такой свистун...

— На что ты намекаешь? — подскочил как ужаленный Антон Соловьев.

— Вот видишь, на воре шапка горит! Ты сегодня на второй скорости гонял. Сколько зерна за тобой осталось?

— Вы все против меня! — закричал Соловьев.— Как сговорились! Я чужой, да? А я докажу, докажу!

— Ты не голоси, как баба! — перебили его.— Кто тебе говорит: чужой? Не о том разговор... Ты на второй скорости ходил, а надо на первой, пониженной, потому как ячмень... Выпьем, а то надоело держать.

— Погоди! Он же не первый раз так. Помните, в прошлом году подъемник на поле бросил, а на него трактор наехал...

Игнат Игнатьевич заговорщицки толкал меня локтем в бок, возбужденно говорил:

— Пусть выскажутся! Пусть пропесочат сукина сына!

— Хватит вам,— вмешался председатель.— Он все понял. Выпьем и по домам. Не вздумайте добавлять где-нибудь за углом. Завтра туда же, в Боровки. Отъезд от мастерских в девять.

30 ИЮЛЯ. «НЕ ДАТЬ ИМ ХЛЕБА»

Утром вижу: Нестерук заводит трактор, берет прицеп. «За все лето сеном не запасся,— говорит.— До обеда с Лешей поработаете, а я привезу корове, будь она неладна».— «А где Леша? Сейчас отъезжать на поле...» — «Он уже там. С попутной поехал».

И точно, подъезжаем, а «Колос» уже движется по полю. Механизаторы, сидящие в машине, загудели.

— Демидович в передовики рвется.

— Никуда он не рвется. А вот пока ты

анекдоты травил, он бункер набрал. Надо раньше выезжать, хлопцы.

Бункер «Колоса» действительно был почти полон, но и Леша сидел за рулем весь мокрый.

— Хоть караул кричи! — сказал он.— Полегло много, жатка не берет. Иди поднимай.

У «Колоса» жатка пятиметровая — на два метра шире, чем у СК-4. Задумано неплохо: шире жатка—выше производительность. Да задумано для тепличных полей. Попался, допустим, бугорок, случилась впадинка на пути — пятиметровая жатка роет землю или не может достать колоски. Особенно много хлеба остается на полеглых участках. Горе, а не жатка. Бедный Леша крутился на сиденье, я спины не разгибал на поле — поднимал, шевелил, ставил покрученные вялые стебли, чтобы их могли захватить ножи жатки. Да разве все поднимешь, разве прополэешь все поле, если ему ни конца ни края? Уж лучше брать надежный серпок, хоть душе не будет бóльно, ты знаешь: в руках твоих орудие, усовершенствованное поколениями до предела, жни потихоньку, все зависит только от тебя. Пятиметровый нож комбайна — тот же серп, но как не хватает ему того же совершенства! И потому хоть караул кричи, а чисто не уберешь. Нехитрые приспособления для подъема полеглых хлебов, придуманные самими механизаторами несколько лет назад, широко разрекламированные, дела не спасали — упавший колосок не поднимет ни один механизм, существующий ныне в сельском хозяйстве. Для этого надо придумать нечто принципиально новое.

Помню, готовили мы «Колос» к уборке, перебирали довольно сложные узлы, и меня поразило, что Игнат Игнатьевич назубок знает, куда что и зачем ставится. «Колос» ведь недавно начали выпускать,— говорю,— откуда вы его знаете, если раньше работали на старых марках?» — «Так он ничем не отличается,— ответил Нестерук.— Кое-что подновили, а принцип тот же, что на старых прицепных комбайнах: молотилка, жатка, нож, сегменты... Вот если б не дать им хлеба, быстро придумали бы что-нибудь такое, чтобы чище убирало».

Им — это конструкторам. Для убедительности Нестерук подкрепил свою мысль примером. «Есть у меня старый друг, учитель. Сейчас он директор школы. Знаешь, как он учителем стал? Закончил школу, семь классов, говорит батьке: «Больше учиться не хочу».— «Ладно, сынок, бери цеп, пошли молотить». Молотили от первых петухов до жары. Поснéдали. Опять молотили до обеда. Пообедали. Батька берется за цеп, а сын стонет: «Не могу больше».— «Учиться не хочешь, молотить не можешь, для чего ж ты на свет родился?» — «Пойду учиться, батя»,— согласился сын. Он сам мне это рассказывал. Видишь, попробовал на своей шкуре — поумнел... А желудок еще больше ума придает. Вот не дать им хлеба — тогда другой вопрос...» — закончил свой рассказ своей излюбленной фразой Нестерук.

Ничего не скажешь, Игнат Игнатьевич задал конструкторам жесткую программу. Но в принципе он прав: жизненные потребности во все времена заставляли человека «шевелить мозгами». Копье и лук появились, когда нашему далекому прародичу захотелось мяса. Потом он выяснил, что мясо кажется вкуснее, если его употреблять вместе с хлебом. Однако хлеба было мало, и только желание иметь его больше заставило людей изобрести соху, плуг, ступу, жернова, серп и, наконец, комбайн. Хлеба сейчас вдоволь. В обиход вошел даже афоризм: «Не хлебом единым жив человек»... Не оказывает ли сей красивый афоризм отрицательного воздействия на тех, кто по роду своей службы обязан денно и нощно заботиться о хлебе, думать о совершенствовании уборочной техники — жить хлебом единым?..

Пройдет чуть больше месяца, колхоз «Вперед» завершит уборку и без передышки начнет сеять озимые, закладывать основу урожая будущего года, основу нашего благополучия. Такими же заботами будут жить все соседние колхозы и совхозы, весь район, вся страна. За тысячи километров от Новоселок, в Алма-Ате, прозвучат слова: «Хлеб, другие продукты питания, товарищи, были и остаются одним из главных показателей богатства любой страны». Речь Л. И. Брежнева на совещании партийно-хозяйственного актива Казахстана можно назвать словом о хлебе. А еще через неделю, 10 сентября 1976 года, в газетах будет опубликовано постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему повышению эффективности сельскохозяйственной науки и укреплению ее связи с производством». Перед учеными будет поставлена конкретная задача, созвучная нашим сегодняшним заботам на ячменном поле в бригаде Боровки.

Зерно из нашего комбайна отвозит Слава Корневич, сын председателя, он же зять Нестерука. Непоседливый паренек. Иной шофер, подъехав к комбайну, лениво ждет в кабине, пока загрузится машина, а Слава вмиг перемахнет через борт и — в кузов, прямо под золотистый зернопад, тщательно закрывает брезентом щели, разравнивает зерно, а то просто стоит и смотрит, как растет на глазах хлебная гора, и видно, что все это ему нравится.

— От не захотел учиться, с пятого класса заладил: «Буду шофером».— И удовлетворение, и смущение слышатся в словах председателя, когда он говорит о сыне: как будто что-то отравляет отцовскую радость Ивана Гавриловича, будто о чем-то другом мечтает он, видит сына за другой работой... А ведь и сам Иван Гаврилович мечтал с детских лет выучиться на агронома, работать в деревне, по науке растить хлеб. И — выучился, и растил, будучи главным агрономом, втрое поднял урожайность, стал пред-

седателем, принял на себя всю полноту ответственности за главное наше богатство, за хлеб. Так что же отравляет его отцовскую радость за сына, шедшего следом,— не рецидивы ли проклятого, унаследованного от прошлого пренебрежения к крестьянскому труду? Нет! Не может закрасться в душу Ивана Гавриловича это пренебрежение, хотя оно еще «витает» в воздухе. Существует еще в обиходе унижающее ругательство: «Ух ты, деревня!» Своими ушами слышал, как сытая городская старуха-пенсионерка зло выговаривала деревенской женщине, принесшей ей молоко и случайно наследившей в коридоре: «В своем коровнике можешь так ходить, милая!» И столько было высокомерия в этих словах. Подумалось: а что ты знаешь о коровнике, кроме того, что там — фи, грязь? Видела ли ты в современном коровнике цветы, как в твоей городской квартире, знаешь ли, сколько радости приносят деревенскому человеку вот эти рождающиеся на глазах горы хлеба?..

Слава Корневич отвез к сушилке зерно и напрямик, по сжатому полю, мчится к нам, машет рукой, показывает четыре пальца — он завез четыре тонны пшеницы.

Эти четыре тонны дались нам нелегко, мы брали их два часа. Вторую машину загрузили быстрее: попался неполеглый участок. Пошли на третий заход — видим: машут нам издали, зовут на обед. В окружении комбайнов, на краю поля, стоял видавший виды грузовичок с откинутым бортом. В кузове помещался некрашеный деревянный ящик, загруженный термосами, хлебом, помидорами и прочим добром. На ящике сидела его хозяйка, Оля. Звено Соловьева сладко полеживало, покуривало, перебрасывалось ленивыми фразами. В траве валялись порожние винные бутылки: опохмелялись ребята после вчерашнего.

Отобедав, Леша молча полез на комбайн.

— Отдохни,— говорю,— устал ведь.

— Нэма коли. Поехали, пока комбайн ходит.

— Почему — «пока»? Он же новый.

— Увидишь, какой он новый,— ответил Леша многозначительно.

Вскоре приехал на попутной Нестерук, сменил за рулем Лешу — и я тотчас заметил разность между ними. Леша, безусловно, комбайнер опытный, а вот за рулем излишне напряжен, суетится, то и дело вскакивает с сиденья, заглядывает в жатку, хотя обзор из кабины хороший. Игнат Игнатьевич сидит за рулем, как вбитый в сиденье, никаких лишних движений, только брови грозно нахмурены, что свидетельствует о внутренней сосредоточенности. Но брови вдруг распрямляются, и морщинки вокруг глаз светятся озорно и приветливо.

— Николаевич, что ты все за спиной ховаешься? На, садись, рулюй!

— Да не умею я, Игнат Игнатьевич, напорчу.

— Садись-садись! — подтолкнул он меня на сиденье.— Не было еще у меня помощника, из которого я комбайнера не сделал. Еду. Нестерук стоит за спиной. Я слышу его дыхание... Руль, газ, сцепление, коробка передач, тормоза — все это, как на любом транспортном средстве, и тут я, кажется, справлюсь. Но комбайн не просто движется, как обыкновенное транспортное средство, он в движении работает, производит множество операций. Чтобы равномерно подавалась в жатку хлебная масса, надо зорко следить за высотой, густотой хлеба и соответственно уменьшать или увеличивать обороты мотовила, одновременно опуская или поднимая его другим рычагом. И — не забывать регулировать высоту среза, попался полеглый участок — опускай жатку до самой земли, но тут уж гляди в оба: зацепишь камень — будешь потом маяться. Внимательно осматривай пространство перед комбайном, чтобы заранее принять решение, на каких режимах пустить молотилку. Не забудь глянуть на шнек: не наматывается ли солома? И копнитель держи в голове, чтобы вовремя, аккуратно выбросить солому. Приглядись к ножу: не сломался ли сегмент, не остается ли «грива»? Прислушайся к барабану: не гремит ли, не забило ли соломой? Взглянуть в окно бункера тоже не забудь: не полон ли, не перегрузить бы зерновые шнеки? А вот бугор на поле, надо моментально поднять жатку, чтобы не врезалась в песок. Я метнулся к рычагу подъемника и поймал спокойную, твердую ладонь Нестерука: он опередил меня.

— Все в порядке. Давай дальше,— сказал спокойно.

Я почувствовал, что с меня льется пот.

— Что, уже мокрый? — спросил Нестерук.— Сейчас подсушим.

Зашелестел включенный им вентилятор, но лица не охладил. Шум вентилятора, казалось, отвлекает внимание, я невольно поднялся с сиденья и стал рулить стоя, как это делал Леша.

Попробуй поработай так двенадцать часов кряду — не сможешь слезть на землю. Конечно, опытные комбайнеры устают меньше, умеют экономить силы, однако нервное напряжение к концу дня дает о себе знать. Требуется разрядка. И сегодня вечером, проезжая мимо магазина деревни Боровки, Игнат Игнатьевич остановит комбайн и скажет: «Возьмем винца, а, молодежь? Спаться будет крепче». И мы «возьмем» винца. Пусть хоть «нектар Полесья» поможет Игнату Игнатьевичу заснуть, не слышать, как всю ночь ноет левая рука, перебитая в 44-м осколком снаряда и натруженная за день...

Прошло полчаса. Ну, думаю, завалился Леша под копну, видит второй сон. Ан нет, ходит, вижу, между копен, выдергивает «гривы», проверяет, нет ли в пшенице камней. Затем подкатил на машине, дозаправил комбайн топливом. И опять пошел перед нами, приглядываясь к пшенице. Нестерук нажал на сигнал, остановился, высунулся из кабины:

— Иди посиди!

Леша отмахнулся и пошел дальше.

— Вот человек! — воскликнул Нестерук и закрыл дверку.— Ты видал таких упрямцев?

Видал, Игнат Игнатьевич. Вчера видел, когда вы бежали за комбайном Соловьева, и сегодня, когда вы искали в его копне колоски. Так что из одного вы с Лешей теста сделаны и спасибо судьбе, что свела меня с вами!

Вот сказал: из одного теста... Но различие все-таки есть, и различие заметное. Сломался сегмент ножа, начали наклепывать новый. Леша, известное дело, всю силищу свою вложил в молоток, бах-бах — и распушил заклепку. «Леша, не переклепывай так, сорвет»,— предупредил Нестерук. А тот не обращает внимания, знай себе машет молотком. «Леша! — повысил голос Нестерук.— Не порти заклепку. Всего несколько штук осталось». Леша тут же отбросил молоток и начал прикручивать палец жатки. Спешил, чертыхался. Нестерук стоял рядом и снисходительно посмеивался. «Тише, тише, Леша. Посчитай от десяти и ниже, и нервы успокоятся. Я так свою жинку обезоруживаю, когда вскипит». И Леша спокойно завинчивал гайку.

Они хорошо дополняют один другого.

Леша усмотрел-таки в пшенице бугры и ямы. «Не лезьте туда, Игнатович, жатку можно поломать»,— вполне логично решил он. «А кто полезет?» — спросил Нестерук, и в его вопросе было, пожалуй, больше логики. Конечно, СК-4 с узкой жаткой лучше прошел бы на буграх и ямах, но все комбайны переехали на новую загонку. Значит, бросать этот кусок недожатым?.. Нестерук более рассудителен, и в этом не только житейская мудрость, пришедшая с годами. Чувство бескорыстия стало главным жизненным правилом Нестерука, его, если хотите, философией. Прежде всего он подумал сейчас о том, что надо дожать этот кусок пшеницы, а не о том, что можно попортить там комбайн, причинив тем самым неприятность себе. И, вопреки Лешиному предостережению, полез на бугры, «поймал» в жатку проволоку и сломал сегмент. Леша оказался прав. Потому-то он и сердился, потому и бухал по заклепке, рассердив уже Игната Игнатьевича.

И, честное слово, было приятно наблюдать, как они переживали, как сердились друг на друга и как в то же время старались не обидеть один одного, не переступить ту черту, за которой начинаются упреки, взаимное недовольство, унижение человеческого достоинства.

Одному 53, другому 31. Леша обращается к Нестеруку неизменно на «вы». Который год вместе работают, делят пополам одни и те же радости-горести, едят, как говорится, из одного котелка. В таких условиях легко «забыть» о разнице в возрасте, о жизненном и профессиональном опыте. И многие забывают. Я слышал, как семнадцатилетний юнец, только что научившийся заводить трактор, тыкает механизатору, вдвое старше себя, и тот — ничего, не обижается, а в день получки, вспомнив, что он все-таки старше, посылает юнца за водкой. Когда, в силу каких обстоятельств в душах двух людей — совсем юного и уже пожилого — возникла брешь, пустота, и чем ее заполнить? Чем восполнить радость обоюдного духовного обогащения, взаимопонимания, ту радость, которая делает человека сильнее, специалиста опытнее, а общество богаче? Она не восполнима, как, допустим, любовь.

В популярной песне поется: «Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без любви прожить?..» Живут, увы, без любви, без окрыляющей радости от работы, живут от получки до получки, живут поденно и посменно — и в такой жизни свои точки отсчета, свои критерии, своя философия. Под вечер идем с Нестеруком к машине, шагаем по сжатому полю ужинать, то тут, то там видим в стерне колоски, и невозможно пройти мимо, чтобы не подобрать — и скоро из них образуются увесистые букеты. Вдруг дорогу преграждает порядочная «грива», брошенная кем-то посередине поля. Начинаем выдергивать стебли и понимаем, что за этим занятием застанет ночь. И тут, к счастью, слышим за спиной комбайн, это Наганов торопится на ужин. «Эй, сюда, подбери «гриву»! — кричит Нестерук. Наганов посмотрел и, прибавив газу, проехал мимо. От неожиданности, от возмущения, от стыда за то, что Наганов бросил хлеб, мы не смогли сказать друг другу ни слова и заторопились прочь.

Ужин был в разгаре. Сегодня Оля выдавала по порядочному куску холодной телятины и по сочному помидору. Нестерук направился не к Оле, а к Наганову, примостившемуся с миской у колеса своего комбайна.

— Приятного аппетита,— сказал Нестерук.— Почему не подобрал?

Наганов вскочил так, что красный помидор выпрыгнул из миски. Я думал — ударит, столько злобы было на его лице. Но сдержало его, видимо, ледяное спокойствие Нестерука, ждавшего ответа.

— Чего ты лезешь? Ты ж не председатель, ты только его свояк. Вы бункера набираете, а мне остатки... Тебе рубли, мне копейки! — Наганов прыгал перед глыбистым, сутуловатым Нестеруком, задыхаясь от непонятной нормальному человеку ненависти.

Леша, наверно, тоже подумал: ударит Наганов старика. Поставил свою миску в траву и подошел поближе, готовый в любую минуту, если понадобится, зашвырнуть тощего Наганова в его пустой бункер.

— Брось, Наганов, ничего ты им не докажешь,— донесся голос Соловьева.— Думают, наше звено можно как хочешь объегорить, «гривы» за ними подбирать...

— Будешь ехать назад — подберешь,— вымолвил тихо Нестерук и пошел к машине получать свою порцию — тот же кусок телятины, тот же красный помидор, тот же ломоть ржаного хлеба...

Иногда простая истина, над которой раньше ты даже не задумывался, вдруг обернется для тебя острейшей проблемой. Вот едят люди один и тот же хлеб,— а один человек становится героем, другой — подлецом. И не дает душе отдыха мучительный вопрос: почему же так получается, почему?!

Наганов «гриву» не сжал, демонстративно проехав рядом с ней.

Вечером, уже в темноте, при фарах, по пути домой, Нестерук отыскал брошенный клочок пшеницы — и через минуту он просыпался в бункер янтарной струйкой. Сегодня мы намолотили 21 тонну, и эта хлебная струйка не оставила следа в нашем дневном намолоте. Так почему же я не забыл о ней, почему помню вот уже полгода?

31 ИЮЛЯ

Нечего жать. Зерновые в колхозе посеяны в основном по торфяникам и потому созревают позже. То, что было на супесях и поспело раньше, мы убрали. Председатель решил два дня подождать, чтобы хоть немного подошла рожь.

Сегодня возились с комбайном: меняли масло, регулировали узлы, герметизировали все щели, через которые могло выпасть хоть одно зернышко.

1 АВГУСТА

Воскресенье. Целый день шел дождь. Председатель объявил выходной. Это первый выходной в колхозе за последний месяц: была работа не менее ответственная, чем жатва,— закладка сенажа. Следующий выходной будет не скоро — после жатвы, после озимого сева, после картошки. Все понимают это.

2 АВГУСТА

Всю ночь я слышал, как идет дождь.

С утра небо свинцовое, а дождь мелкий и нудный, как осенью.

Комбайнеры собрались возле мастерской, чтобы ехать на поле. Скучали, играли в карты, невесело шутили в адрес небесной канцелярии, перепутавшей погоду.

— Идите по домам, хлопцы,— сказал председатель.— Подождем до завтра.

Дождь шел до вечера.

3 АВГУСТА. ЧТО МОЖЕТ РАЗВЕСЕЛИТЬ ЛЮДЕЙ

Холодное утро с росой.

В поле выехали в 10 часов. Сразу за Новоселками нас встретила высокая густая рожь. Солома была влажная, подождать бы часок, пока подсохнет. Да как ждать, если на календаре 3 августа, а впереди непочатый край работы?

Леша врезался в рожь полной жаткой — и через десяток метров в комбайне послышался утробный грохот. Влажная масса накрутилась на барабаны и намертво заклинила их. Подняли все крышки, вскрыли люки, полезли внутрь комбайна, и там, в железной тесноте, рвали, резали проклятую солому, крепкую, как проволока.

— Не надо было брать на полную жатку,— посочувствовал один комбайнер.

— А что, стоять, как ты? — огрызнулся Леша.

— Так и ты же стоишь,— уколол комбайнер и отошел.

Игнат Игнатьевич Лешу не упрекал, работал молча, везде старался влезть сам, в узкий люк втиснулся с проворством юноши.

Солому из молотильного аппарата выдирали добрый час. Все это время остальные шесть комбайнов стояли, никто не рискнул въезжать в рожь. Освободив барабаны, Нестерук сел за руль и упрямо двинулся по загонке, начатой Лешей. Молотилка работала нормально. Следом, друг за дружкой, словно боясь сбиться с проторенной дорожки, двинулись остальные комбайны.

Через полчаса потемнело, заморосило. Комбайны стали. Люди собрались вместе, не прячась от мелкого дождя, курили, поминали бога и черта. Кто-то, как водится в мужской компании, начал рассказывать анекдот, но быстро замолчал, натолкнувшись на пассивность слушателей. Только одно могло развеселить людей — хорошая погода, успешная жатва, полные бункера зерна. Яркое солнце, ясное небо занимали сейчас умы и сердца этих хмурых мужчин. Никто не заикнулся, что-де по домам, мужики, раз такое дело с погодой. Все ждали солнца, и это нетерпеливое желание ясной погоды само по себе возвышало людей духовно. Через уборку, через хлеб они были связаны сейчас с небом и землей, друг с другом, со всем миром. И если так, то зачем человеку другие увлечения, кроме работы? Работы, подчеркиваю, успешной, окрыляющей, придающей жизни смысл. Вот если нет такой работы, если неудачи следуют чередой, тогда опустошается душа человека, а пустоту необходимо чем-то заполнять... Чем?

Помолчали, покурили мужики под дождем, и все сошлись на том, что этак можно совсем закиснуть, и чтобы такового не случилось, надо посылать агронома в контору за премией, причитающейся за первый день жатвы, а в помощь ему снарядить двух человек, дабы по дороге назад они забежали в магазин и взяли что полагается... по случаю премии.

Агроном и двое подручных отбыли. Ожидание наполнилось иным смыслом.

Точно по распорядку, в 13.00, прибыл обед. Грузовичок направился прямо к толпе механизаторов, как вдруг один из них кинулся наперерез машине с воплями: «Стой! Стой!» Неподалеку, в густой траве, стояла батарея бутылок с «лучистым крепким», и грузовичок чуть не накрыл ее.

За обедом было весело, слышались возгласы:

— Иван, по скольку на брата?

— Бутылка на двоих,— деловито отвечал распорядитель Иван.

— Ну, хлопцы,— за погоду!

И погода пришла. Луч солнца вырвался из-за туч и начал быстро подсушивать рожь. Пришло то, чего так желали с утра, однако ожидаемой радости не принесло. С утра люди томились без работы, желали работы, ненавидели слякоть, а сейчас, вылив, стали равнодушными ко всему, вроде выровнялись характерами: злые стали добрее, а добрые — злее. Соловьев, например, принялся на повышенном срезе гонять по полю, а мой Игнат Игнатьевич вроде бы и не замечал этого...

В комбайне Наганова загорелась солома. Откуда-то изнутри валит дым, а откуда — поди разбери.

Комбайнеры собрались вокруг и гогочут, подкалывают Наганова; пожар вызвал не тревогу, а этакую хмельную радость. И некому было вернуть людей в их естественное состояние, нарушенное «лучистым крепким». Главный агроном Тихоходов, полнеющий не по дням, а по часам парень, роздал премиальные червонцы и куда-то исчез, чтобы не видеть дальнейших событий. Из начальства остался только Петя Руцкий, бригадир тракторной бригады, привыкший делить с механизаторами все тяготы полевой жизни и отвечающий, как он сам выразился, за то, чтобы «техника крутилась и вращалась».

Техника крутилась на пяти гектарах. Волчком вертелась — так ей было тесно... На крутых поворотах комбайны не убирали — утюжили рожь, оставляя за собой несжатые, придавленные к земле колосья. Комбайны ходили друг за другом, уступом, так, как обычно снимают в кино, желая показать в кадре побольше техники. Испортился один комбайн — другие идут на обгон, придавливая делителем жатки рожь, оставляя острова и «гривы». Пять гектаров таяли на глазах и к 17.00, за каких-то два часа, растаяли полностью: что помяли, что подобрали кое-как. «Колос» постоянно ломался, намолотили мы всего два бункера. Это около трех тонн.

Пять гектаров смахнули — куда дальше? «В Боровки»,— распорядился бригадир тракторной бригады Петя Руцкий. И опять трехкилометровый марш семи комбайнов, так сказать, концентрированный бросок. Интересно, кто придумщик такой тактики,— председатель, агроном, бригадир? Пожалуй,— никто. Нет тактики. Ведь, казалось бы, куда проще было отправить одно звено в Боровки утром, и тогда не пришлось бы убивать средь бела дня полчаса на маршбросок, а здесь, у деревни Новоселки, не пришлось бы утюжить умолотную рожь, которая и без того была поутюжена автомобильными шинами и разными бродягами.

Лирическая тропинка во ржи воспета на все лады. Рожь привлекает, рожь навевает мысли, рождает чувства... В одной книжке я вычитал, как трое мужчин-лириков остановили машину, вошли в рожь и полежали там. Комбайнеры, заметив такие лежки лириков, матерятся. Вдавленные колосья остаются на земле. Учтите это, лирики.

В Боровках убирали до темноты. Тропинок и лежек во ржи там было меньше: Боровки — деревенька малая, следовательно, лирики туда заглядывают реже. Намолотили сегодня 14 тонн. Это — мизерный результат. Внешне Нестерук и Леша спокойны. Но я-то знаю...

4 АВГУСТА. ПУСТОЙ ДЕНЬ И ПОЛГОДА ЖИЗНИ

Каждое утро просыпаюсь с мыслью: как погода?

День обещал быть ясным. Крупнозернистая роса сверкала на комбайне, когда мы бодро делали ежесменный техуход, надеясь сегодня хорошо поработать. Но...

Смазывая комбайн, Леша обнаружил неисправность: полетела ведомая звездочка отбойного битера. Маленькая деталька, а работать без нее комбайн не будет. Нестерук отправился в Новоселки, чтобы снять нужную деталь со списанного комбайна. Нестерук знал: на складе запасной звездочки нет.

А нам с Лешей что оставалось делать? Пообедали — и опять на боковую, на свежую копешку. Попробовали вздремнуть — не дремлется.

Игнат Игнатьевич приехал в 16.00. Был хмур, седая щетина колюче блестела. Со списанного комбайна звездочка не подошла: как-никак «Колос» — марка новейшая. Пришлось стать изобретателем. Нашли на свалке подходящую по размерам звездочку, приварили к ней шейку, расточили ее внутри на конус, вырубили шпоночный паз... На рационализацию ушло шесть часов драгоценнейшего уборочного времени.

— Вы обедали, Игнатович? — спросил Леша, повертев в руках «схимиченную» звездочку.

— Ты, Леша, как дитя! — рассердился Нестерук.— Ну какой тут кусок в горло полезет!

— Игнатович, надо! — решительно сказал Леша, не обращая внимания на сердитый тон Нестерука.— В кабине обед.

Нестерук полез в кабину. Мы принялись ставить звездочку. Чтобы она быстрее села на вал, решили «помочь» ей увесистым молотком. Через минуту прибежал встревоженный Игнат Игнатьевич, отобрал у Леши молоток, дожевал хлеб, закричал:

— Что вы делаете?! Вал может сместиться в сторону, и звездочка полетит к черту!

Больше в кабину Игнат Игнатьевич не поднимался, про обед забыл.

— Не будет работать,— сказал Леша,— завтра сломается.

— Будет! — твердо констатировал Нестерук.— Она, сука, полгода жизни мне стоила!

(Звездочка работала до конца жатвы. Ровно через месяц, 4 сентября, в колхозе будет убран последний гектар овса. Нестерук пригонит свой «Колос» к мастерским, а назавтра, с утра, заведет свой синий «Беларусь», прицепит к нему сеялку и поедет на то же поле, теперь уже вспаханное и

прикатанное, где недавно становился на колеин, чтобы отыскать в стерне упавшие зернышки...

Закончится сев, настанет новая страда — уборка картофеля. Самая ответственная и самая тяжелая работа для механизатора — работа на картофелеуборочном комбайне. Нестерук пойдет на комбайн. Но председатель, Иван Гаврилович Корневич, скажет ему: «Ты отдохни, Игнатович. Не в наши-то годы так крутиться. Бери прицеп, будешь отвозить от комбайна картошку. Все-таки полегче. А комбайн поручим Демидовичу? Как думаешь, справится? — Председатель хитро и весело прищурится и добавит многозначительно: — Твой же воспитанник...» — «Справится,— буркнет Нестерук.— Что ты, не знаешь его?»)

В 17.00 въехали в загонку. За руль сел Нестерук: все-таки волновался за звездочку, хотел опробовать сам. Занятые этой звездочкой, мы не заметили перемен, происходивших на небесах. Оказывается, пока возились, собрались тучки и пошел дождь.

Сегодняшний намолот — 400 килограммов ржи. Пустой, зряшный день... Трое мужчин, сбившись в тесной кабине комбайна, слушали шелест дождя, властвовавшего над полем, над техникой, над людьми. Мы не сердились на дождь, понимая и принимая его власть. Но мы не понимали, почему на колхозном складе не оказалось той копеечной звездочки, из-за которой сегодня потеряны рубли, много рублей. Этого никто из нас не понимал и не принимал. Мы могли бы сердиться на колхозного инженера Клевко, обязанного обеспечить нас запчастями, мы обязательно возмутились бы, если бы не знали, что в поисках запчастей он сбился с ног. Вот и сегодня он звонил на базу районной «Сельхозтехники», и ему ответили: «Нет». Нет запчастей. Хоть караул кричи, как говорит Леша,— а нет. Хоть смейся, хоть плачь — нет. Возмущайся, нервничай, теряй покой и сон — комбайн этим с места не сдвинешь: нет малюсенькой копеечной железки. И, что особенно горько, обидно, к отсутствию запчастей привыкли. Не возмущаются, не нервничают, воспринимают дефицит, как табличку на пивном ларьке: «Пива нет». И только самые нетерпеливые спросят иногда: «А почему, собственно, нет? Должно быть!»

Сегодня таким нетерпеливым оказался Игнат Игнатьевич.

— Вы видели, сколько железа вокруг нашей мастерской? — сказал он, не выдержав долгого молчания в кабине.— Хватило бы на звездочку?..

Каждый из нас задумывается над причинами всевозможных недостатков, встречающихся в жизни. Каждый приходит к определенному выводу. Назовите свой вывод — и будет ясно: борец вы или нытик. Та или иная реакция на недостатки свидетельствует о степени политической и гражданской зрелости человека, а это, в свою очередь, накладывает отпечаток на его практическую деятельность.

Комбайнер Игнат Игнатьевич Нестерук, не найдя на складе грошовой детальки, не ныл, как кто другой, не предпочел сидеть сложа руки в ожидании звездочки, он решил изготовить ее самолично. Его вынужденное рационализаторство — не просто свидетельство высокой квалификации, отличного знания техники, большого механизаторского опыта. Это еще и несомненное свидетельство высокой ответственности комбайнера перед хлебным полем, перед государством.

Детальку он сделал, однако мучительные раздумья не покинули его. Почему же на складах — колхозном и районном — нет этой злосчастной звездочки? Может, и вправду где-то не хватило на нее металла? Так вот он, вокруг мастерской ржавеет тоннами, надо бы собрать, погрузить, отправить куда следует.

Это размышления государственного человека, а не рядового комбайнера Нестерука, которого я назвал бы большой «ходячей» школой молодого механизатора Алексея Демидовича. Не у всех есть в жизни такая школа.

Шел дождь. На ржаном поле стояли семь комбайнов, пять из них стояли с утра. Причина та же — нет запчастей. «А почему нет?» —думали члены экипажей, и каждый приходил к своему ответу...

На комбайне Наганова еще вчера сломался вариатор — огромный шкив килограммов под семьдесят. Желчный Наганов ходил вокруг комбайна, пинал ногой гусеницы, задавал главному инженеру Клевко издевательский вопрос:

— Вариатор достал?

— Не мучай ты меня! — вскричал вспыльчивый, как порох, Клевко.— Руцкий ищет вариатор. Ты же знаешь.

Наганову было досадно самому, и ему, видимо, хотелось досадить другому. Проходил час-другой, Наганов приставал к главному инженеру:

— Давай вариатор.

— Пошел ты к...— Клевко не выдержал, понимая, что Наганов издевается.

— Я видел вариатор у Козича,— вспомнил кто-то,— он запасной возит.

Клевко с досадой швырнул сигарету.

— Что ж ты раньше не сказал?! — И, обращаясь к Наганову: — Ты видел?

— Видел. В гробу я видал старый вариатор. Ты мне новый дай!

Клевко взорвался:

— Рожу я тебе вариатор! Поставил бы старый — работал. Мозгами лень пошевелить, все тебе дай... Поехали! — Главный инженер кинулся к молодому шоферу, лениво лежавшему на соломе.

— Куда? — сонно спросил шофер.

— К Козичу. Привезем вариатор.

— Я вам не «летучка»,— ответил шофер и лег на солому.— Мое дело отвозить зерно.

— Дай ключи! — Клевко побелел, голос его срывался.

— Не дам. Не имею права.— Шофер явно потешался.

— Пиши заявление! Уволю. К чертовой матери таких работников! — разошелся главный инженер.

— Хоть два заявления. Пожалуйста,— шофер бросил ключи.— Принимайте машину, товарищ инженер.

Козич переехал на другое поле. Минут через двадцать Клевко привез вариатор — старый, но вполне исправный.

— Немедленно ставь — и за работу! — приказал Наганову.

Наганов нехотя потащился за помощником, спавшим в копне.

И тут закапали первые дождинки.

А в это время бригадир тракторной бригады Петя Руцкий был в пятидесяти километрах от колхоза «Вперед», он вез на «летучке» вариатор. Петя с утра ничего не ел, был голоден и, естественно, зол на весь мир, но целый день ему пришлось улыбаться, пускать в ход дипломатию, на какую только он был способен. В «Сельхозтехнике», не заметив его обаятельной улыбки, сказали: «Нет вариаторов». Руцкий в душе выругался и поехал по району. В четырех колхозах улыбка тоже не помогла, а в пятом... клюнуло! «Есть у нас вариатор,— сказали в колхозе,— привезли недавно с ремзавода. Хороший вариатор, но...» — «Все, что хотите, в обмен!» — взмолился Руцкий. «А что у вас есть?» — деловито осведомился хозяин вариатора. «Наклонный транспортер, детали к рулевому «газика», подшипник №...» — начал быстро перечислять Руцкий, радуясь, что достал-таки вариатор, и печалясь, что в обмен придется отдавать дефицитные части... (Петя Руцкий, с удовольствием поглощая принесенные кем-то яблоки, потом рассказал о своих похождениях механизаторам, потому я и смог воспроизвести здесь этот диалог.)

Сегодня по случаю дождя Наганов не поставит вариатор, привезенный Руцким. Завтра утром трое мужчин поднимут тяжелую круглую железяку и потащат к комбайну.

— Стойте! — неожиданно прикажет им Нестерук.— Положите. Проверьте болты.

Наганов проверит болты. В одном резьба будет сорвана: кто-то на заводе не завернул болт, а просто сунул в дырку.

— От работнички, от сволочи! — Механизаторы будут по очереди смотреть липовый болт и возмущаться.— А жрут наш хлеб! Хорошо, что проверили. Ай да Игнатович!

— Хватит вам,— спокойно усмехнется Нестерук.— Вы что, первый год замужем? Поверишь ремзаводчикам — будешь горе мыкать...

Это, повторяю, будет завтра, а сегодня...

За день комбайнер Осельчук так и не смог пройти в другой конец поля. Сядет за руль, проедет пару метров — шнек забивается соломой; повыдергивает солому, снова сядет за руль, снова троится — то же самое...

Собрались вокруг механизаторы, председатель подошел, главный инженер, ремонтники... Каждый предполагает какую-то причину; проверили — а сдвигов никаких, солома наматывается на шнек.

— Пусть она сгорит, такая работа! — осерчал не на шутку длинный, как жердь, Осельчук.— Мне детей кормить надо, а сегодня копейки вышли. Вот в 1958 году за жатву 400 выпало. Увольняюсь я, председатель. Хватит.

Осельчук — пришлый человек. Живет он в деревне, отделенной от колхоза «Вперед» двадцатью километрами, тремя хозяйствами и границей районов. Комбайнером Осельчук работал всего один сезон, в 1958 году, затем двенадцать лет был киномехаником, затем ездил в дальние края за длинным рублем. За тем же рублем он прибыл и в колхоз «Вперед», прослышав, что здесь хорошо платят. Председатель Корневич понимал, что берет не ахти какого комбайнера, но где же взять хорошего? Кого посадить на комбайн сейчас, вместо Осельчука, где найти замену?.. Эти мысли занимали председателя, пока психовал Осельчук.

В 16.00, как я уже говорил, Нестерук привез звездочку.

— Глянь, Игнатович, что там у Осельчука,— попросил председатель.

Нестерук сел за руль, глянул на тучную рожь перед комбайном, переключил несколько рычагов и — поехал, поехал, поехал! Механизаторы гурьбой шли за комбайном, наблюдали за шнеком: солома не наматывалась.

Нестерук остановил комбайн, слез на землю.

— Ура деду! — истошно крикнул кто-то.— Качать Игнатовича.

Мы пару раз подбросили грузного Нестерука. Он поправил съехавшую шапку и хмуро сказал всем сразу:

— Думать надо! Жито высокое, густое. А обороты мотовила в три раза превышали обороты шнека. Соломы шло много, она накручивалась.— И пошел к своему комбайну ставить звездочку.

Осельчук заиял свое место за рулем. Увольняться ему уже расхотелось. Но до конца поля не дошел: начался дождь.

У комбайна Соловьева с утра забило барабан. Длинная работенка — очистить барабан... Очистили, поработали полчаса — сломался наклонный транспортер. Починили. Вошли в загонку, намолотили полбункера — полетело крыло вентилятора. Занялись ремонтом — не закончили из-за дождя.

Соловьев, стоически терпя неполадки, был замкнут, курил не переставая, работал остервенело. Таким он мне понравился.

В пятом комбайне заклинило двигатель, хотя его только что привезли из капитального ремонта. Комбайнер разнервничался, накричался почем зря на главного инженера, доконав его окончательно. Издерганный, подавленный, Клевко уже был не в силах ругаться. Весь день он помогал механизаторам откручивать и закручивать гайки, варить, долбить, брался за самую грязную

работу, выпачкался — и не заслужил ничего, кроме насмешек комбайнеров, называвших его за глаза слесарем-инженером. Сдержанный Нестерук и тот не выдержал, когда Клевко взялся заколачивать на вал звездочку; Игнат Игнатьевич отнял у главного инженера молоток и раздраженно сказал: «Это я должен делать».

Позже, пережидая в кабинете непогодь, Нестерук возмущенно говорил нам: «Нет у нас хорошего главного инженера. Везде лезет сам, подменяет механизатора. А ты за молоток не хватайся, ты думай. Извилину напрягай, почему на шнек наматывает... На то ты специалист. У специалиста должны быть бумага, перо и указательный палец. Чистый палец, не выпачканный в мазуте».

Вдруг дождь зашумел сильнее — в кабину ввалился Нестерук-младший, краснощекий толстячок двадцати шести лет. «Загораете, лайдаки! — весело сказал он, протискиваясь подальше от мокрой двери.— Я уже три рейса сделал, а вы ни с места». Борис — шофер, возит на железнодорожную станцию витаминную муку. Сегодня он второй раз заехал к отцу на поле. Сам шутил, а глаза вопросительно посматривали на отца. «Подошла звездочка, батя?» — « А куда ж она денется»,— ответил Игнат Игнатьевич. «Ну, раз такое дело — на, заслужил! Твои любимые». — Борис, балагуря, протянул отцу пачку сигарет. «Служу трудовому народу!» — Игнат Игнатьевич поддержал шутку. В отношениях отца и сына чувствовалась та непринужденность, то взаимопонимание, которые бывают только у любящих и живущих общими заботами людей. Ведь Борис заскочил к нам не просто побалагурить — та звездочка и ему не давала покоя весь день.

...Вконец проголодавшийся, без обеда, без ужина, Петя Руцкий уже был на подъезде к колхозу «Вперед», он пока не знал, что в добытом тяжелыми потерями вариаторе болт без резьбы. Знал это один-единственный человек — слесарь с ремзавода, который сейчас, возможно, уже ужинал. Когда он ставил в вариатор бракованный болт, то знал, что комбайном убирают ХЛЕБ, что неисправный комбайн ХЛЕБА не уберет и тогда ХЛЕБ сгниет. Все это он прекрасно представлял, но бракованный болт все равно поставил и где-то сейчас спокойненько жует ХЛЕБ. Ужинали и те, кто плохо отремонтировал двигатель, вышедший со строя сегодня, и те, кто не отправил в колхоз «Вперед» крайне необходимые запчасти,— все уминали ХЛЕБ за обе щеки...

Нет такого закона: схалтурил на работе— ляжешь спать натощак.

5 АВГУСТА. ПОДОЖДЕШЬ—ПОТЕРЯЕШЬ...

Утро. Ясно. Холодно сверкает роса.

К комбайнам подъезжает машина с механизаторами.

— Хлопцы, а жито почернело. Добрее солнце на него надо,— говорит Виктор Козич, оглядывая из кузова поле.

Начали убирать в 11.30. Рожь подсохла, но еще не созрела. Вылущишь зернышко — а оно не сформировалось, не закрутилось в тугой комочек, еще расплывается. Сожмешь в кулаке жменю такого зерна — а с него капает.

Игнат Игнатьевич зачерпнул из бункера горсть, понес председателю.

— Я б не убирал, если б был председателем. Подождать надо дня три.

— Сейчас подождешь три дня, а потом потеряешь десять. Ты ж не первый год на комбайне, Игнатович.

— Не первый... — Нестерук вздохнул и потянулся к бункеру, чтобы высыпать туда горсть зерна, увеличить так называемый бункерный вес.

Успех жатвы в том, чтобы провести ее в оптимальные сроки. Через несколько дней эти мягкие зернышки напьются твердью — тогда-то и наступит лучшее, с точки зрения качества, время уборки. Время крайне ограниченное — пять-семь дней. Это и есть оптимальные сроки жатвы. Председатель наперед знает, что семью комбайнами в оптимальные сроки не уберешь, поэтому растягивает время уборки, сознательно «забывая» свои агрономические знания. Сейчас мы доберем бункер, выпустим в кузов самосвала около двух тонн серо-зеленой массы, которую трудно назвать зерном. Через пятнадцать минут самосвал сгрузит эту массу возле сушилки, затем транспортеры подадут ее в огнедышащий барабан— и еще через пятнадцать минут на другом конце сушилки полетит из трубы поджаренно-горячее, сморщенное, тощее зерно. От бункерного веса останется лишь синий дымок над крышей сушилки.

Так будет продолжаться, повторяю, несколько дней, пока рожь не созреет. И тогда наступят лучшие сроки уборки, самые радостные для комбайнера дни: в бункере будет сверкать полновесное зерно.

Но лучшие сроки быстро истекут, рожь перезреет и начнет высыпаться, а комбайнера вновь одолеют душевные муки...

Все это у нас впереди. Жатва в колхозе затянется до 4 сентября, несмотря на то, что начата заранее. Сейчас мы теряем зерно потому, что оно недозрело; затем втрое больше будем терять потому, что зерно перестоит на корню. Где же выход? Быстрее, как можно быстрее убирать! Чтобы убирать быстрее, нужно больше комбайнов, и хороших комбайнов.

Вчера председатель звонил в райком партии, жаловался на «Сельхозтехнику». Сегодня утречком Петя Руцкий приехал из «Сельхозтехники» оживленный, удивленный:

— Всё дали, что попросили! Даже без бумажной волокиты!

У «Колоса» не открывается копнитель. Досадная неисправность. Чтобы не тратить время на ремонт, Нестерук вручил мне молоток: «Будешь открывать». Полдня я ходил за комбайном и, когда наступало время выбрасывать солому, лупил молотком по клапану копнителя. И он, зараза, открывал-

ся. Леша забрался наверх, на ходу пытался выяснить причину неисправности. Чтобы не свалиться, он лег и пролежал на копнителе часа два, проверяя тяги и рычаги. Затем обрадованно заорал: «Нашел!» — и поспешил в кабину порадовать Нестерука. Неисправность устранили во время обеда.

Намолотили сегодня 14 тонн. Могли бы намолотить в три раза больше. Домой ехали в темноте. Лежали в кузове машины, на соломе, смотрели, как, проскальзывая меж сосен, гонится за ними ясная луна. На погоду.

6 АВГУСТА. СТОП, КАДР: РУКИ В МАЗУТЕ

Солнце с ветерком. Идеальная погода для уборки. Однако комбайн от этого не стал лучше. Вот хроника сегодняшних поломок:

Полетела цепь, приводящая в движение мотовило. Это, в свою очередь, вызвало перекос подшипника звездочки. Ремонт занял два часа, что равно четырем полным бункерам, или семи тоннам зерна.

Согнулся вал мотовила. Ремонтировали полчаса, потеряв около двух тонн намолота.

Порвался приводной ремень вариатора. Простояли полчаса. Зацепили жаткой проволоку, что вызвало поломку четырех сегментов. Ремонтировались 15 минут.

Другие мелкие неисправности отняли еще час времени.

Итого по техническим причинам «Колос» простоял сегодня свыше четырех часов. Простояли бы значительно больше, если бы не изобретательность Игната Игнатьевича. Попробуй, например, выпрями вал мотовила, если его длина пять метров и никаких приспособлений под рукой. Главный инженер наказал нам разыскать длинную трубу, надеть ее на вал как рычаг и попробовать (попробовать!) выпрямить. Главный инженер предупредил, чтобы не сломали вал окончательно, и исчез. Пока мы с Лешей размышляли, где взять трубу, исчез и Нестерук. Вернулся он с деревянным чурбачком под мышкой и доской. Доску Нестерук положил на землю, на доску поставил чурбачок, на чурбачок положил конец вала, принес тяжеленный лом, приказал Леше: «Бей. Два раза. — Видя, что Леша размахнулся на полную мощь своих мускулов, предостерегающе добавил: — В пятьдесят процентов силы!» Леша стукнул. Нестерук, сощурив глаз, долго осматривал вал, затем, повернув его нужным боком, приказал еще: «Стукни. Один разок». Леша стукнул — и вал выпрямился.

На неисправности у Нестерука какое-то особое чутье. Слетела цепь. «Звездочка криво стоит, валик согнут»,— решил главный инженер. Выпрямили валик, поставили звездочку, надели цепь, включили — цепь опять слетела. Сняли звездочку, Игнат Игнатьевич повертел ее в руках.

— Да тут же подшипник наперекос!

Разобрали — действительно, подшипник наперекос.

— Ну, и нюх у вас, Игнатович! — удрученно, однако не скрывая восхищения, заметил Клевко.

— Без этого нюха на поле делать нечего,— не совсем любезно ответил Нестерук.— На печке лежи, нюхай овчину.— И начал сердито вытирать соломой руки, перепачканные черным мазутом.

Стоп, мгновение! Перед глазами этот кадр — руки в мазуте. Рабочие сильные руки крестьянина, труженика.

Механизатор — главная фигура на селе. Этого не оспаривает никто. Вот только кто он такой, сельский механизатор,— мы пока не уяснили. Он пашет, сеет, убирает, косит, то есть делает обычную крестьянскую работу с помощью техники. Если раньше землепашец шел за конным плугом и, как говорится, полной грудью вдыхал запахи свежей пашни, то теперь он сидит в закрытой кабине, вдыхает не земные, а технические запахи. Произошла не только внешняя, количественная замена ручного труда на механизированный (вместо одной лошадиной силы сто пятьдесят),— качественно переменился сам хлебороб. Он как бы отделился от земли, замкнулся в тесном мире кабины, закопался по уши в технических заботах и проблемах — и перестал быть землепашцем, хлеборобом. Он стал водителем трактора, водителем комбайна, водителем косилки...

И мы забили тревогу. Как же, крестьянин теряет чувство привязанности к земле, молодежь покидает деревню потому, что не чувствует, как легко дышится на полевом просторе, как прекрасно на душе при виде созревающей нивы, как призывно пахнет свежая пашня... Я читал множество книг с подобными излияниями отпускников, дачников и командировочных, в которых вдруг (именно вдруг!) проснулась будто бы издревле присущая выходцам из деревни тяга к земле. Жаль, что за неимением свободного времени эти книги не прочитал Нестерук, он бы наверняка послал их авторов на дедовскую печку нюхать кислую овчину.

Современному крестьянину, то бишь механизатору, нужен прежде всего, как сказал Нестерук, «технический нюх», иными словами, технические знания. Они не разрушают в крестьянине мифическое «чувство земли», они освобождают его от власти земли, той власти, которая веками держала деревенский люд в забитости, в бесхлебье, хотя веками призывно пахла свежая пашня и была прекрасна созревающая нива. Следовательно, это всего лишь производственный фон, который сам по себе не приносит человеку ни счастья, ни удовлетворения, фон, который лишь подкрашивает работу определенной спецификой, но ни в коем случае не определяет отношения человека к своей работе, не выражает сущности работника, его души. Суть скорее всего в самом работнике, в его профессиональных, нравственных, политических качествах.

Не «чувство земли» заставляло Нестерука ложиться и искать в стерне зерна, а чувство ответственности. Попади Нестерук в другие производственные условия, допустим, в заводской цех,— с тем же чувством ответственности он искал бы на детали лишний микрон, который, как и зернышко на поле, ничтожно мал, но служит достаточным мерилом человеческой совести.

Да, Нестерук в первую очередь прекрасный водитель комбайна и в этом отношении ничем не отличается от прекрасного водителя городского автобуса, хотя работа у них разная: водитель автобуса смотрит за тем, чтобы подобрать, не помять зазевавшегося пассажира; водитель комбайна — чтобы не примять, не оставить на поле колоски. Почему же, говоря о комбайнере, мы желаем видеть у него «любовь» к земле, «чувство» нерасторжимости с землей? В таком случае городской водитель должен иметь «чувство» асфальта, что является уж явным абсурдом. Не о специфических чувствах, унижающих и закрепощающих человека, надо вести речь,— о совести, чести, призвании, любви к работе, к избранной специальности...

Да, современный крестьянин «отрывается» от земли по той простой причине, что обрабатывает землю с помощью техники. Причем молодой механизатор Алексей Демидович «оторвался», отошел от земли дальше, чем его учитель Нестерук, сохранивший еще некоторые черты хлебопашца. Демидович, если можно сказать, еще больше водитель, крестьянская работа для него — это просто работа, как всякая другая. Объектом приложения труда своего он считает не землю, не поле, а трактор, комбайн. Помните, Леша не пускал Нестерука в пшеницу, где обнаружил бугры и ямы? В тот момент он совершенно забыл, что его работа — убирать хлеб. Он заботился только о комбайне и был прав. Во-первых, без комбайна не уберешь хлеб. Во-вторых, сделать поле ровным — забота агронома и того тракториста, кто здесь пахал и прикатывал. Разделение труда, специализация? Да, разделение труда, специализация в сельском хозяйстве происходит то же, что и в промышленности. Каждый делает свое дело, постепенно отрываясь не от земли, а от общего результата. Проблема общая и для сельскохозяйственного, и для промышленного производства. Эта проблема, пожалуй, не родилась бы, если бы каждый делал свое — специализированное — дело хотя бы хорошо. Увы, делают и отлично, и хорошо, и... плохо, в результате недовольны друг другом и самим собой.

Общий наш результат — хлеб. Хотя мы и хорохоримся порой без надобности: не хлебом единым, дескать... Хлебом, батюшка, хлебом! Ведь говорим мы о своей работе: мое дело, мое ремесло, мой хлеб. У каждого хлеб свой, любимый или нелюбимый, но свой. У сельского механизатора хлеб несладкий: подводит погода, подводит техника. Видел однажды в кино: стоят трактористы, мнут в руках комья почвы, изображают, так сказать, любовь к земле... Не надо заставлять людей делать то, чего они не делают в повседневной жизни. И если уж вымазаны у механизатора руки, то не землей, а машинным маслом, соляркой, мазутом. Вид созревающей нивы не доставит ему никакой радости, если прежде не доставит радости исправно работающий мотор трактора или комбайна. «Любовь к земле» — это не какое-то чисто крестьянское чувство, а более большее понятие — любовь к месту, где живешь, к делу, которому служишь. Такая любовь может быть или не быть, но это, как говорит Нестерук, второй вопрос. Как часто бывает: нет любви, а человек работает, потому что поздно уже что-либо поменять, исправить; работает, находя радость в другом,— в бутылке, в деньгах, в дутой славе. Видел я таких на заводе, видел в колхозе «Вперед». Сегодня вместе с Нестеруком наблюдал, как работают Соловьев и Наганов.

— Ты посмотри, какие хитрые ребята! — неожиданно воскликнул Нестерук.— Ждут, пока мы начнем гонку.

Я не сразу сообразил, о чем говорит Игнат Игнатьевич. А когда понял, немало удивился. Оказывается, несмотря на исключительную занятость, Нестерук успевал зорко следить за действиями других комбайнеров (вот она, никогда не слабеющая сила соревнования!). Комбайны по-прежнему работают скопом, ходят друг за другом, обгоняют, мнут хлеб. Такая тактика объясняется довольно просто: комбайнеры боятся упустить лучший, более намолотный участок и потому караулят друг друга, как соперники-футболисты. Такая игра надоела до чертиков. Только займет Нестерук новую загонку, глядишь, через пару минут Соловьев тут как тут. А когда загонка кончается и пора переходить на новую, у Соловьева вдруг «портится» комбайн. Маленькая, подленькая хитрость. Она и возмутила Нестерука. Дело в том, что начинать загонку труднее: идешь по целине, ничего не видно, можешь наловить в молотилку камней, проволоки и чего угодно.

— Проведем эксперимент,— сказал Нестерук,— кто кого перестоит.

Мы подобрали последнюю «гриву», остановились и начали «ремонтироваться», наблюдая, что делают Соловьев и Наганов. Оба ходили вокруг своих комбайнов, заглядывали почему-то в копнитель, обрывали соломинки, застрявшие в крыльях мотовила. Томились ребята, карауля нас. Однако мы решили «перестоять», благо нашлось и занятие: копнитель открывался, но теперь уже не закрывался. Минут десять возились мы с копнителем. Соловьев бродил вокруг комбайна.

— Наш человек вел бы себя по-другому,— сказал Нестерук и, повернувшись ко мне всем телом, вперил в меня хмурый взгляд, словно это я был Соловьев: — Перед людьми же стыдно, пойми ты, сукин сын!.. Поехали, Николаевич.

Гонка была не длинной, метров пятьсот. Дошли до середины, я оглянулся: в прожатый нами коридор въезжал комбайн Соловьева, следом тянулся Наганов. Игнат Игнатьевич насупленно смотрел на поле: перед комбайном лениво пошевеливалось море колосьев.

— Ты, Николаевич, можно сказать, местный,— заговорил Нестерук, не отрывая взгляда от поля.— Разве есть у нас такие пройдохи? — Помолчал, сам же ответил: — Есть, конечно, всякие. Да не всякий отважится на пакость. Вот в чем вопрос! Напакостишь, а потом как глянуть в глаза людям? Отец тут, мать, родня, соседи... Не то, что у этих, Соловьева, Наганова. Залетные, ни страха, ни совести перед обществом.

Игнат Игнатьевич имел в виду не общество в широком смысле слова, а то, что раньше, в дореволюционной деревне, называли «обчество». Собрался сельский люд на сход, и «обчество» решило, кого наказать, кого помиловать. В современной деревне отголоски общинности довольно-таки крепкие: «А что люди скажут?..» И это, естественно, служит неким сдерживающим началом, характерным для сельского жителя. Один социолог, исследующий причины внебрачной рождаемости в крупном городе, подсчитал, что лидируют в этом отношении сельские девушки, только-только ставшие горожанками. Социолог делает вывод, что сексуальная свобода — это следствие городской свободы, которая держит новоиспеченных горожанок в своеобразном «радостно-бездумном» шоке.

Сейчас много пишут (чаще всего с тревогой) о миграции сельского населения в город. Однако в последнее время усиливается обратный поток — из города в деревню, и особенно быстро растет внутрисельская миграция — из деревни в деревню. Кто бывал в колхозе «Прогресс» Гродненского района или в совхозе «Малечь» Березовского района, тот не мог не заметить, что в этих хозяйствах люди собрались чуть ли не со всего света. Хозяйства богатеют, строят современные поселки, и люди охотно едут туда. Процесс естественный.

Леша Демидович тоже мигрант, в колхоз «Вперед» он переехал из соседнего хозяйства. Из-за Леши между двумя председателями была даже маленькая «драчка»: коллега-сосед обвинил Корневича в том, что тот сманивает у него хороших трактористов. Корневич, конечно же, не сманивал, хотя квартиру Демидовичу дал немедленно. Но не квартира привлекла Лешу в колхозе «Вперед», ее он мог получить и в своем селе, где, кстати, тоже ведется жилищное строительство. Леша не мог жить и работать в родном селе потому, что «обчество» не уважало его, мнению «обчества» невольно подчинялся даже председатель колхоза, и это больно задевало молодого механизатора. Своего отца Леша не знает, мать его «нагуляла». Деревня жестоко осудила женщину, навесив на нее пожизненный ярлык, который по наследству перешел к сыну. Женщина воспитала хорошего человека, честного и работящего, и он решил бросить вызов деревенской молве. Леша ушел из родного колхоза и мать забрал с собой.

Случай этот далеко не единичный. В моей деревне живет рано овдовевшая женщина, работает дояркой, ее фамилия в списках передовиков, однако и это не радует ее. Через несколько лет после смерти мужа у нее родился ребенок, этого деревня простить ей не может... Ни ей, ни детям ее. Но если она терпит, если, несмотря ни на что, растит своего маленького,— взрослые дети не выдержали. Уехала в другую деревню дочка, выучилась на учительницу, вышла замуж, сейчас приезжает домой в гости, говорит: «Меня там люди уважают, а здесь я этого век не дождалась бы». Сын закончил сельскохозяйственный техникум, отслужил, приехал домой. Директор совхоза к нему: «Мне нужны специалисты. Пиши заявление». Парень подумал и ответил совершенно серьезно: «Меня же тут за человека не считают». И поехал устраиваться в другой колхоз.

Деревенское «обчественное» мнение, изобилующее сплетнями и измышлениями, консервативно в своей основе. Внутрисельская миграция разрушает тесный мирок одной деревни, привносит в него свежую струю истинно общественных проблем. Эти самые проблемы волнуют и комбайнера Нестерука, стремящегося докопаться до причин отрицательного поведения мигрантов Соловьева и Наганова. Вокруг них, надо сказать, сложилось стойкое мнение. «А, соловьи делали»,— махнет рукой любой механизатор, и этим все сказано. Фамилия Соловьев стала своего рода нарицательной, стала синонимом халтуры. Трудовой коллектив оценил человека, исходя прежде всего из его деловых и нравственных качеств, которые и легли в основу общественного мнения. Оно выше, нравственнее шепотка «обчества», питаемого сплетнями и выдумками какой-нибудь злобствующей бабы Мазурки (лицо конкретное).

Что касается сдерживающего начала, то оно, по-видимому, прежде всего заложено в самом человеке, а уж потом в обстоятельствах. Вряд ли Соловьев халтурит потому, что приезжий, не наш, как выразился Нестерук. Вон у длинноногого Трубича потерь ничуть не меньше, живые колосья остаются в соломе. А ведь местный, отец-мать живут в Новоселках, родни полно — никого не боится, никого не стесняется. Соловьев же в погоне за намолотом сегодня совсем спятил. Отключил вентилятор — и в бункер валом пошла дробленая солома, полетела полова. А поскольку каждый бункер не взвешивался, поступая в «общий котел» звена, то Соловьев быстро набрал фиктивный вес. Только к концу дня комбайнеры начали кое о чем догадываться. Решили проверить. Самым активным контролером был... Наганов. Вмиг он оказался на комбайне Соловьева, открыл бункер, зачерпнул в шапку содержимое. С комбайна Наганов спускался

медленно, полную шапку нес к механизаторам с какой-то злой торжественностью, вручил шапку одному комбайнеру и кинулся к Соловьеву. Они сцепились, как петухи. Со стороны это было забавно. Забавно, если бы не печально.

В конце дня ко мне подошел председатель.

— Николаевич, сколько сегодня простояли?

— Часа четыре, Иван Гаврилович.

— Ай-я-яй! — неподдельно живая боль слышалась в голосе председателя.— И другие — не меньше... Вот что, Николаевич. Вас на комбайне трое, ты завтра приди часиков в шесть. Отправляю «летучку» на ремзавод, может, хоть что-нибудь достанем. Козич уже был там, а ты поможешь погрузить.

7 АВГУСТА. ПУТЕШЕСТВИЕ НА РЕМЗАВОД

Выехали в полседьмого, погрузив в «летучку» неисправные узлы и детали, которые надеялись обменять на исправные. В пути пытались подремать, да не улежишь на жестко прыгающей лавке. К тому же сваленное в кучу железо разбрелось по всей машине, его надо было ловить, чтобы детали не побились окончательно. Наше неспокойное путешествие скрашивали только анекдоты, Виктор Козич знал их в несчетном количестве и, что особенно важно, умел преподнести к месту и с толком. Козич — весельчак, заводила компании, отличный комбайнер. По намолоту он пока первый. Весной четыре дня потратил на поездки на ремзавод, привез кучу дефицитных деталей для своего комбайна, поэтому простаивает сейчас меньше всех.

У поворота на ремзавод шофер остановил машину, крикнул нам в окошко:

— Виктор, прямо или направо?

— Давай прямо! — ответил Козич.— Заедем возьмем. Туда, где тогда.

— Чего возьмем?

— Как — чего? Этого самого.— Козич пощелкал пальцем по горлу.— Такие дела только через гастроном делаются. Во, тато пятнадцать рублей выписал.

Было полдевятого утра. В соответствующем отделе гастронома висела грозная табличка: «Крепкие спиртные напитки отпускаются с 10.00». Однако полки гнулись от бутылок с крепкими напитками. Две бутылки Козич позасовывал во внутренние карманы спецовки, третью подал мне.

— Спрячь пока, а то у меня заметно очень.

Мой внутренний карман наполнился булькающей тяжестью.

В 9.00 подъехали к воротам ремзавода. Козич сделался озабоченным и отдал распоряжения: шоферу — «Жди здесь. Я позову», мне — «Иди за мной».

Мы пошли. Внутренний карман оттягивал спецовку. Минули контору, направились прямехонько в цех.

— Виктор, может, в контору сначала? А вдруг есть? Сдадим детали, выпишем новые...

— Эхма! — Козич с сожалением вздохнул.— Ладно, пошли, вы-пи-шем!

Мы потоптались перед дверью с надписью «Приемная», поправили спецовки и шагнули за порог. В приемной тишина, пусто. Справа — глухой дерматин директора, слева — дерматин гл. инженера. Мы двинули налево, это направление показалось более надежным, что ли.

Мужчина приятной наружности доброжелательно выслушал нас, посочувствовал, развел руками:

— Рад бы помочь, да не могу. Не могу, братцы! — лучезарно улыбнулся он.— Плановый ремонт. Выполняем заявки обменных пунктов «Сельхозтехники». Советую обратиться на свой обменпункт.

— Ну что, вы-пи-са-ли? — насмешливо передразнил меня в коридоре Козич.— Левее надо брать, Николаевич!

И мы пошли «левее».

Цех встретил нас уверенным гулом. Железо грохотало, ухало, стонало, визжало. Станки выстроились в ровные шеренги и охотно слушались своих повелителей. В широкие окна бил солнечный свет, создавая в цехе атмосферу праздничности. Над головой была крыша. Идеальные погодные условия: не капало, не моросило, не дуло. Не забивало мокрой соломой шнек. Не бередило душу.

— Живут же люди! — воскликнул Козич.— А запчастей наделать не могут. И что им мешает?! Значит, так,— деловито обратился он ко мне,— ищем самого замазанного, он вы-пи-шет всё, что пожелаем.— Козич не мог забыть моего слова «выпишем».

Мы прошли туда-сюда по цеху. Станочники почему-то не нравились Козичу; занятые работой, они не обращали на нас внимания. Наконец, за какой-то сеткой мы увидели мужчину в замасленном комбинезоне. Заметив нас издали, мужчина внимательно посмотрел в нашу сторону; он продолжал смотреть, пока Козич уверенно шел к нему,— мужчина словно догадался, что нужен нам до зарезу.

— Слышь, дело есть,— не поздоровавшись, будто уже встречались сегодня, сказал Козич.

— Ну? — мужчина продолжал для вида копаться в шкафу, позвякивая там чем-то.

— Нужны кой-какие железки,— сообщил Козич.— Сделаем, а?

— Не-а,— мотнул головой мужчина.— Сейчас строго. Жатва. Спешка. За каждой деталькой семь начальников смотрят.

— Так сделаем, а? — перебил его Козич, не проявляя ни малейшего интереса к тому, что говорил ремонтник.— Есть — во...— Козич отвернул полу спецовки.

Мужчина мельком глянул и перестал позвякивать железками.

— Шас, постой,— бросил он Козичу и сразу исчез.

Минут через пять он вернулся.

— А шо нада? — Его словно подменили

за эти пять минут, будто крепко встряхнули, отчего он стал ловчее в движениях.

Козич сказал, что надо.

— Для обмена привезли? — осведомился мужчина.— А то с этим строго.

— Есть, есть! В машине.

— Ну, так... Подгоняй машину, выгружай. А мы тут подготовим...

Через полчаса бутылка, пригревшаяся у моей груди, перекочевала к сердцу ремонтника. В кузове «летучки» лежали свежевыкрашенные узлы и детали. Мы беспрепятственно покинули территорию завода и тронулись в обратный путь.

На родном поле были к обеду. Встречали нас, как героев.

Радость встречи омрачило сообщение Игната Игнатьевича. Утром полетел топливный насос. «Дерьмо насос, ломается каждый год,— сказал Нестерук.— Надо написать на завод». Счастье, что в мастерской был запасной. Пока привезли, пока поставили — полдня как не бывало.

8 АВГУСТА. ЧТО ДАЕТ РАБОТА, КРОМЕ ДЕНЕГ!

Воскресенье.

С утра пасмурно. Нашему звену приказ — переехать на семенную пшеницу. По дороге застиг торопливый ливень. Небо быстро очистилось, заголубело, дорожные лужи солнечно засверкали, парок стоял над полем. Поджидая, пока подсохнет пшеница, мы тщательно очистили бункера от ржи.

Первую загонку отбили в полдень. Пшеница созрела, в полной своей золотистой красе. Зерно янтарное, словно подсвеченное изнутри, трудно удержаться, чтобы не подставить ладони под упругую струю.

Через час загруженная машина тяжело поползла от комбайна. Леша, захватив бачок, уехал за водой.

Машина не возвращалась долго. Прошло пятнадцать минут, которые Слава Корневич обычно тратил на дорогу к зернотоку и обратно. Прошло еще пять минут, которых, по нашим расчетам, вполне хватало, чтобы заскочить в Боровки к первому колодцу и набрать воды. Окна бункера закрылись зерном, Нестерук остановил комбайн. Славы и Леши не было. Игнат Игнатьевич начал нервничать.

— Что за напасть — не комбайн, так машина сломалась! И солнце, как назло, светит...

Машину мы заметили издали и облегченно вздохнули.

— Игг-натович! Уггощайся х-холодненькой...— Леша заикался, тряс бачком и покачивался.

Мы все поняли.

— Где набрались? — Нестерук повернулся к зятю, который тоже был навеселе, хотя меньше, чем Леша.

— Подъехали к колодцу, а у хозяина свадьба. Окружили, повели в хату. «Дорогие наши комбайнеры, кормильцы вы наши!..» Ну и...— Слава виновато улыбался.

Пока Нестерук требовал от зятя объяснений, Леша забрался в кабину, включил молотилку и поехал.

— Что он делает? Там же бункер полный!— Нестерук бросился вдогонку.

Через минуту я увидел, как Нестерук выволок Лешу за рукав из кабины и грубо столкнул с лестницы. Леша побрел к лесу.

Первый раз я видел Игната Игнатьевича таким расстроенным, огорченным. Были поломки комбайна, были простои, но никогда Нестерук не выходил из себя, был бодр, не криклив, не суетлив. А сейчас у него словно что-то болело внутри, движения стали поспешными, стариковскими. Выгрузили зерно, Слава поспешил отъехать, и Леша, наверно, уже спал в лесу, а Игнат Игнатьевич не мог успокоиться.

— Испортился, испортился человек,— говорил он обиженно.— Увидел чарку — обо всем забыл. На нас ему наплевать, на работу наплевать.

— Ведь первый раз, Игнат Игнатьевич. С кем не случается...

— В том-то и вопрос, что не первый. Было уже. Полгода — человек как человек, не налюбуешься. И вдруг что-то согнется в нем, сломается.

— Войдите в его положение. Воскресенье, свадьба, а ему, молодому,— пыль, грязь...

— Ты думаешь, я не помню, что сегодня воскресенье? — резко перебил меня Игнат Игнатьевич.— Думаете, совсем рехнулся старик на работе, готов спать с комбайном. А мне этот комбайн в печенки въелся. На кой хрен мне такая работа, если она дохнуть не дает! Вот, побриться некогда! — Он с ожесточением потер кулаком серебристую щетину.— Что дает такая работа, кроме денег? А деньги на хрена, если их тратить некуда, некогда. Деньги есть, а бедный...— Он помолчал, задумался.— Да вот, это обеднеть не дает! — Ткнул пальцем вперед, перед комбайном, где покачивалась пшеница.— Через пару дней сыпаться начнет. Тогда гнись не гнись — не поднимешь, пропадет хлеб, а-а-а...— Игнат Игнатьевич внезапно поморщился, на ходу пытаясь потереть левую руку выше локтя. Это было неудобно, он остановил комбайн.

— Как понервничаю, так начинает ныть,— оправдывался он, пока я массировал раненую руку.

— Может, разбудить Лешу?

— Сам придет. Пусть проспится, сопляк.

Леша пришел часа через два. Мы успели пообедать. Нестерук не забыл взять Лешину порцию, отнес ее в холодок. А сейчас буркнул Леше:

— Иди закуси, а то на свадьбе небось не успел, водку глушил.

Леша забрал бачок с водой, долго умывался, лил себе на голову. Затем быстро поел и забрался на ходу в кабину. Тронул Нестерука за плечо:

— Дайте я, Игнатович.

Не останавливая комбайн, Нестерук молча передал ему руль.

При этом оба избегали смотреть друг на друга.

Поработал Леша недолго. В жатке сломалась деталь под названием косовина, требовался ремонт в мастерской.

Когда уезжали, вослед нам еле заметно кланялись колосья пшеницы, залитые солнцем.

Намолотили 18 тонн. Мизер.

9 АВГУСТА. КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ — ЧУМАЗЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК

До одиннадцати часов ремонтировались. А пшеница-то становится недотрогой: чуть заденешь — осыплется на землю. Перестаивает. Только темпы, темпы, темпы спасут выращенный хлеб.

Нестерук, как обычно, начал первым, прошел несколько кругов, убедился в исправности комбайна и уступил место Леше.

— Николаевич! — позвал меня.— Иди, покажу нешто.

Игнат Игнатьевич извлек из брючного кармана свернутую втрое газету. Это была районка.

— Почитай, что они понаписали тут, твои дружки, журналисты. Читаю. «В колхозе «Вперед» есть все возможности начинать уборочные работы раньше 9 часов. Но почему-то это не делается. Агрегаты порой выходят в поле после девяти. В хозяйстве совсем не практикуется работа в ночное время».

Заметив, что я дочитал заметку до конца, Игнат Игнатьевич заговорил:

— Его же, сукина сына, не было на поле в девять часов. Снять бы такому штаны и голой задницей заставить сушить росу. И докуда каждый будет считать себя специалистом сельского хозяйства, указания давать!..

— Раньше это называли волюнтаризмом. Вы должны помнить, Игнат Игнатьевич.

— Еще бы не помнить! Приезжаем на рожь, а с нее прямо течет. Зеленая. Рука не поднимается жать. Прикатил уполномоченный. «Чего стоите, бездельники? Срываете важное политическое мероприятие». «Хлеб еще не созрел»,—говорит агроном. «Убирать! — велит уполномоченный.— Весь район жнет, а вы — саботируете. Это политическая слепота».— «Давайте, хлопцы»,— сказал нам агроном. Мы завели комбайны, поехали в зеленую рожь. Куриная слепота, а не политическая, вот что я тебе скажу.

— Сейчас вроде тоже уполномоченный за колхозом закреплен. Я слышал, председатель вчера говорил: «Позвоню своему уполномоченному, может, какие запчасти выбьет».

— А, толку с него. Разве уполномоченный спасет?..

Отличная погода весь день. И целый день я был придатком комбайна, его незаменимым винтиком. Копнитель совсем перестал закрываться. Жалко было тратить на ремонт такие солнечные минуты. Я вооружился двухметровым металлическим прутом, загнутым на конце в виде кочерги, и стал выполнять функции неисправного клапана. После того как комбайнер выбрасывал копну (через каждые пять-семь минут), я бил кочергой по клапану два, иногда три раза. Клапан срабатывал, копнитель закрывался. Мы не теряли ни минуты. К концу дня я был черный от пыли, огрушенный горячим двигателем, опустошенный глупой работой.

Под вечер ко мне наверх забрался Игнат Игнатьевич, прокричал в ухо:

— Хорошая погода. Надо ночью поработать.

Солнце зашло на погоду, скрылось за лесом. Посерело. Включили подфарники. Потянуло холодком, и теперь захотелось поближе к теплому двигателю. Пыли будто и не бывало.

— Пойдем проверим, как вымолачивается,— предложил Нестерук.

Осмотрели копну, в одном колоске нашли три зернышка, в другом — пять.... На поле пала вечерняя роса, вот почему исчезла пыль, вот почему не вымолачивается пшеница.

— Что будем делать? — спросил Нестерук то ли меня, то ли себя.— Корреспондент критиковал, что ночью не работаем. Приди, поработай, умник...

— Пшеница сыпаться начинает, Игнат Игнатьевич. Вы же знаете, сегодня потеряем три зерна, а послезавтра — в два раза больше. Спешить надо.

— Значит, оставлять вот так? — Он взял из копны необмолоченный колосок, повертел его в пальцах и, забрав с собой, пошел навстречу комбайну. Поравнявшись с комбайном, бросил в жатку необмолоченный колос, скрестил руки: это значит — глуши мотор. Было 21.30.

Сегодня мы намолотили 41 тонну пшеницы. Для нас и для всех экипажей колхоза это пока рекорд. Он останется непобитым до конца жатвы. А ведь добрый час мы потеряли на ремонте косовины, лишний час — это плюс четыре тонны намолота. Итого, 45 тонн! Столько мы могли бы намолачивать каждый день, намолачиваем же по 15—20. Получается, даже половину времени комбайн не работает из-за ненадежности узлов и деталей. А если, допустим, взять еще один такой «Колос», то выйдет: один комбайн работает неполный день, а другой полный день стоит. Жутковато становится, когда представишь эту статистику в действии... А может, тот, другой, воображаемый мною комбайн лучше нашего, может, на нем работает комбайнер еще квалифицированнее Нестерука? Нет, попалась мне в руки книга ученого (А. П. Вавилов. «Эффективность социалистического производства и качество продукции». М., «Мысль», 1975) и не оставила сомнений в профессиональных качествах Нестерука. Да-

же самая высокая квалификация механизатора не может заменить собой надежность комбайна или трактора. В результате технических неисправностей, пишет А. П. Вавилов, 30 тракторов из 100 постоянно находятся в ремонте. «Это значит, что в течение года не работает больше тракторов, чем их выпускает вся тракторная промышленность страны».

Это значит, если продолжить мысль, что один из нас троих — Нестерук, Леша или я — каждое утро выходит на работу, целый день чем-то занимается, нервничает, переживает, устает как черт и в то же время знает, что занимается ничем, делает пустую работу. Каждый третий — чумазый бездельник.

Ничто не возвышает так человека, как активный творческий труд, и ничто так не опустошает, как заведомо глупая, какая-то нечеловеческая работа. Стоя на комбайне с кочергой, к концу дня я почувствовал, что сам становлюсь бездумной болванкой, научившейся выполнять два простейших движения: держаться за поручни, чтобы не свалиться вниз, и два раза бить по другой такой же болванке — клапану.

Во второй половине дня в комбайне перестала включаться задняя скорость. А на поле то и дело приходится сдавать назад: заходить на новую загонку, отъезжать, когда забьет шнек, маневрировать на поворотах... Бросили мы жать, остановили комбайн, начали выяснять причины неисправности, то есть с истинной работы все трое переключились на пустую, дурную. Игнат Игнатьевич внимательно выслушал коробку передач, хрипевшую и скрежетавшую, и поставил диагноз:

— Полетела шестерня. Как прошлым летом, помнишь, Леша? — Нестерук помолчал, словно дал Леше возможность вспомнить, как в прошлом году они потеряли два дня на ремонт.— Ну как можно ставить на эту махину такую куцую коробку! Мука, а не работа. Да что они — за дурачков нас считают!..

Они — это те, кто поставил на тяжелый комбайн «Колос» слабую, не выдерживающую нагрузки коробку передач. Для Игната Игнатьевича ясно, как дважды два: на «Колос» нужна более мощная коробка, как, впрочем, и топливный насос, который тоже ломается ежесезонно. Игнату Игнатьевичу осточертели частые ремонты, эта пустая работа задевает его профессиональное самолюбие, он умеет больше, его потенциальные возможности как механизатора, специалиста значительно выше того реального вклада, который он вносит в наше общее дело с помощью существующей сельскохозяйственной техники. Он перерос эту технику, ему тесно в ее рамках, он ищет выхода. И Леша Демидович — тоже. Недавно он закончил курсы шоферов, получил права и сейчас мечтает получить новенький самосвал ЗИЛ. «Хорошая машина»,— любовно говорит он и просит у Славы Корневича: — Дай проехать». Леша, возможно, уже перешел бы на машину, но председатель просит воздержаться: в механизаторах большая нужда, особенно в хороших механизаторах. К тому же колхозные шоферы получают меньше трактористов, это тоже немного сдерживает Лешу.

Было время, мы мечтали о ста тысячах тракторов для всей России. Сейчас такое количество тракторов работает на полях одной только Белоруссии. В первых трактористов стреляли из обрезов враги Советской власти, на первых трактористов деревня смотрела, как мы сейчас смотрим на космонавтов. Трактор пахал землю и одновременно переворачивал сознание крестьянина, трактор приобщал сельчан к новой жизни, к активной политической деятельности, стимулировал развитие образованности и культуры.

Те первые тракторы стоят сейчас в музейных комнатах, возвышаются на пьедесталах. Профессия механизатора стала в деревне рядовой, обыденной. На мужчину, не умеющего управлять техникой, село смотрит как на неполноценного. Таких мужчин в сегодняшней деревне единицы, все — за рулем. Механизатор — самая необходимая профессия на селе, трактор — самая распространенная техника в сельском хозяйстве (в колхозе «Вперед» 60 единиц!). Трактор стал мощнее «внутри», элегантнее снаружи, обзавелся кабиной (хотя до сих пор некоторые марки выпускаются без оной). В кабине, как водится,— двери, сиденье, рычаги и педали, вентилятор (не на всех марках). Всё. На этом кончается отличие современного трактора от того, самого первого, неуклюжего, с зубастыми колесами, пыльного, грязного, грохочущего. Вентилятор не спасает человека от жары в тесной кабине, грохот двигателя отучает нормально слышать и говорить, пыль и грязь заставляют сельского механизатора всю жизнь ходить в несвежей рубашке. Слово «тракторист», увы, обозначает то же что чумазый.

Сегодняшний механизатор не хочет быть чумазым. Нынешний тракторист перерос свой трактор в культурном отношении. Из-под черной спецовки у Виктора Козича упрямо голубеет чистая рубашка. На голове светится белоснежное кепи, к вечеру оно становится грязным, а утром — вновь постирано, белоснежно. Руль трактора Леши Демидовича украшен оплеткой, как у «Жигулей». Колхозная мойка занята непрерывно: механизаторы драют чумазую технику.

Пыль и грязь с трактора можно смыть. Но как избавиться от шума, вибрации, жары, многочисленных неисправностей, изнуряющих ремонтов? Самостоятельно справиться с этими бедами сельский механизатор не в силах, а терпеть уж невмоготу.

Когда-то трактор активно «окультуривал» деревню, «подтягивал» ее к новым условиям труда и быта, а теперь тормозит этот непрерывный процесс развития. «При обсуждении проекта пятилетнего плана нами были высказаны серьезные нарекания в ад-

рес Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Жалуясь на нехватку мощностей для производства новой техники, оно продолжает выпускать трактор и машины устаревших конструкций, которые давно не пользуются спросом в колхозах и совхозах». Как видим, проблемы полесского колхоза «Вперед» нашли свое отражение и в речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на октябрьском (1976 г.) Пленуме Центрального Комитета нашей партии!

10 АВГУСТА. «КАК ТАМ У ВСЕХ?..»

Вчера договорившись, пришли в мастерские к семи утра, попробовали ремонтировать комбайн. Отрегулировали сцепление, проверили механизм привода — задней скорости нет, один скрежет. Привели главного инженера Клевко. Тот посмотрел, высказал несколько предположений, уже проверенных нами, молвил: «Ну, я пошел дальше воевать»,— и удалился. Было 11.30. Торчать возле мастерских бессмысленно: мы знали, что новой коробки передач на складе нет. Решили ехать на поле: хоть помаленьку, а что-нибудь нажнем.

Пшеничка сегодня жиденькая. Вымокла. В густой траве белели редкие колоски, Нестерук гонялся за ними на повышенной скорости. В то же время где-то на высокоурожайных участках осыпалось зерно. Навалиться бы на такие участки всей техникой, спасти прежде всего умолотные хлеба! Но — кто мог отдать нам такой приказ?

Главный агроном Тихоходов крутил на зернотоке неисправный сортировщик. Главный инженер ему помогал. (Я видел, когда ездил за водой.)

Бригадир тракторной бригады Руцкий искал по всему району и за его пределами запчасти.

У председателя своих забот хоть отбавляй.

Весь день комбайнеры сами себе советчики, консультанты, организаторы, начальство. Наш «Колос» работает один, только поле и лес вокруг. Полнейшая свобода действий, никто не стоит над душой, все зависит от тебя одного... Однако — нет, чего-то не хватает, какая-то смутная тревога, неуверенность в себе, недоверие к собственным результатам.

Слава Корневич уезжал на зерноток, Игнат Игнатьевич попросил:

— Разузнай, как там у всех?

Наверно, и Нестерука гложет эта неопределенность своего положения на жатве, когда не знаешь, хорошо ли, плохо ли работаешь, потому что не с кем сравнить, не видишь общей картины, общего результата.

Связь с нынешним миром мы поддерживаем через повара Олю и возчика зерна Славу.

— Что там слышно, Оля? — не забудет спросить Нестерук.

— Ай, надоело мне! — простодушно отвечает девушка.— Когда ни заеду к Соловьеву, они в один голос: то второго мало, то компот теплый. А сами стоят и стоят.

Слава Корневич привез более обширную информацию. Сегодня не работает четыре комбайна: поломки, а запчастей нет. В конторе подвели итоги первой пятидневки, и вроде второе место заняли мы. А кто первое — Слава точно не знал.

— Козич,— уверенно сказал Нестерук.— Больше некому.

Вторым рейсом Слава привез к нам главного агронома. Тихоходов немного похудел за последние дни; в прошлом году у него подпортилось семенное зерно, поэтому он теперь днюет и ночует на зернотоку. Главный агроном достал из заднего кармана смятые червонцы и со словами: «За второе место»,— роздал нам. Никаких речей и поздравления. Признаться, мы их и не ждали, речь в этих условиях, пожалуй, покоробила бы нас своей неестественностью.

В 18.00, кое-как домучившись до конца поля, поехали в мастерские. Коробку передач сняли уже при свете переносной лампы. Зубья шестерен были срезаны, вот почему потерялась задняя скрость. Завтра утром я повезу коробку на обменный пункт «Сельхозтехники», Нестерук и Леша будут устранять в комбайне другие мелкие неисправности, которых набралось слишком много.

11 АВГУСТА. НУЖНА ПОМОЩЬ ЧЕСТНОЙ ПРИСТЯЖНОЙ

— Николаевич, без коробки не возвращайся! — напутствовал Нестерук.

— Не достанем в районе, поедем на областную базу,— ответил за меня главный инженер. Он тоже решил сопровождать коробку. «Тебе не дадут без меня,— сказал он.— Я там кое-кого знаю. Сегодня утром позвонил туда. Для «Колоса» коробок нет, но есть одна для «Нивы», они взаимозаменяемы. Только бы не опередили нас!»

На обменном пункте районной «Сельхозтехники» чистота и порядок, асфальтированный двор, аккуратные стеллажи, на них горы деталей. Клевко долго разыскивал нужного ему человека, а когда нашел, кратко спросил:

— Где коробка?

— Пошли,— с такой же краткостью ответил тот.

На стеллаже лежала краснобокая коробка передач, Клевко кинулся ее ощупывать, а мужчина, сопровождающий нас, бросил:

— Последняя. Забирай, пока не передумал.— Краткость выражений, наверно, была особенностью его характера. Краткость и чрезвычайная самоуверенность. С нами он обращался с этакой снисходительной небрежностью.

Мы быстро подогнали «летучку», выгрузили свою коробку, подцепили подъемником свежепокрашенную, как тут откуда-то выскочил мужчина в приличном костюме и с каким-то изумлением, словно впервые видел эту стокилограммовую чушку, воскликнул:

— Коробка! А еще есть?

— Последняя,— равнодушио ответил тот, отлнчавшнйся краткостью выражеиий.

— У меия «Колос» трн дия стонт,— растеряино проговорнл мужчина, нзумнвшнйся мнннуту иазад прн внде н а ш е й коробкн.— Повезло тебе, Ивановнч.— Ои, накоиец, протянул руку Клевко. Это был главиый ниженер одного из колхозов райоиа.

— Повезло! — ие скрывая радостн, отвечал Клевко.— Теперь оиа, мнлая, и а ш а!

В дороге, сндя на жестких скамейках, мы то н дело поглядывалн иа коробку. Шофер гиал машнну с прнлнчной скоростью, коробка подрагнвала, ее красные бока, казалось, дышали: вдох, выдох... И впрямь — как жнвая, холера! И что она только с нами не делает: лншает сна и покоя, отннмает квалнфнкацню, опытного спецналнста выставляет бесснльным дурачком, а захочет — н вовсе лншнт нас хлеба!... Как же случнлось, что мертвый кусок железа занмел над намн такую жнвую власть?

Встречал нас весь народ, что был в ту пору (в полдеиь) возле мастерских. Как бесценное сокровнще, вынеслн коробку из машииы, опустили на травку возле комбайна. Игиат Игнатьевнч, не позволив ннкому, сам прннялся охажнвать коробку. А она-то, красавица наша, оказалась, мягко говоря, с дефектом: гайкн завернуты еле-еле н ие застопорены, подшнпннк совершенно сухой, масленку для его смазкн ввернуть на ремзаводе забыли, болтов понаставнлн лншь бы какнх... Нестерук, как опытный врачеватель, выстукивал и выслушивал коробку, а механнзаторы, стоявшие вокруг, комментнровалн его действия.

— Ты погляди, даже каплн масла не капиулн,— возмущался одни.

— А еслн б ие проверил Игнатовнч — сгорел бы подшипннк в первый же день. Вот халтурщнкн! — с гиевом говорнл второй.

А когда Нестерук молча вынул из отверстня куцый, обрублениый болтнк н молча показал его всем, как хнрург показывает нзвлеченный осколок,— механнзаторы... схватнлнсь за жнвоты:

— Ха-ха-ха! Го-го-го!

Прямо комедня, а не ремоит! Сильнейшнй партиер колхозов н совхозов — «Сельхозтехннка» — ие может справнться со свонмн бракоделами, внднмо, надо помочь ей в этом. Как же подстегнуть партиера? Вот если бы тот, кто лншь бы как отремоитнровал коробку передач, не получил за свою работу зарплаты, вот еслн бы этой зарплатой распоряжался колхоз — главный коитролер, главный кассир, ХОЗЯИН — вот тогда бы, иаверио, все было по-другому... «Сельхозтехннку» надо поставнть в тесную зависнмость от колхозов н совхозов, чтобы оиа, «Сельхозтехннка», поняла, что она лншь пристяжная, что в сельскохозяйствениый воз впряжен одни ломовнк — колхоз — и что ему тяжело одному, иужна помощь честной пристяжной...

Коробку передач мы прнвезлн в сборе со сцепленнем. Сцепление — узел ответственный и сложный, требует точиой регулнровки, отрегулировать его должны былн на ремзаводе. Мы иа это поиадеялись, в чем горько расканвалнсь, особенио Игиат Игнатьевнч. Поставилн коробку, затянули все болты (эта сложная процедура заняла часа трн), завели двнгатель, началн проверять работу коробки — не включается ии одна скорость, только металлическнй скрежет.

— Не отрегулнровано сцеплеине,— мрачио вымолвил Нестерук.— Эх... Все начннай сначала...

Работу прервал лнвень. Он загнал нас под комбайн н, как ни парадоксально, немного прнподнял иастроеине. Мы лежали под комбайном, со всех сторои хлестала вода, как вдруг Игнат Игиатьевнч проговорнл:

— Хорошо, что льет. Не могу ремонтироваться в погоду: душа болит.

Лнвень отшумел, и мы прнняліісь за дело, еслн, конечно, то, чем мы заинмались, можио назвать делом. До темиоты провозились, а домой ушли ин с чем.

12 АВГУСТА. НЕСТЕРУКУ ПРЕДСТОИТ ТЯЖКАЯ ПОВИННОСТЬ

Выехалн из мастерскнх в 16.00. Изучнлн проклятое сцепление вкоиец, только иа поле, когда посыпалось в бункера зерио, немного оттаяли мы душой. Работалн вместе со звеиом Козича.

Ячмень перестоял. Соломка спуталась, поломалась, колоскн как однн иацелены усами в землю. Миогне обламываются и падают, летят в небытне, жаткой их уже не подиять.

Погода продержалась до вечера. Мы намолотилн 11 тоин зерна.

Солнце заходило за тучу, багрово опалнв ее по краям. Игнат Игиатьевнч долго смотрел иа тучу нз-под рукн.

— На дождь заходит,— сказал обеспокоеино.— Леша, завтра с утра, пока росно, сегмент смеии.

Завтра Нестерук отбывает повниность по хозяйству — пасет коров. Весь деиь он чертыхается по этому поводу, корова выбнла его из прнвычной колен. По правде говоря, н мне трудно представнть, что Нестерук, техиарь до мозга костей, содержит обшириое традицноиное крестьяиское хозяйство: корова, телка, два кабаиа, куры, гуси. Игиат Игиатьевич как личность давио перерос этот сугубо крестьяискнй быт, ио вынужден мнриться с ннм по той простой прнчние, что каждый деиь человеку надо трн раза поесть. В новоселковском магазние же, кроме водкн да хлеба, ннчего нет. Впрочем, справедливостн радн добавим: есть пряиикн, конфеты, соль, сахар, папиросы.

13 АВГУСТА. НИ ДОМА, НИ В ДОРОГЕ

Разбудил меня дождь. Было шесть часов. На улице мычали коровы. Мелькнуло в голове: не повезло Игнатьевичу, худо пастуху в такую погоду.

Худо и нам. Пережидали дождь возле комбайнов. А дождю нет конца...

И вот летят в шапку рубли. Деревня близко, завмаг отпускает вино в любое время суток, своего транспорта навалом... Через полчаса ходит по кругу граненый стакан с «лучистым крепким», освящая суровый механизаторский быт.

Я размышляю над тем, что могло бы сейчас заменить этот стакан, приподнять настроение, скрасить два часа нудного ожидания — речь агитатора, концерт художественной самодеятельности, строгое присутствие председателя?.. Нет ни того, ни другого, ни третьего, есть вынужденное безделье, есть в деревне понятливый и предприимчивый завмаг, прихватывающий пару ящиков спиртного домой, а посему — пейте на здоровье!

За шумными разговорами не углядели, как моросячка сменилась ливнем.

— Подъем, хлопцы!

— От курва, закусить не дал!

— Махнем в столовую, закусим.

— Махнем! Хоть раз по-человечески пообедаем.

В момент погрузились в «летучку». К столовой прибыли в срок: Оля собиралась наполнять зеленые термосы.

— Мы тут, хозяюшка, наливай в миски, надоело из термоса.

— Хлопцы, добавим?

— Не-е, тато может застукать...

В столовой пахло щами и было тепло. Не хотелось выходить на улицу, под надоевшую моросячку.

— Сегодня ничего не будет, до вечера затянуло.

— По домам, хлопцы.

— Устроим выходной.

Был час дня.

В три часа сквозь дождь проглянуло солнце, встала радуга.

В четыре часа я был возле комбайнов. Сейчас, думаю, придет Леша, и к вечеру мы наберем бункеров десять. Однако никого не видно было. Я прошелся по ячменю — ботинки совершенно сухие, росы нет, можно убирать. Где же механизаторы, почему нет Леши?

Ячмень все ниже и ниже клонится к земле, хрупкая солома, размягченная дождем, не выдерживает колоса и, подсыхая, ломается.

Я прошел там, где вчера ходили комбайны. Стерня усеяна колосками. В одном месте я стал на колени и собрал вокруг себя 166 полновесных колосьев — пучок не вмещался в одной руке. А дальше от меня лежали еще и еще колоски, и уже нельзя было дотянуться, чтобы собрать все: надо было ползти на коленях по всему полю.

А Леши нет. Солнце светит. Ветер шелестит. Кузнечик сверчит. Время течет. Бесценное время пропадает зря.

И я иду по сжатому полю, опасаясь наступить на колосок. Ноги мои утопают в богатстве, которое уже никто и никогда не использует. Богатство на глазах превращается в прах. Чтобы не видеть всего этого, я пошел в лес.

В лесу обилие черники, доспевала брусника, начинала краснеть ожина, проклюнулись кое-где ольховки, сыроежки. Богат лес в конце лета, однако нам, людям, перепадает от этого богатства ничтожная часть. Осыплются ягоды, истлеют грибы — не обидно. Их природа произвела для себя, для продолжения себя. Но хлеб она создала для нас и только для нас. Почему же хлеб пропадает даром?

В лесу было тихо и покойно, птицы уже не пели, и потому было грустно. Я вышел на дорогу, что вела в Новоселки. Нет, не видно Леши. Белела в Новоселках школа, белел детсадик, белел двухэтажный коттедж, в котором была двухкомнатная Лешина квартира. Вся деревня была со стороны очень уютной, чистенькой, там созданы все условия для спокойной, сытой жизни. Но возможна ли такая жизнь рядом с полем, на котором пропадает хлеб?

Игнат Игнатьевич полеживает где-то возле коров, не нарадуется погоде. Что думает он о нас?

Я пошел к комбайну. Он был исправен, с утра смазан. Хоть сейчас в загонку. Но он был недвижим. Какая сила могла сдвинуть его с места?

Всю свою любовь, специальные знания, опыт Леша направлял на комбайн, но не это, оказывается, спасает хлеб. Так какая же сила способна оживить комбайн, эту невыраженную, непроявленную Лешину любовь?

14 АВГУСТА. «ПОМИРАТЬ СОБИРАЙСЯ, А ЖИТО СЕЙ!»

Утро солнечное.

— Эге, молодежь, денек будет добрый. Шевелись! — весело покрикивал на нас Нестерук.— Я вчера отлежался после обеда, как прояснилось. Ну, думаю, хоть бы их там комбайн не подвел. Сколько намолотили вчера?..

Мы с Лешей молча переглянулись.

— Эх, вы! — сказал Игнат Игнатьевич со вздохом, подавил этот вздох и вымолвил тихо, как заклинание: — Помирать собирайся, а жито сей!

Весь день было неловко глянуть ему в глаза.

Намолотили 30 тонн. Неплохо.

15 АВГУСТА. ЕСЛИ БЫ ПРЕМИЯ 300 РУБЛЕЙ...

Перед началом работы на поле приехал председатель, собрал комбайнеров, сказал:

— Вчера, хлопцы, было правление колхоза, подвели итоги второй пятидневки. Послушайте решение.— Иван Гаврилович достал из кармана очки, водрузил их на нос, развернул свернутый трубочкой листок и начал читать:— Выполняя взятые социалистические обязательства, труженики колхоза «Вперед» продолжают жатву зерновых. По состоянию на 14 августа 1976 года убрано прямым комбайнированием 205 га, что составляет 29,7 процента к плану, скошено в валки и обмолочено 90 га. Учитывая марки комбайнов, степень их износа, а также качество работы комбайнеров, правление колхоза решило первое место и премию в размере 30 руб присудить Козичу В. К., второе место и премию в размере 25 руб.— Нестеруку И. И., третье место и премию 20 руб.— Соловьеву А. Б.

— А где справедливость, Гаврилович? — с вызовом спросил Соловьев.— У меня на семнадцать тонн больше, чем у Козича!

— Тут же сказано... — председатель поискал нужное место на листке:— «а также учитывая качество работы». Качество у тебя хромает, Соловьев. Надо поднажать.

— За что — за лишнюю десятку горбиться, колоски подбирать? Я и так больше заработаю.— Соловьев вразвалочку пошел к своему комбайну.

Все занялись своими делами.

Председатель подошел к нам.

— Игнатович, как ваша внучка? Вчера допоздна заседали, не сходил проведать.

— С температурой пока, дочка говорила: тридцать восемь и четыре.

— От скажи ты, лето — а надо ж так простудить дитя,— вздохнул Иван Гаврилович.— Кругом одна беда. И что с этим соловьем делать?.. Не доходит до него наше воспитание.

— Воспитание твое хреновое, Гаврилович,— резковато сказал Нестерук.— Третье место ему... За какие шиши?!

— За тонны, Игнатович. Намолот у него высокий.

— А как он молотил, ты видел?

— Видел... А что поделать? Как заставить его работать лучше, качественнее. Первую премию не дать? Не дали. А он?.. Ты слышал: «Я и так больше заработаю». И заработает! У него больше на...

— Семнадцать тонн,— подсказал Нестерук.

— Ага, семнадцать. Вот и считай. Даже с первой премией Козич получит меньше, чем Соловьев. Ведь платим мы за тонны, а тонн больше у Соловьева.— Председатель помолчал, наблюдая, как мы с Нестеруком натягиваем на шкив новый ремень. Подождал, когда мы закончили, заговорил вновь: — Премия, конечно, великое дело, да премия-то наша невеличка. Вот беда. Все на совесть напираем, а у Соловьева ее как не было, так и нет. Рублем надо воспитывать таких. Вот если бы премия была 300 рублей, тогда бы Соловьев подумал, тогда бы согнулся над колоском...

— Что-то многовато загнул, Гаврилович! — усмехнулся Нестерук. — 300 рублей...

— Ничуть не многовато! — Председатель говорил горячо, и было видно, что думал он об этом не раз.— У нас есть такие деньги. Мы можем, мы должны больше платить за качественную работу! Таких, как Соловьев, это подстегнет, из материальной заинтересованности вырастет моральная.

— Ну так давай эти деньги! — бросил бодро Нестерук.— Ты ж — голова, решай.

— Не так-то это просто. Тут надо подумать. Или премия, или дополнительная оплата? И люди — согласятся ли? Ведь одним увеличением оплаты за качество проблему не решишь, одновременно надо урезать кусок за количество, а количество — не потерять... Вот если б тебе, Игнатович, заплатили за тонну не рубль, — шестьдесят копеек, а остальное ты получил бы в конце года как премию за качество — как, согласился бы? — Председатель внимательно посмотрел на Нестерука, видимо, ответ для него был важен.

— А сколько бы получил — не меньше?

— Не меньше, чем сейчас, а может, и больше.

— Тогда — другой вопрос! — решительно сказал Нестерук.— Внедряй!

— Тебе — легко. У тебя, Игнатович, совесть за душой есть. А соловьи! Их, брате, еще немало, они привыкли за количество денежки брать.

— А ты попробуй! — Нестерука не оставляла решительность.— На собрание вынеси. Люди ж кумекают, не все соловьи. Поймут.

— Поймут? — переспросил председатель.— Тут надо помозговать...

Он быстро пошел к своему «газику», подобрал по дороге колосок, взял его с собой в машину и поехал с ним по своим председательским делам, по колхозу...

ПЕРЕПИСКА ДВУХ ПОЭТОВ

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ—М. В. ИСАКОВСКИЙ

(1932—1970)

11 октября 1939 г.

Дорогой поэт и боец Красной Армии!

Очень я завидую тебе и всем тем, кто находится в эти дни по ту сторону бывшей границы. Такие дни бывают далеко не часто, и видеть события собственными глазами, участвовать в них—это большое счастье. Если бы я был хоть чуть-чуть поздоровее—непременно поехал бы тоже. Я согласен был бы делать что угодно, переносить любые трудности. Но это, конечно, невозможно, потому через два дня я уже скапустился бы—состояние мое очень даже неважное. Вот и приходится сидеть в Москве.

Московские поэты написали довольно много стихов, посвященных Западной Украине и Западной Белоруссии, Но стихи эти, в большинстве случаев, не блещут особыми достоинствами. Объясняется это, очевидно, тем, что пишутся они по газетным сообщениям, что авторам их незнакомы многие детали, которые уже сами по себе—поэзия. Неплохие стихи написал Михалков, но только они очень уж похожи на твои. Аз, грешный, тоже написал песенку, которую повез в Западную Украину хор Пятницкого (песенку эту посылаю тебе). Кроме того, пришлось переводить белорусские стихи.

В газете «Правда» вчера напечатана рецензия на «Фронтовые стихи». В рецензии цитируются два твоих стихотворения (больше ничьи не цитируются) и между прочим сообщается, что в сборнике, наряду с другими, участвует С. Фиксин. Как он попал туда? Я до сих пор думал, что он в Смоленске, так как видел его стихи в «Большевистской молодежи».

Мне уже известно, что ты обещаешь привезти для меня хорошую тетрадь. Очень благодарен тебе за память. Постараюсь эту тетрадь заполнить чем-нибудь хорошим. Вообще же я знаю, как ты живешь,— Маруся довольно часто читает мне твои письма или цитирует их.

Никаких литературных новостей сообщить тебе не могу—почти нигде я не бываю, кроме как в поликлинике. Да и литераторов здесь осталось не так много. Вчера была литературная передача «Советские поэты—Западной Украине и Белоруссии»—так собрали всех, кто, по-моему, раньше и не выступал никогда у микрофона.

А в общем, все хорошо. Время замечательное, подъем всюду очень большой. Живи, работай и, если когда-нибудь выкроишь время,—напиши.

Привет тебе от Лиды.

М. Исаковский.

Продолжение. Начало в «Немане» № 2, 1977 г.

«Очеиь завидую тебе...» Письмо адресовано рядовому Красиой Армии А. Т. Твардовскому, призваниому для участия в освободительном походе в Западную Белоруссию и Западную Украииу. Со дня мобилизацни (в сентябре 1939 г.) н до оиоичаиия похода (ноябрь 1939 г.) А. Т. работал в армейской газете «Часовой Родины». За это время он опубликовал на ее страницах 12 оригинальных произведеиий, два очериа н сделал переводы стихотворений Якуба Коласа «Радостная встреча», Янки Купалы «Освобождениому брату» и стихотвориого выступлеиия депутата Михася Машары в Народиом Собраиии Западиой Белоруссни 28 октября 1939 г.

За освещение в газете «Часовой Родииы» боевых действий 4-й армин иачальнником Политуправлення 4-й армии А. Твардовскому была объявлена благодариость.

«...вчера напечатаиа рецензня...» В «Правде» 10 оитября была иапечатана рецензня П. Лндова (автора нзвестного очерка о Зое Космодемьянсиой) иа «Фроитовые стнхи» (1939 г.). Речь ндет о 32-страинчиом сбориичие стихов, иоторый был выпущеи стараииями А. Т. в Брест-Литовске под грифом газеты «Часовой Родииы» в частной типографии М. Таиеибаума. В сбориик вилючены стихи С. Фиксина, Е. Долматовсиого, С. Кнрсаиова, П. Слесарева, И. Френкеля. Из стихов самого А. Т.—«Вчера и сегодия», «День пришел», «Вдовий флаг», «Их было трое» и стнхи, написаиные совместио с Френкелем,—«Перед боем». Лидов иазвал эту ииижку-брошюру «первой советсиой книгой иа территорин освобождеииой Западной Белоруссни».

Кобрии, 19 октября 1939 г.

Дорогой мой Михаил Васильевич, уважаемая Лидия Ивановиа!

Если б вы знали, какую большую радость доставило мне письмо мужа и любезный поклон супруги, моих друзей, вы бы... ничего бы вы, конечно, большего не сделали, но и этого слишком миого для меня! Ей-богу, Миша, это вроде того, как сегодня я, прибыв с лейтенантом Горбатовым в Кобрин и отчаявшись найти что-нибудь курительное в пределах редакции, ианяли извозчика (балогулу) с подвязанной щекой и поехали версты за три от города на базу военторга, где на наш трепетный и опасливый вопрос: «Нет ли папирос?»—вдруг: «Каких вам? Есть «Казбек» и дешевле». И через минуту у иас в карманах по сотне папирос, каких мы не курили уже, кажется, много лет. Это—сказка. Так и письмо твое. Первое я получил от своей жены, твое было вторым. После зтого вдруг все стало таким близким—и Москва, и друзья, и всякое. Спасибо, милый. Эти излияиия ие следует понимать, конечно, как некое выражение сумеречиых иастроений. Просто, в течение месяца я не имел ни строчки ни от родных, ни от друзей, не мог ничего переправить в гражданскую большую печать и т. п. Между прочим, последней возможности я еще лишеи, вернее сказать, нужно проявлять массу знергии и изобретательиости, чтоб добраться до единствеиного телеграфа, который может передать только в Мииск, а письмом если что посылать, то оии, кажется, идут довольно не быстро.

Видишь, как долго не могу приступить к существеиной части письма,—разболтался от радости. А существенное вот в чем. Мие даже трудио выразить то чувство, которое я испытал здесь, при различных обстоятельствах слыша твои песни. Они здесь поются, как и там,—по всей стране нашей. Я об этом уже писал Марии моей Илларионовне, еще не имея твоего письма, то есть ие имея повода для комплиментов, если тебе угодно подозревать меня в зтом. Одиим словом, заявляю тебе с чувством дружеской зависти: твой голос здесь слышнее, чем чей-либо из нас, и ты, больиой и слабый телом человек, находишься и находился на самых передовых позициях фронта и, так сказать, оружие твое не ржавело в бездействии (см. дальше).

Вот это я тебе и хотел сообщить со всей ответственностью. Между прочим, песенка твоя (завтра будет в «Часовом Родины») уже мелькала в местных газетах. Я ее даю с примечаиием насчет музыки. Поставил: муз. В. Г. Захарова. Мне Маня писала.

Миша, если ты будешь мие писать (я здесь до 10 ноября), то есть если ты будешь иметь такую возможность по своему нездоровью, то сообщи, кто у нас в парткоме сейчас и что там иового,—вкратце. Я ведь заходил, уезжая, говорил, что уезжаю на месяц, а теперь, согласно телеграмме ПУРа, остаюсь до 10.XI. Хочу им об зтом иаписать, то есть парткому. А то мне Маня сообщает, что приходят извещения, как будто я и ие уезжал. Забыли живого человека—могу я пожаловаться.

В Кобрин (городок меньше Бреста, почти местечко) я переехал вчера. Сегодня с Горбатовым (он все время был строевым командиром, а теперь отозван для работы в редакции) сняли квартиру, две, три, четыре комиаты, то есть просто живем в огромной квартире зубного врача Когана и не имеем доступа только в спальню его жены, к чему и не стремимся. Такова жизнь с одной стороиы.

С другой—работа, поездки, тысячи замечательных встреч, фактов, впечатлеиий. Об зтом не буду покамест,—в беглом письме идут под руку лишь банальиые фразы. Это все я расскажу постепенно. Сейчас не забыть бы ответить тебе по мелочам. Стихи Фиксина мне попались иа глаза в «Красиоармейской правде». Они мие поиравились, и я их включил в сборник, который прилагаю. Разве так важно,

что поэт территориально не на фронте? А стихи—из первых, что появились,—не последние.

Крепко жму твою руку, низко кланяюсь Лидии Ивановне и приветствую всю семью Исаковских. Б. Горбатов просит написать тебе одну фразу: «Катюша» занимала города». Правда, часть их отошла, но порядочно еще и осталось!

Привет!

А. Твардовский.

(Большое спасибо, друзья мои, что не забываете Маню.)

P. S. Если будешь писать, пришли Горбатову привет, чтоб я мог указать ему на соответствующую строчку письма. Он очень одинокий, в армии уже 4-й месяц, а в Москве у него невеста—и ни строчки.

Когда я получил сегодня твое и жены (сразу три) письма—он чуть не заплакал. Парень хороший.

Лейтенант Горбатов — известный советский писатель Борис Горбатов, автор произведений «Мое поколение», «Юность отцов», «Непокоренные».

«...песенка... уже мелькала в местных газетах». Речь идет о стихотворении М. В. «На восходе солнца». Оно появилось на страницах газеты «Часовой Родины» 20 октября. (См. примечание к письму 28 октября).

20 октября 1939 г.

Дорогой Саша!

Сегодня получил два твоих письма сразу. Спасибо за них, спасибо за книжку и за вырезку из газеты.

Что касается посылки тебе новых стихов, то вряд ли мне удастся это сделать, потому что сейчас стихов пока нет, а потом ты уедешь и будет поздно. Собственно говоря, есть одно почти готовое стихотворение, но я не нашел для него некоей цементирующей детали, и поэтому оно пока не производит впечатления цельного организма, «рассыпается». Но если я сумею в ближайшие дни закончить его, то пошлю.

Никаких особых новостей сообщить тебе не могу—я вот уже больше месяца нигде не бываю. О нашем парткоме знаю, что Зайцева в нем уже нет—он теперь секретарь райкома, а вместо Зайцева—Ф. В. Гладков. И партком вовсе не забыл, что ты уехал, он это хорошо знает. Что же касается всевозможных извещений, что шлют тебе на московский адрес, то это просто потому, что рассылают их по списку, не учитывая, очевидно, кому они нужны, а кому нет. Во всяком случае, пусть тебя эти извещения не беспокоят ни в какой мере.

Не так давно я видел Захарова, он говорил, что уже почти написал музыку на «Страну Муравию», но ему еще надо 2—3 песни и поэтому он ожидает тебя. Сейчас хор Пятницкого уехал в Западную Белоруссию, он повез туда и мою, известную тебе, песню. Но какова ее музыка—я представляю очень смутно, писалась она перед самым отъездом, и хор не успел даже разучить песни в Москве.

За сообщение о популярности моих песен—спасибо. Это мне служит некоторым утешением в том, что я не смог поехать на запад и не смог принять участия в том великом деле, в котором участвовали мои товарищи. А тут еще «Катюша» доставила мне огорчение недавно. Хороша ли, плоха ли эта песня, но ее поют, любят. И вот нашелся некий пошляк, который написал для Хенкина фельетон, в котором говорит, что вот, мол, «Катюшу» все начинают петь на свой лад. Повара поют по-кухонному (и дальше приводится четверостишие насчет кастрюль и пр.), что зубные врачи поют с точки зрения своей профессии (и дальше опять четверостишие насчет того, что, мол, я поставлю тебе, Катюша, золотую коронку) и т. д. и т. п. Фельетон этот Хенкин читает на концертах, по радио. И мне совершенно непонятно—зачем надо калечить песню, зачем толкать людей на путь опошления ее.

Впрочем, все это так, между прочим.

Два твоих стихотворения были напечатаны—одно в «Правде», другое—в «Комсомольской правде». Но я боюсь, что когда ты приедешь в Москву, ты будешь меня бить. Дело в том, что, когда передавали в «Правду» по телефону из Минска стихотворение «О земле», то перепутали некоторые строки, а одну и вовсе пропустили. По совету Марии Илларионовны Трегуб обратился ко мне, чтобы я «отредактировал» стихотворение. И что же—пришлось согласиться, несмотря на всю мою боязнь твоих побоев. В другом стихотворении для «Комсомольской правды» (оно еще не было напечатано) по просьбе Марии Илларионовны я переделал первое четверостишие. Причем переделка происходила по телефону. Вот, кажется, и все мои грехи перед тобой. Не теряю надежды на то, что, может быть, ты найдешь возможным простить меня.

О себе ничего утешительного (для себя) сказать не могу. Болею, хожу в поли-

клинику, чувствую себя неважно, иногда слепну, а потом дня 2—3 лежу, как пласт, с больной головой. Кроме того, предстоит, кажется, небольшая операция в области зубов—так, небольшое долбление кости и удаление чего-то ненужного. Вот и сейчас только вернулся из Стоматологического института. Собираюсь, если удастся, поехать в Барвиху, но до сих пор не могу найти концов—как это делается, кто туда посылает, кого посылают туда и т. д.

Ну, еще могу сообщить, что все больше начинает процветать Борис Сергеевич. Правда, работы у него маловато, иногда ее и совсем нет, но его переводы Косты Хетагурова имели большой успех—они печатаются, кажется, в четырех изданиях, в том числе в «Новом мире», и это, как он заявил, для него (т. е. Бурштына) очень важно.

Передай Борису Горбатову самое сердечное спасибо и привет. Меня очень радуют те три слова, которые ты написал мне по его просьбе. О нем мне рассказывала также Мария Илларионовна, передавая содержание твоих писем.

Вот, Шура, пока и все. Получилось путано и бестолково, но ты простишь меня за это. А вообще жду тебя, ждет и Лидия Ивановна. А то был у меня один друг, да и того сейчас нет. Но ты не понимай это, как желание немедленно оторвать тебя от выполнения твоего долга. Просто такое настроение. А долг свой ты должен выполнить с честью, как ты и сделаешь.

Привет тебе от Лиды, от Наталии Ивановны и Алика, который стал большим хулиганом. Однажды в школе с группой ребят он не захотел слушать урок русского языка и, когда вошел учитель, Алик с ребятами запел. Так и сорвали урок. Просто трудно придумать, что с ним делать.

Ну привет, Шура.

Твой М. Исаковский.

«...видел Захарова...» Руководитель хора им. Пятницкого и композитор В. Г. Захаров написал музыку к инсценировке на тему «Страны Муравии». А. Т. написал для инсценировки некоторые вставные песни. С большим успехом шла в конце 30-х и в начале 40-х гг. «Колхозная свадьба», в которой был использован «Перепляс» из «Муравии».

«Два твоих стихотворения...» «Слово о земле», опубликованное в «Часовом Родины» 15 октября, появилось в «Правде» 21 октября (№ 292). В «Комсомольской правде» того же 21 октября (№ 242) был напечатан «Боец-агитатор».

«...чтобы я «отредактировал» стихотворение». Переделывал Михаил Васильевич первую строфу стихотворения «Памяти лейтенанта Трубочкина», которое в его варианте появилось затем в журн. «Молодая гвардия» (№ 1, 1940 г.) вместе с другими стихами Твардовского, написанными в Западной Белоруссии,—«Вдовий флаг», «Боец-агитатор», «Сказ тысячеустый» и др.

Б. Бурштын — Б. Иринин, переводчик и давний, еще по Смоленску, друг Исаковского, был близко знаком с А. Т.

Наталья Ивановна—мать Лидии Ивановны.

Алик—племянник Л. И., проживавший в семье Исаковских.

27 октября 1939 г.

Дорогой Саша!

Вдогонку за своим письмом я решил послать тебе и стихи. Подработал их немного и посылаю. Они, быть может, немного сыроваты, но ждать некогда—иначе будет поздно. Посмотри, если подойдут—напечатай, а нет—не надо. Мне пока трудно судить о них—они еще «не отлежались».

Ну привет!

Твой М. Исаковский

«...решил послать тебе и стихи». «Встреча» напечатана в «Часовом Родины» 5 ноября 1939 г. (№ 115). Стихи включены автором в его четырехтомное Собрание сочинений (т. 1, стр. 354).

28 октября 1939 г.

Дорогой Саша!

Получил сегодня твое письмо и вырезку. Сказать по совести, очень это поднимает мой дух. Сегодня случилось как-то так, что я в один присест написал стишок «Наказ». Его я тебе и посылаю. К самому открытию Народного Собрания Западной Белоруссии, оно, конечно, опоздает. Но мне кажется, что и после этой даты стихи будут иметь некоторое значение. Во всяком случае и на всякий случай я тебе их посылаю.

Кроме того, посылаю второй раз стихотворение «Встреча» (первый раз послал вчера). Я его чуть-чуть переделал (на второй странице), хотя это серьезного значения не имеет.

Ну, спасибо за память.

Всего тебе самого хорошего.

М. Исаковский.

«Получнл ...вырезку». Опублнкованные в «Часовом Родины» (20 октября, № 101) стнхн М. Исаковского «Иа восходе солица». Стихотворенне напечатаио в левом углу первой полосы—вместо передовой н сопровождеио примечаинем газеты: «Эта песня позта-орденоносца М. Исаковского (автор популярных песен: «Катюша», «Вдоль деревин», «Комсомольская прощальная» и др.) положена на музыку композитором В. Г. Захаровым н будет исполняться русским иародным хором им. Пятннцкого. Примечание написано А. Т.

Кобрин, 3 ноября 1939 г.

Дорогой Миша!

Во-первых, горячо благодарю тебя за исправление стнхов. Я просто очеиь рад, что онн попали тебе и прошли через твои руки. Я ие имел возможностн, но думал послать телеграмму: «Случае неясиости текста просите исправнть Исаковского». Оказалось, что н без телеграммы так оио получилось.

Большое спаснбо, родной.

Во-вторых, я слыхал от Мани, что ты опять подвергаешься своим ужасиым мучениям. Пустые слова утешеиня и ободрения я говорить не хочу, ио просто прошу тебя по-дружески: крепись, Миша. Не падай духом, ие пускай злую змею уныния во внутреинне апартамеиты, выражаясь образио. Я приеду—там будет видно.

В-третьих, спаснбо тебе за стнхи. Одио мие очень поиравилось («Встреча»), и оно сегодня же пойдет в газету, а другое («Наказ») иемножко запоздало. «Белосток»—это уже здесь история. Но, может быть, и это иапечатаем—покажу редактору. Вырезку пришлю.

Еще—вот случай, который позабавнт тебя в твоем кабииете. В деиь выборов депутатов в Народное Собранне (я, между прочим, был в Белостоке на собрании—впечатление можио сравинть только с первым дием после перехода границы). Так вот, в днн выборов одни поп не стал служнть обедню. Идемте, говорит, сперва отголосуем, а потом помолнмся. И сам во главе прнхожаи пошел иа участок. А там церковиый хор исполиял «Интериациоиал» и вторую революциоииую песню, нзвестную ему,—«Катюшу». Но, говорят, получалось так по-церковному, что кто-то из наших счел даже иеобходимым вмешаться.

Ну, всего лучшего. Желаю хорошо провести праздиикн. Крепко обиимаю. Прнвет мой Лндни Ивановие и всему семейству.

А. Твардовский

Р. S. Привет от Б. Горбатова.

«Белосток»—зто уже здесь нсторня». 28 октября 1939 г. в Белостоке состоялось Народиое Собранне Западиой Белоруссин, прннявшее решение о воссоедииении освобожденных областей с Советской Белоруссией.

26 февраля 1940 г.

Дорогой Саша,

шлет тебе привет одни твой некурящий друг, по фамилии Миханл Исаковский, который не курит уже 12 дией, и хотя ему очень плохо, ио ои не сдается и, навериое, не сдастся инкогда.

Давио собнрался иаписать тебе, Саша, н ие писал, пожалуй, по одиой причиие: мне все казалось, что ты иастолько заият, иастолько у тебя ие хватает временн, что не только писать, ио и чнтать письма тебе некогда. Такое именно впечатлеиие создавалось у меня после разговоров с Марней Илларионовиой, которая жаловалась, что письма твон крайне краткн, что зто коротенькие запнсочки и т. д. Ну уж раз у тебя иет времеии, чтобы вести переписку со своей женой, то что же можно сказать обо мне? Ну вот я и ие писал, хотя н хотелось знать о твоих делах, о жизии. Довольно миого твоих стихов я встречал в различиых газетах («Известия», «Комсомольская правда», «Рабочий путь» и др.) и из зтого заключил, что пишешь ты очень миого н привезешь в Москву сразу три тома стнхов. Все зто хорошо и прнятно.

У меня в зтом отиошеиии дела обстоят хуже.

Я написал всего одии стишок, если не счнтать различиой ерунды, которая, коиечно, иичего ие стоит. А сейчас просто ие могу нн за что взяться: очень трудно без папиросы. Даже письмо пишу с трудом и пишу каким-то невообразимо разболтанным почерком.

Недавно в исполнении хора им. Пятинцкого слышал твою иовую песню про шофера (только не на тот текст, что ты иапнсал в Коктебеле, а иа прежннй). Музыка Черемухнна. Музыка как будто ннчего, но некоторые фразы стнха прн исполненнн сливаются нлн слышатся не совсем ясно, н поэтому кое-что нз содержаиня песии ускользает. Впрочем, зто, может быть, и не так. Я слышал песню по

радио. Но если слушать ее непосредственно от исполнителей, то, может быть, она зазвучит по-другому.

А вообще хор Пятницкого сейчас лезет в гору. И это также приятно, что его, наконец, по достоинству оценили.

Не знаю—когда с тобой увидимся, но хотелось бы поскорей. А то мне очень жаль, что в твой прошлый приезд меня не было в Москве.

Если будет возможность—напиши. Нет—не надо, я не обижусь, так как вполне учитываю твою занятость.

Ну и пока!

Твой М. Исаковский

А чтобы не забыл адреса, так вот он: Москва, 19, ул. Фурманова, 3/5, кв. 21.

Ленинград, 3 марта 1940 г.

Дорогой, славный друг мой Миша!

Спасибо тебе за письмо, спасибо, что не забыл. И прости мне, что я не столько делами, сколько от какой-то нехорошей забывчивости и неорганизованности до сих пор не написал тебе сам. А вспоминал я тебя много раз, вспоминал постоянно в поездках на фронт, потому что всюду тебя поют («Комсомольская», «Катюша», главным образом). Пусть здесь песни не занимают городов в столь буквальном смысле, как это было на западе Украины и Белоруссии, но все ж ты должен знать, что твое поэтическое слово живет здесь, составляет часть этой действительности. А это—много.

Я слыхал, что ты жил в Барвихе, слыхал, что поправляешься в целом, но твое сообщение о том, что ты некурящий, как-то кольнуло меня: уж как-то трудно мне даже представить тебя без папироски. Обидно, что человек, и без того отказавшийся от многих радостей жизни, и покурить не может. Но, ясное дело, раз это требуется для здоровья—держись стойко.

Милый Миша, вчера, когда я получил твое письмо, я сидел над материалом в полосу, которая идет сегодня. А мне так хотелось немедля отписать тебе и какие-то хорошие вещи сообщить, и письмо—оно совсем готово в голове, но некогда было писать. А сегодня все куда-то пропало. Знаешь, как бывает со стихами. Так вот, родной, письмо мое не будет стоять на высоком художественном уровне.

Живу я хорошо. Втянулся. Езжу непрерывно, приезжаю сюда только затем, чтобы выписаться, отоспаться, отогреться и отмыться. Люди, с которыми за эти месяцы довелось встретиться, и все, что привелось увидеть, сделали из меня почти совсем другого человека. Короче говоря, мне открылся новый, необычайно суровый и вместе с тем очень человеческий, дружный и радостный мир. Я рад, что он стал доступен и понятен мне. Красную Армию я полюбил так, как до сих пор любил только деревню, колхозы. И, между прочим, очень много схожего. Мне кажется, что Армия будет второй моей темой на всю жизнь.

То, что ты видел в печати из моих стихов,—это случайные и не лучшие, конечно, вещи. Два-три стихотворения я написал здесь более подходящих. Но, само



А. Твардовский и Якуб Колас на II съезде писателей БССР. (Минск, 1949 г.)

собой, все это делается в спешке и под углом прямой газетной задачи. А—буду жив да здоров—после войны напишу что-нибудь.

Слыхал, что у нас новый партком. Если ты был на перевыборах и знаешь, кто там избран,—напиши. А то оторвался я как-то. Членские взносы плачу здесь, а состою в организации в Москве, в ССП.

Увидишь Бурштына—передай ему мой самый душевный привет. Я виноват перед ним—не ответил на одно его письмо, которое он прислал мне в Белоруссию (это было накануне моего отбытия оттуда). Скажи ему, что 3 месяца назад, когда я уезжал сюда, я надписал для него «Страну Муравию». Так она и лежит, потому что он ни разу за это время не позвонил Марии Илларионовне, а позвонил бы—и книжка у него была бы уже в сундуке.

Кланяюсь Лидии Ивановне и Наталье Ивановне, приветствую Алика. Для него специально посылаю тебе одно из наших изданий. Между прочим, на фронте этот Вася Теркин (он идет в газете—сериями) имеет ни с чем не сравнимый успех. Его считают за живого человека.

Крепко обнимаю и целую.

Александр

«...этот Вася Теркин...» Книга, посланная Алику,—отдельное издание фельетонов о Теркине—коллективный труд литераторов, работавших в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» в период финской кампании. А. Твардовскому принадлежит начало этой серии иллюстрированных фельетонов—зачин: портрет героя. Из него в «настоящего» Теркина вошли отдельные строки.

Ленинград, 8 марта 1940 г.

Дорогой друг Миша!

Я, по совету товарищей, буду переводиться в члены ВКП(б) здесь, в нашей редакционной парторганизации. Об этом я уже написал в парторганизацию ССП. Одновременно обращаюсь к тебе с просьбой дать мне рекомендацию. Делаю это с легким сердцем, так как ты же меня рекомендовал и в кандидаты. Прошу также и у Щипачева. Третью найду, наверно, здесь.

Вот моя к тебе просьба. Если будет возможность—не задержи.
Жму твою руку, желаю доброго здоровья.
Привет твоим близким.

А. Твардовский.

Адрес прежний.

10 марта 1940 г.

Дорогой Саша!

Вчера я трижды начинал писать тебе письмо и трижды рвал и бросал написанное. Даже с такой несложной штукой, как письмо, у меня ничего не получалось—и все это оттого, что я не курю. Трудно работать без папиросы. И несмотря на то, что прошел уже месяц, как я бросил курить, но все равно папиросы забыть не могу, так и тянет к ней. И самое скверное это то, что тебе кажется, что так будет всегда, что желание курить останется на всю жизнь и будет вечно тебя преследовать. И как подумаешь об этом, так просто отчаяние берет. Но я все же держусь стойко и отступать не собираюсь. Мне иначе нельзя.

Сегодня утром получил твое второе письмо и решил ответить. Пусть письмо будет плохое, нескладное, но все же отвечаю.

Рекомендацию я тебе дам безусловно и пошлю ее на днях. Только как же ты будешь вступать в члены одной парторганизации, если состоишь в другой? Кажется, так делать нельзя, и тебе, очевидно, придется сначала сняться с учета и т. д.

Кстати, ты спрашивал—кто избран в партбюро. На перевыборах я не был, но избранных в партбюро примерно знаю. Избраны: Жаров, Алтаузен, Щипачев, Оськин и др. Секретарем избрана Хвалебнова. Лично ее я не знаю. Очевидно, ее рекомендовал райком. Я еще ни разу с ней не встречался и не разговаривал.

Петя Семынин шлет тебе привет. Недавно его приняли в Союз, и он очень доволен. А вот Бурштын, как мне кажется, чувствует себя неважно. Правда, работа у него сейчас пока есть, но, вероятно, он страдает от своей квартирной неустроенности, от болезней и т. д. Одним словом, он здорово похудел, осунулся, ко мне давно не заходил и не звонил. И знаешь, сию минуту у меня родилась идея. Ему было бы хорошо поехать хоть в какой-нибудь литфондовский дом отдыха. Но ведь он не член Литфонда. Надо ему посоветовать подать заявление о приеме, а мы с тобой дадим рекомендации (сейчас в Литфонд принимают и нечленов Союза писателей, если они представят рекомендации). Ведь он заслуживает этого. Пере-

водчик он хороший и во всяком случае не хуже многих, которые пользуются всеми благами Литфонда.

Прочел я присланного тобой «Васю Теркина». Идея хорошая. Но кое-какие эпизоды я бы не поместил из-за их совершенно очевидной неправдоподобности, надуманности. В этой книжке, конечно, уместны преувеличения, но надо все же, чтобы эти преувеличения имели под собой реальную основу. Тогда герой книжки казался бы жизненней и книжка, следовательно, была бы еще полезней.

Из своих домашних новостей могу сообщить лишь то, что моя благоверная лежит в больнице. Сегодня ей сделали операцию по удалению миндалин. В остальном все без перемен. Я в основном сижу дома, но довольно часто хожу гулять. Алик хулиганит и до слез доводит свою бабушку.

Ну, собственно говоря, и все, что я смог написать тебе сегодня. В другой раз постараюсь написать больше и главное лучше.

Привет!

М. Исаковский

23 февраля 1941 г.

Дорогой Миша!

Пишу тебе из Таллина, куда прибыл вчера из Риги. Хотя я приехал не как турист, но невозможно уберечься от впечатлений,—очень много интересного, невиданного.

Конечно, это лучше рассказать потом. Покамест я пишу тебе только, чтоб у тебя было письмо из Прибалтики на эстонской бумаге.

В Риге, в ресторане гостиницы «Рим», где мы останавливались, танцуют фокстрот (или что-то подобное) под твою «Комсомольскую прощальную»—и так полатышски медлительно и сонно, как будто в воде танцуют.

Миша, вряд ли я тебе привезу какой-либо существенный подарок, так как цены—наши и ассортимент примерно тот же. В Риге, например, тетрадок я не нашел. Но не унывай—найдем где-нибудь, будет на чем записывать новые творения.

Лидии Ивановне—привет.

Твой—А. Твардовский

Еще я тебе напишу с места моей работы. АТ.

«П и ш у т е б е и з Т а л л и н а...» Поездка (совместно с В. С. Гроссманом) вызвана заданием Политуправления РККА. Намечалось создание истории дивизий, принявших участие в финской войне. А. Т. и В. С. Гроссманом подготовлена история Девяностой дивизии.

26 февраля 1941 г.

Дорогой Миша!

Пишу тебе из г. Вильянди, где живу в двухэтажной деревянной гостинице «Метрополь» с печным отоплением, тазиком и кувшином для умывания и ночным горшком под кроватью. Работается хорошо (по линии задания), много интересного, но я все время вспоминаю о своих московских грехах, например, о «Песне об урожае», которую вчерне отдал Захарову. Если ты будешь ему звонить, то попроси его не запускать эту песню, хотя бы он уже написал музыку, так как я собираюсь улучшить ее текст. Это моя просьба.

Писать мне не нужно, так как я все время в движении, а письма идут, говорят, довольно медленно. Привет Лидии Ивановне.

А. Твардовский

Ялта, 4 апреля, 1941 г.

Дорогой Миша!

Моя подпись была в числе подписей на глупой курортной открытке, посланной тебе из Симферополя. Но я этим самым не считал свой долг по отношению к другу выполненным.

Пишу тебе в четвертый день пребывания здесь. Погода хорошая, но в комнате еще довольно свежо. Писать еще хорошенько не начал—перевел поэмку (окончил) Франко. Такую работу можно и в пальто делать.

Людей здесь очень мало, дружить особенно не с кем. Ближе других ко мне Василий Кудашев, прозаик тебе известный. Он шлет тебе «теплый, южный привет» (его слова).

Миша, очень плохо без хороших папирос. Все дрянь какая-то: «Кавказ», «Крым»—и курить больше хочется.

Если вдруг захочешь написать мне несколько строк, то я буду очень рад, так как письма здесь получать особенно приятно.

Привет Лидии Ивановне и Борису Сергеевичу (получил ли он деньги в «Красной нови»?).

Твой Александр

Ялта, 8 апреля 1941 г.

Милый Миша!

Ты так добр, что на одну ту глупую открытку отозвался целым хорошим письмом, которое доставило мне большое удовольствие. Не знаю, получил ли ты уже письмецо мое, которое я послал в первые дни отсюда,—оно, правда, малоинтересное.

Я, кажется, начал хорошо работать. Соблазны—они, конечно, имеются и здесь. (Между прочим, я все-таки выпиваю здесь крайне редко и мало.) Но работать можно. Одно плохо, что за отсутствием в столь раннее время знаменитостей на юге, я и мои товарищи являемся объектами самой произвольнейшей эксплуатации фоторепортеров и пр. Но, кажется, уже это кончается. Скамейки, перетасканные с мест, можно уже поставить, где стояли.

Природа меня не очень здесь трогает. Что-то не то и не то.

Очень рад, что ты взялся переводить пьесу. Это хорошо потому, что не изнурит тебя, даст заработок и будет полезно в смысле расширения опыта. Я думаю, что ты еще и сам напишешь пьесу.

Еще в заключение я хочу тебе сказать, Миша, что глубоко верю в твою общую поправку здоровья. Иначе и быть не может. Ты за лето поздоровеешь, отдохнешь. А я тебя, Миша, люблю все больше и уважаю все крепче (прости,— наоборот). Мне просто радостно знать, что у меня есть такой друг, как ты. Не сочти это за пустые слова. Я по грехам своим часто недостоин твоей дружбы. Но все же стремлюсь тоже быть таким, как ты, хорошим человеком. У меня даже почерк похож на твой. Это уже, конечно, шутка, но сказанное всерьез остается в силе.

Сейчас я кончаю письмо. Над душой сидит Василий Кудашев, с которым мы должны идти на почту и который кланяется тебе и шлет тебе опять «солнечный, южный привет».

Все лица, поименованные тобой в письме, с удовлетворением приняли твой поклон и кланяются тебе снова.

Миша, Миша, а что делается на свете! Покуда это письмо дойдет, может быть, уже черт ее что будет.

Привет мой Лидии Ивановне, Бурштыну, Семынину...

Твой А. Твардовский

8 апреля 1941 г.

Дорогой Саша!

Решил я послать тебе несколько хороших папирос, раз ты пишешь, что в Ялте есть только плохие. Очень боюсь, что дорогой их помнут. Но все же попытаюсь — может, что-либо уцелеет.

М. Исаковский

8 апреля 1941 г.

Саша, решил послать тебе еще папирос. Кури на здоровье!

М. И.

Записки, по-видимому, были вложены в коробки с папиросами.

11 апреля 1941 г.

Дорогой Саша!

Получил сегодня твое хорошее дружеское письмо. Спасибо тебе за добрые пожелания.

Очень рад, что ты начал по-настоящему работать и, наверно, привезешь в Москву что-либо хорошее. А вот у меня как-то не получается это дело, хотя

я и пытаюсь каждый день браться за него. Основная причина здесь—болезнь, которая несколько дней тому назад как будто перестала измываться надо мной, но потом возобновилась с новой силой. Опять я и слепну, и испытываю затруднение с сердцем, хотя на это последнее я меньше всего обращаю внимания.

Хотел хоть немного переводить пьесу, но вот беда—не могу достать книги. Обещали мне прислать из Ленинграда, да что-то не шлют. Обещали мне взять ее в Ленинской библиотеке, но только на несколько дней (а мне она нужна месяца на 2—3). Но даже и на несколько дней пока не берут. А вообще я доставляю себе иногда радость довольно странным анекдотическим образом. Звонят мне, скажем, из киностудии и просят написать песни для какого-то фильма. Я отвечаю, что я не могу, что я болен, что занят и пр. и пр. Но они настаивают: вы, мол, познакомьтесь со сценарием и сами все увидите; разрешите, мол, прислать вам сценарий. В конце концов я соглашаюсь, хотя заранее знаю, что песен писать не буду. Сценарий присылают, и он ложится на мои слабые плечи настоящей обузой. Так или иначе я должен с ним познакомиться. Потом мне опять звонят. Потом я еду к режиссеру, чтобы сбросить со своих плеч обузу. Чувствую себя неловко, виновато, что-то говорю, что-то объясняю. И, наконец, возвращаюсь домой довольно радостный тем, что сценарий все же сдан обратно и что песен писать не надо. А писать этих песен я не хочу потому, что они в большинстве случаев носят чисто иллюстративный характер и без картины самостоятельно существовать не могут. Стоит ли убивать силы на такие песни?—тем более, что возня с ними бывает бесконечная. Всякий, кому не лень, предлагает исправлять, переделывать и пр. Да ну их!

Начал писать о песнях и вспомнил про хор Пятницкого. Что-то последнее время его не слышно. Давно я не говорил ни с Захаровым, ни с Казьминым, но кажется, что настроение у них грустноватое. Хору определенно не повезло. Юбилей его, который должен был быть в марте, почему-то не состоялся своевременно. А сейчас он вряд ли состоится потому, что на очереди дела более серьезные. К тому же сегодня опубликовано решение о порядке празднования юбилеев и, согласно ему, тридцатилетние юбилеи не празднуются.

Мы с Лидией Ивановной все время собираемся навестить Марию Илларионовну, но все как-то не выходит. То моя благоверная сидит в своей клинике до поздней ночи, то я болею. А время идет и идет.

Иногда ко мне заходит Бурштын и мы играем с ним одну-две партии в шахматы. Иногда бывает Семынин. И тот, и другой жаждут переводов, но переводов нет и нет.

Передай мой привет Кудашеву.

М. Исаковский

Ялта, не то 12, не то 13 апреля

Дорогой Миша, число я просто не помню, ибо календаря в комнате нет, а ходить узнавать к товарищам—не хочется мешать «в творческое время».

Миша, вчера я был растроган твоими закрытыми пакетами. Спасибо, но не делай больше этого. Ибо папиросы выкуриваются скоро, а потом еще горше возвращаться к ялтинским. Но как заботу друга—ценю бесконечно.

Относительно Бурштыновых опасений—не знаю, что тебе и сказать. Я на днях только послал некоторое письмецо Ковальчик, писать вслед, еще не зная, отложен его перевод или нет,—как-то неподходяще. Могу тебе одно сказать (дело тут не в Бурштыне, ему и говорить этого не нужно), что если они там после меня снимут что-нибудь из того, что я отобрал, я их проучу. То есть просто и благородно заявлю, что работать я не стану, если так. Я не мальчик, что мне Ковальчик!

Правда, это все касается меня, а не Бурштыновых трехсот, которые выдать ему мне обещали твердо. Но, прямо говоря, у меня нет других способов воздействовать на них. Я даже не могу показывать наперед, что опасаюсь за свой отбор переводов. Я должен дождаться хамства, чтоб реагировать на него. Вот что-то в этом стиле только и могу я тебе сообщить. Если б я был на месте,—может быть, удалось бы что-нибудь придумать половчее.

Миша, мои радостные известия о погоде ты теперь забудь. У нас холод самый поганый. Пишу в пальто. Написал одну главу (вчерне), но еще без конца. Привет Лидии Ивановне.

Александр

P. S. Сейчас вроде придумал, как быть с Бурштыным. Я сниму свой перевод, так как это только отрывок, а у меня теперь вся штука переведена. Я ее и дам потом, когда будет настоящий юбилей—это в июле—в августе, кажется. Таким образом, переводов станет меньше и все будет хорошо. Пошлю телеграмму.

А. Т.

«Написал одну главу...» В Ялте А. Т. работал над темой Василия Теркииа на осиове материала фииской войны.

17 апреля 1941 г.

Дорогой Саша!

Получнл твое последиее пнсьмо. Тебе действительио не повезло—приехать на юг и сидеть в комнате в пальто—это уж иикуда не годится. Но, вероятно, пальто ты все же скоро сиимешь, потому что последиих два дия и в Москве стало теплей, а сегодня, кажется, и совсем таяло. На юге же тем более. Так что не огорчайся особенно.

А я понемногу перевожу «Лесную песию» Леси Укранннкн. И очень увлекаюсь этим пронзведеинем. Это—сказка, вроде нашей «Сиегурочкн». Но столько в ией лнрнкн, столько поэзнн, что н передать трудно. Еслн не счнтать Шевчеико, то ничего подобного я нникогда не переводил. Боюсь только, что некоторые места попорчу прн переводе,—уж очень трудно переводнть некоторые вещи. Иногда бьюсь так, как бился ты, когда переводил стнхотворение Шевченко, в котором иикак не мог справнться со словом «вдовичеико», да так, кажется, и не справился, огранничившнсь сноской. А мне сносок делать нельзя потому, что я перевожу для театра. Тут все должно быть ясно без сносок.

Но все это в общем не столь страшно. Главиое же, что сама работа приятна мне и делаю я ее с удовольствнем. Делать, однако, приходится поиемногу—потому что после 1—2 часов работы разбаливаются глаза н начннает дико болеть голова.

Отиосительио «Красной иови» ты напрасно так беспокоился. Я уже иачииаю жалеть, что напнсал тебе. Сделать тут, вероятно, иичего иельзя, тем более заглазио, а беспокойства миого. Не стоит овчиика выделки.

Жду твоего приезда. Без тебя как бы чего-то не хватает в жизнн.

Привет тебе от Лидин Ивановиы.

Твой М. Исаковский

Без даты, 1941 г.

Любезный друг мой, Александр Твардовскнй,
Лауреат, поэт-ордеиоиосец,
Член редколлегнн почтенного журиала
И член комнссий разных юбилейиых!
Я получнл вчера твое послаиье,—
Его мие подал Алик, мой племяниик,
Когда лежал я утром на диване,
О переводах думая своих.
Я разорвал конверт спокойною рукою
И стал читать. Но стало вдруг тревожно:
Я по пнсьму воочию увидел,
Что ты в большой иаходишься беде.
Как молодой, я соскочил с диваиа,
Одел штаны, в ботннкн сунул ноги,



Военные журналисты редакции газеты 3-го Белорусского фронта «Красноармейская правда». Первый справа — художник О. Верейский, второй — А. Твардовский.

Схватил пиджак и не забыл при этом
Наличность по карманам посчитать,—
Она была, как надобно, в порядке.
И зашагал я быстро вдоль бульвара
Знакомою дорогою на почту.
На почте бланк старательно заполнил,
Чтоб не случилось никакой ошибки,
И протянул приемщице в окно.
Она спросила: «Александр Твардовский?
Не тот ли это самый, что?..» — «Конечно,—
Ответил я,—а кто ж другой быть может?
Вы молнией ему переведите
Вот эти деньги в солнечную Ялту».
— Передавать начнем через минуту,—
Приемщица на это отвечала,—
Чрез полчаса они уж будут в Ялте,
А через час—Твардовский их получит.
Я выразил, конечно, благодарность
И вышел, чем-то радостно взволнован.
По-вешнему светило в небе солнце,
На всех деревьях набухали почки
(Я, впрочем, почек сослепу не видел),
И стаями носились воробьи.
И думал я о пользе телеграфа
И почему-то вспомнил Эдисона,
Хоть и не он придумал телеграф.
Пришел домой и сел за стол спокойно
И начал помаленечку трудиться
Над переводом Леси Украинки.
На этом я письмо свое кончаю,—
Оно, быть может, малость глуповато,
Да просто вот нашла такая шалость
И я взялся за белые стихи.
За сим прощай. Живи и наслаждайся,
Пиши почаще, если будет время,
Но лучше—сам скорее приезжай.
Прости, коль где отыщутся ошибки:
Писал письмо я без черновика.

М. Исаковский

Стихи написаны предположительно между 17 и 20 апреля.

Ялта, 21 апреля 1941 г.

Дорогой Миша, о получении денег я тебя уведомил тотчас телеграммой, краткой лишь потому, что я опасался быть расточительным за счет твоей доброты. Но теперь я хочу добавить несколько слов к ее тексту. Дорогой друг, я был искренне растроган. Только ты мог так сделать, то есть немедленно отозваться на призыв о помощи и выразить ее в сумме, на двести рублей превышающей просимую. И если сказать совсем откровенно, то где-то в глубине души я так и предполагал, вернее предчувствовал. Двести рублей не оказались, понятно, лишними, так как я прихватываю пару дней к своей путевке, должен внести пай за машину, да еще оплатить свое участие в одной культурно-просветительной поездке, да еще заплатить за стирку бельишка. Опять же бритье, папиросы («Чапаев», 4.50), брынза, буза и т. п.

Хотя ты можешь на основании этого перечня расходов заподозрить меня в излишествах, но—клянусь честью—они не характеризуют мой здешний быт, что подтвердится двумя новыми, написанными здесь (правда, вчерне) в условиях холодов и никотинного голодания, главами «Теркина».

Правда, может быть, они не создадут переворота, не войдут в золотой запас и т. д. Об этом будем судить после.

Я страшно рад, что работа над переводом Леси тебя не разочаровала. Грешен, боялся я, что вдруг это окажется чем-нибудь тягостным, не приносящим удовлетворения. А это просто счастье тебе. Перевод—перевод и есть, но вникание в подлинно поэтический текст—само по себе—может быть источником радости и пользы. Только не налегай сильно вначале, не изнуряйся. И да пребудет стабильным твое настроение от этой вещи.

Что тебе написать о местном народе? Люди в основном милые, приветливые — Каверин, В. Шишков, Гехт, Гайдар, Дерман, Раскин, дамы (в меньшинстве). Есть и м... (mudak) вроде некоего Э. И., литератора, больного желудком и очень гордого этой благородной болезнью.

С отъездом Жарова бильярд закрыт на ремонт. С приездом Б. перестали собираться в гостиной, так как вышеобозначенный старичок портит радиолу из соображений тишины и спокойствия. Поразительная штука: орден он носит под пиджаком, на вязаной фуфайке и не на левой груди, а на уровне пупка. И еще: уши у него заткнуты газетной бумагой. В подходящую минуту расскажу тебе кое-что из созерцательной деятельности его. У меня к нему ни злобы, ни опасения, а прямо-таки живейшее любопытство. Особь!

Второй день мы не слышим радио, а газеты, кроме местной, приходят на третий день. Страшно подумать, что покамест я писал свои две главки — что чего произошло на свете.

Лидии Ивановне — горячий привет. Никогда не забуду того, что своим пребыванием здесь я обязан в значительной мере и ей, нашедшей, что жить мне здесь не противопоказано. На этом длинном слове разреши и закончить письмо.

Жму твою аристократическую руку.

Ал.

«...внести пай за машину...» — За такси, которым пользовались А. Т. и его товарищи для экскурсий в окрестности Ялты.

Ялта, 23 апреля 1941 г.

Любезнейший Михайло Исаковский,
Не мнишь ли ты, что белыми стихами,
Достойнославным ямбом пятистопным,
Владеешь наравне с Шакеспеаром
(Как наши прадеды переводили,
Транскрипцию наивно соблюдая)
И Пушкиным и многими другими,
Чьи имена доныне чтит народ?
Оставь гордыню, жалкий подражатель,
Тебе ль доступен склад высокой речи,
Подсказанной классическою Музой
Великим из великих? Нет и нет.
Иль думал ты, что я, как льстец придворный,
Начну хвалить незрелый, кислый плод
Ума, что не был осенен наитьем
(Иль вдохновеньем подлинным), а просто
Явился из обманчивой мечты
Стареющего праздно графомана,
Который за свои пятьсот дукатов, —
Отпущенных притом взаймы — и только! —
Поэту, чьи стихи, как сам сказал ты,
Известны даже и на телеграфе, —
За злата звон хотел снискать признанье,
Хотел купить нелицемерный отклик,
Похвальных слов, восторга сладкий яд?
«Ты многое не принял во вниманье,
Ты просчитался здорово, старик», —
Сказал бы я. — И жалок твой удел:
В потомстве глухо упомянет критик,
Что, выражаясь попросту, на свете
Жил некто Исаковский Михаил.
Владел стихом он наравне с известным
Лоханкиным Васисуальем из...
Из повести «Двенадцать стульев» Ильфа
Покойного, в соавторстве с Петровым.
Лоханкин сей обычно обращался
К своей супруге, кажется, Варваре,
Да, именно, Варваре, со стихами,
Подобными той длинной, но — увы! —
Незвучной и невыдержанной в ритме
Штуковины (как молвят в просторечье),
С которою, забыв и стыд и срам,
И лучшие поэзии преданья
Оставив, ты в письме к лауреату
Осмелился однажды обратиться...

На зтом я окончу свой ответ.
Мне холодно, окоченелн члены
И все дрожат. И тянет почему-то
Меня под своды залы ресторанной,
На набережной города, где я,
Наверно, пропущу сегодня двестн
Иль трнста грамм. Амннь н богу слава!

А. Т.

Ялта, 27 апреля 1941 г.

Дорогой Мнша!

Пнсьмо мое белостнховое напнсано было слишком спешно. Отсюда его малая высокохудожественность. А твое, по правде говоря, очень неплохое. Ты правильно уловнл, что в такой штуке должны быть и лнрнческне строчкн, пейзаж н т. п. Я чнтал его здесь некоторым товарищам — очень тоже понравнлось.

Основное, что хочу сообщнть тебе теперь—зто то, что я решнл-такн остаться еще на десять дней. С одной стороны — обндно уезжать, не покупавшнсь как следует в море (не счнтать же то, что я однн раз сунулся в море, зашел по срам, выскочнл н побежал в кафе Интурнста, где быстро предотвратнл опасность простуды). С другой стороны, возвращаться без чего-лнбо законченного неловко перед собственной честной юностью, в пору каковой я почтн всегда что-ннбудь прнвознл нз любого дома отдыха. Правда, случалось, не прнвознл, но редко.

Погода—переменная, но все ж укрепляется в сторону хорошей. Цветет вовсю сирень. И хоть пахнет не так снльно, как наша, все же, еслн внюхаться утром, когда она в росе, холодненькая, то вдруг напомнится нечто такое знакомое н дорогое до слез, чего уж, казалось, н на свете нет. Я, конечно, мог бы в знак благодарностн своей к врачу Лпднн Исаковской наломать здесь ей целый веннк снренн—хоть белой, хоть снней,—но по почте не пошлешь, как н папнросы из Москвы.

Возможно, что отсюда я полечу на самолете. Но еще нензвестно, как там с бнлетамн. Железнодорожные бнлеты достаются совершенно легко.

Миша, передай еще мой прнвет Б. Бурштыну-Ирннну, скажн, что я ему еще напншу. Утешь его, сколько возможно, относительно дел.

Крепко жму твою руку. Думал вот, что буду пронзноснть скоро у тебя нлн у меня какой-ннбудь первомайскнй тост, но решнл уж погреться еще немного. У вас ведь еще, наверно, н почки не распустнлнсь?

А. Твардовскнй

28 декабря 1941 г.

Дорогой Саша!

Наконец я могу напнсать тебе. Ты так летал с места на место, что трудно было рассчитывать на то, что мое пнсьмо дойдет до тебя. В однн нз городов я послал тебе телеграмму, но ты, вероятно, ее не получнл.

Обо мне ты, вероятно, в основном знаешь все. С августа месяца со всей своей семьей я нахожусь в Чнстополе. Жнвем как будто в затншье, но все же покоя нет. Одна н та же мысль следует всюду неотступно—как там на фронте? И зтнм, собственно, сказано все. Это главное. Все остальное кажется мелочью, не заслуживающей вниманoccия.

В последнее время настроение очень повысилось в связн с нашнми успехами на фронтах. Свсдкн ндут хорошне, и зто очень н очень радует н ободряет.

Кое-что пншу. Но пншу мало и не так, как следовало бы. Что-то не получается. Но н то, что пишу, трудно нспользовать. Время сейчас горячее, надо делать все быстро. А с быстротой-то у меня н не выходит. Но еслн даже что-лнбо напишешь и пошлешь в редакцню, то пока матернал дойдет—он устаревает. Но опять-такн это не столь существенно

В последнее время сюда понаехало довольно много нашей пнсательской братнн. Здесь даже создан фнлнал Союза. Но, по совести говоря, все зто вряд ли дает что-лнбо существенное, кроме некоторой суеты н вндимостн работы. Бывают, конечно, н полезные меропрнятня, но нх не так много.

Иногда в газетах попадаются твон стихн, иногда нх чнтает здесь по радно А. О. Степанова. И знаешь—скажу тебе без всякой лестн,—стнхн ты пишешь очень хорошне. Онн резко выделяются нх всего того, что в большнх количествах пншется сейчас о войне.

Не так давно получил известие от Бурштына. Он сейчас находится «по соседству со мной», то есть в Марийской АССР. Живет в деревне, в 25 километрах от города Йошкар-Ола (туда много раньше переехала его семья). Дела у него, по-видимому, неважны. Ходит пешком в Йошкар-Олу в надежде добыть переводы с марийского. А холода здесь бывают отчаянные. А шубы у него нет. Он очень хочет написать тебе. Теперь я пошлю ему твой адрес. Был еще здесь наш общий приятель П. Семынин, но он оказался порядочным паникером и осенью уехал в Алма-Ату, а теперь, вероятно, жалеет об этом.

Здесь находятся также Федин, Треиев, Асеев, Пастернак. Они и руководят местным отделением Литературы. Местопребывание Фадеева—Казань, но он больше разъезжает, чем сидит на месте, и сейчас, кажется, находится в Москве.

В Москве же всеми литературными делами заправляет Ставский.

Знаешь, пишу я тебе все это и думаю, что ничего здесь нет для тебя интересного. Ты, вероятно, столько видел, столько пережил, что все местные дела наши кажутся тебе чем-то очень далеким и, может быть, даже ненужным.

Очень надеюсь, что ты сможешь выбрать свободную минуту и более или менее подробно напишешь о себе. А то еще здесь ходят слухи, что ты на время сможешь приехать сюда. Это было бы совершенно замечательно. Я уж чего-чего, а литр могу выставить ради встречи.

Мы очень часто вспоминаем тебя и очень хотим видеть.

Ну вот, пожалуй, и все. Прости, что письмо получилось таким скучным. Както я плохо представляю тебя сейчас, мне кажется, что ты сильно изменился и поэтому я не знаю—как к тебе подойти, что тебе сказать.

Передают самый горячий, самый душевный привет Лидия Ивановна, Наталья Ивановна и Алик.

Пиши, Саша.

Твой М. Исаковский

А курю я теперь самосейку, которую покупаю на базаре.
И знаешь—более или менее—привык.

М. И.

«находжусь в Чистополе». В Чистополь (Татарская АССР) были эвакуированы многие семьи московских писателей, в том числе семья Исаковского и наша.

Ангелина Осиповна Степанова—актриса МХАТа, жена А. А. Фадеева.

10 февраля 1942 г.

Дорогой Мишенька, бесценный мой друг!

Вот и прибыл я на место службы, прибыл со всякими приключениями, но речь не о них. Я спешу поблагодарить тебя за твое доброе письмо, мне даже совестно, что по недостатку времени и по известному рассеянию я не уделил тебе столько времени, сколько было бы нужно. Может быть, и разочаровал тебя легкомыслием. Сегодня едет человек в Москву, там он кинет это письмишко вместе с письмом Марии Илларионовне. Кстати, не забыть бы в спешке: я не написал ей в письме, что мне в Москве определенно обещали отпуск творческий, может быть, даже двухмесячный. Это—государственное мероприятие, проводимое не только в отношении меня, а ряда лиц—в целях создания произведений, которые бы... и т. д.

Миша, стихотворение твое я передал Ковальчик в Москве, оно будет напечатано, понравилось. Что же касается того, что ты дал для моей газеты, то оно пропало с моей полевой сумкой, украденной в клубе. Об этом, при случае, подробности расскажет Мария Илларионовна, которой я писал.

Сегодня в баню, а завтра-послезавтра на фронт. Начинаю все сначала. Очень все-таки хорошо, что побыл в Чистополе. Крепко обнимаю тебя, родной. Привет Лидии Ивановне, Наталии Ивановне и друзьям, каковых имеешь.

А. Т.

«...пропало с моей полевой сумкой...» Навестив семью в Чистополе, А. Т. поехал в Москву: он ходатайствовал о переводе на Западный фронт—поближе к родной Смоленщине, об освобождении которой не переставал думать.

Вот что сообщил он мне, по возвращении из Москвы в Воронеж, на место работы: «В клубе писателей в комнате президиума у меня украли мою чудную полевую сумку, а в ней было и несколько писем для товарищей, и записная книжечка, и кое-какие бумажонки».

В числе утраченного оказалась и подготовленная к печати машинописная рукопись М. В., которую А. Т. должен был сдать в издательство. Ее мне пришлось восстановить с помощью «двухпальцевой системы письма», так как я только начала осваивать машинку, приобретенную нами перед началом войны. Невосполнимой была утрата записной книжки. В ней были записи о первых днях войны. Утрату их А. Т. не раз вспоминал, работая над «Теркиным».

Петрусь Бровка и Михаил Исаковский.



9 марта 1942 г.

Дорогой Саша,

очень обрадовался, получив сегодня твое письмо. Просьбу твою—сообщить Марии Илларионовне о твоем предполагаемом отпуске—я, конечно, выполню. Она сегодня была у нас, но письмо я получил после ее ухода. Вообще, она заходит довольно часто,—главным образом, за газетами. В этом году я сначала не получал газеты, потом Лидии Ивановне удалось выписать «Правду». А тут еще редакция «Правды» сделала подписку на мое имя, так что наше семейство получает теперь 2 экземпляра, один из которых откладывается для Марии Илларионовны.

Между прочим, вчера я неожиданно был удивлен и тронут одним обстоятельством. Вдруг получаю от Новосельского перевод на 500 р. (перевод был адресован на Москву, но почта дослала его). И тут я вспомнил, что когда-то давно одолжил Новосельскому 500 р. и совершенно забыл от этом. И, конечно, только Новосельский с его величайшей честностью и аккуратностью мог вспомнить об этом да притом будучи в боевой обстановке. Он мне пишет, что находится на фронте с начала войны, чин его—старший лейтенант. Пишет, что все его домашнее имущество погибло в Смоленске 28 июня (очевидно, во время бомбардировки). О своей семье не пишет ничего.

Затем я хочу перед тобой покаяться. Я тут написал один фельетончик, в котором использовал твой рассказ о змее и скорпионе. Но, конечно, в фельетоне все повернуто по-другому. Фельетон в художественном смысле, конечно, ничего интересного не представляет, хотя его и можно напечатать в отделе юмора той газеты, в которой ты работаешь. Впрочем, печатать я его нигде не собираюсь, а пишу о нем просто так, чтобы ты знал. Сейчас собираю небольшую книжонку стихов—кажется, можно будет ее напечатать в «Советском писателе», хотя отсюда это и трудно сделать. Впрочем, книжонка ерундовская—всего 500 строк. Но я считаю, что и такую книжку надо издать, тем более что стихи новые (правда, среди них много слабоватых).

От Ковальчик я получил телеграмму. Она пишет, что стихи идут в № 1. Спасибо тебе, что ты их передал, а то я сам, пожалуй, даже и не решился бы отправить их.

О пропаже твоей сумки я знаю от Марии Илларионовны,—она весьма огорчена этим обстоятельством. Но, быть может, пропажа еще найдется? [...]

Ну вот, Сашенька, пока и все. Надеюсь, что если ты получишь отпуск, то мы снова увидимся. Это было бы замечательно. А вообще, пиши мне как только будет возможность. Большой тебе привет от Лидии Ивановны, Наталии Ивановны и Алика. Всего тебе самого лучшего.

Твой М. Исаковский

15 июня 1942 г.

Дорогой Саша!

Известные тебе мои стихи я послал на имя Войтинской отдельно. Это я сделал в предположении, что тебя может не оказаться в Москве, и, следовательно, если бы я их послал на твое имя, то они могли бы долго пролежать в ожидании твоего возвращения.

Однако один экземпляр стихов я все же посылаю и тебе. Это на тот случай,

если они у Войтинской почему-либо не пойдут — и тогда можно будет, если ты найдешь нужным и возможным, передать их в какой-либо другой орган печати (желательно в газету).

Стихи, по твоему совету, я переделал, поправил. Однако и сейчас некоторые места меня совсем не удовлетворяют. Но я так забил голову этими стихами (писал очень долго, много раз переписывал, переделывал), что просто нет силы еще раз возвращаться к ним, по крайней мере, сейчас. Долго раздумывал — посылать или нет и пришел к такому выводу, что надо попробовать: если в стихах и есть недостатки (а они есть), то эти недостатки все же терпимые. Одно меня смущает, что стихи все же не очень газетные, а напечатать их хочется в газете — потому что, на мой взгляд, сейчас люди читают главным образом газеты.

Впрочем, все это выяснится на месте.

Если ты еще не уехал из Москвы, то узнай при случае у Войтинской все, что полагается, и, буде возможно, напиши мне.

Напоминаю тебе также о твоем обещании устроить мне подписку на «Известия». По этому же поводу я написал и Войтинской и надеюсь, что общими усилиями газета будет выписана.

Конечно, это свинство с моей стороны загружать тебя всякими делами — ты и без того много для меня сделал, но, как я тебе неоднократно писал уже, — другого выхода нет. Приходится.

Здесь уже пятый день нет почты — ни писем, ни газет. А без этого в Чистополе как-то совсем уж плохо. Вот город, так город! — даже доставку почты не может организовать, а еще числится городом республиканского подчинения.

Дочь твою Валентину в целости и сохранности доставил с аэродрома. Она была грустна от расставания с тобой, но в то же время и довольна — потому что сама видела, как ты полетел, как поднялся самолет и пр. Довольна она была также и тем, что получила от тебя несколько рублей. Вот, говорит, если б я не пошла на аэродром, то денег бы у меня не было.

Вообще, чудачка она. В тот же день взяла читать у меня книжку «Всадник без головы». Я ей предлагал взять и «Трех мушкетеров», но она сказала, что возьмет потом, когда прочтет «Всадника».

После твоего отъезда погода совсем испортилась. Я даже мерзну за своим колченогим столом — очень холодные ветра дуют — того и гляди, что рамы из окон полетят.

Табак твой выкурен, но махорка еще имеется. На несколько дней хватит — так что унывать особенно не приходится.

Привет тебе от Лидии Ивановны, Наталии Ивановны и Алика. Жду твоих писем.

Твой М. Исаковский

«Известные тебе мои стихи...» «Семья» («В далекий путь собравшись втихомолку...») Опубликованы в «Известиях» 27 июня 1942 г., № 149. Позже печатаются под заголовком «Оттуда». Включены во 2-й том Собрания сочинений. М. «Худ. лит.», 1968 г.

Войтинская О. С. — работник отдела тыла газеты «Известия». Ведала вопросами литературы и искусства.

«Если ты еще не уехал...» Редакция газеты Западного фронта «Красноармейская правда» базировалась в это время в Москве при типографии газ. «Гудок» (ул. Станкевича) в пяти — десяти минутах ходьбы от нашей квартиры, которой и пользовался для работы и ночлега А. Т. Это было очень отрадно, так как он всю жизнь был чувствителен к условиям работы, предпочитая во время нее полную изоляцию. Условия эти изменились в 1943 г., когда фронт отодвинулся от столицы и редакция выехала из Москвы.

«Дочь твою Валентину... доставил...» М. В. провожал на аэродром вторично приезжавшего на 3—4 дня в Чистополь А. Т. Поехала проводить отца и старшая дочь. На этот раз А. Т. приезжал к нам проститься перед выездом на Западный фронт.

25 июня 1942 г.

Дорогой Саша!

Недавно узнал от Марии Илларионовны про твои огорчения. Очень тебе, Саша, сочувствую, и очень становится горько от сознания, что немало еще у нас людей завистливых, недоброжелательных и вообще непорядочных. Твою телеграмму мы расценили так, что тебе «подложили свинью» за время твоего отсутствия. Мария Илларионовна называла даже фамилии тех, кто это мог сделать, но я тебе их не буду называть.

Но ты, Саша, не очень огорчайся. Правда, сейчас тебе уже будет труднее работать над теми вещами, над которыми ты хотел бы работать, и, очевидно, большую часть времени придется отдавать ежедневным нуждам газеты. Однако у тебя есть большой плюс. При всех положениях ты умеешь оставаться самим собой, то

есть давать вещи хорошие, свои, написаиные со свойственной тебе маиерой, хотя ты их и должен был, может быть, писать наспех, торопливо. И как бы там ии было, за истекший год ты иаписал миого хорошего, хотя и работал в трудных условиях. Так, вероятио, будет и теперь. И пусть это тебя хоть немиого утешит.

Не зиаю, где ты сейчас, ио мие говорили, что твоя редакция иаходится в Москве. А раз так, то, стало быть, ты бываешь и у себя дома н письма можио писать тебе по домашнему адресу.

У меия иикаких перемеи нет. Заият преимуществеино мелкими делами и еще более мелкими заботами, что весьма огорчительно.

Сегодия получил от «Советского писателя» деньги, ио получил почему-то сумму, в два-полтора раза превышающую ту, иа которую я мог рассчитывать. В чем дело—ие зиаю: ие то оии тираж повысили (было 10.000 зкз.), ие то оплату увеличили (чего ие может быть). Хотел иаписать запрос, ио потом решил, что не стоит, а то еще потребуют деньги обратио, скажут, что выслали по ошибке, а мие деньги до зарезу нужиы. Поэтому постараюсь их поскорей истратить (благо, что это очень легко), чтобы нечего было возвращать.

Табак (самосад) пока имею. Вчера ои кончился было, ио сегодня удалось прн счастливом содействии Дермана достать пять стаканов. Теперь дней иа 10 хватнт.

Если будет время—иапиши поподробией о себе: о Москве и вообще обо всем, о чем иайдешь нужиым.

Если встретишь Маршака и Фадеева—передавай им мой сердечный привет.

Клаияются тебе моя жеиа, Наталья Иваиовиа н Алик, который скоро стаиет заправским токарем.

Жду твоих писем.

М. Исаковский

«...узнал... про твон огорчення...» По прнезде нз Воронежа (Юго-Западный фронт) в Москву намечалось закрепленне Твардовского за одной нз центральных газет. Предположнтельно называлн «Красную звезду» нли «Правду».

До определення места его будущей работы А. Т. успел навестнть семью в Чнстополе, а по возвращенин в Москву выступнть (22 нюня) с творческнм отчетом на заседаннн Военной комнссни Союза писателей о первых месяцах работы во фронтовой газете «Красная Армня». Он чнтал свон баллады н некоторые готовые к этому временн главы нз «Теркнна». Отчет А. Т. прошел с большнм успехом. Друзья полагалн, что он будет оставлен в Москве. Однако назначенне он получнл в «Красноармейскую правду».

А. Т. впоследствнн ннкогда не жалел о том, что годы войны у него связаны с этой, а не другой газетой. В «Красноармейской правде» он встретнл хорошнх товарнщей, доброжелательных, высско ценнвшнх его работу. Со многнмн нз ннх он поддержнвал добрые отношення до конца свонх дней.

И еслн он чего опасался прн новом назначеннн, так это лншення возможности трудиться над собственнымн замысламн н в условнях, сколько-ннбудь прнблнженных к требованням пнсательской профессии.

Поннмая смысл такой перемены, М. В. н пншет другу утешнтельное пнсьмо.

Дерман А. Б. (1880—1952) — лнтературовед. Нанболее крупные работы—о Чехове н Короленко.

28 августа 1942 г.

Дорогой Саша!

Обращаюсь к тебе по следующему поводу. На этих диях (может, завтра) я пошлю Войтииской стихотворение «Письмо по радио». Это «Письмо» представляет из себя вот что: деревеиский мальчик, пользуясь оказией, пишет письмо для передачи его по радио на фронт—своему отцу (причем ни адреса отца, ни вообще его судьбы ои ие знает). В письме рассказывается, как ои (мальчик), его мать и дед живут в захвачеином немцами районе. Рассказ ведется по-деревенски, по-мальчишески иаивио и деловито. И эта иаивность в сочетании с теми фактами, о которых рассказывается, и должиа создать то впечатлеиие, которое требуется. Ты, может быть, помнишь стихи Ивана Франко «Письмо из Бразилии», которые я переводил. Так вот мое «Письмо» в какой-то мере похоже иа них. Даже размер одии и тот же. Не зиаю—иасколько мие удался мой замысел, но мие сейчас все же хотелось бы напечатать то, что я написал. Но я, поиимаешь ли, боюсь, что в редакции могут не поиять того тоиа, который я взял, ои, может быть, ие дойдет до сознаиия и пр. Поэтому могут иачаться «поправки», «переделки» и пр. (конечно, если стихи ие будут отвергнуты совсем). А от этих редакциоиных поправок у меия прямо-таки сердце рвется. Поэтому я иапишу Войтиискои, чтобы оиа, в случае чего, обратилась к тебе. Прости, что это, может быть, оторвет тебя от работы, которой ты заият сейчас (я это зиаю), но я думаю, что тут ие поиадобится миого времени. Да и вообще, я ие имею в виду, чтобы ты что-либо переделывал, а чтобы, может быть, просто уговорил, что переделывать ие иадо и пр.

Я бы и ие стал писать тебе по этому поводу, да меия в «Известиях» одии раз уже «переделали». Читатель, может быть, и иичего не заметил, а я получил газету, и у меия иастроеиие было испорчеио, по крайней мере, иа целый день. А то

вот недавно в «Правде» опустили четверостишие и тоже совершенно зря. Я даже догадался, почему это сделано. Очень курьезная причина, и я как-нибудь расскажу тебе о ней. Но так или иначе, а все это неприятно.

Стихи Войтинской посылаю, можно сказать, с некоторым риском. Дело в том, что здесь не так давно была Вера Инбер. Она специально зашла ко мне, передала привет от «Правды» и пожелание (редакционное), чтобы я печатался только в «Правде». Но я все же решил послать (и посылать в дальнейшем) стихи и Войтинской, потому что после того, что она сделала для меня, я не могу остаться по отношению к ней и глух и нем. Это просто было бы непорядочно с моей стороны. Но что со мной будет — я не знаю, как к этому отнесутся в «Правде», и вообще, что все это значит. Хотелось бы, чтобы ты высказался по этому поводу, так как тебе там, надо полагать, виднее.

Живу я, Саша, по-прежнему. Как видишь, пытаюсь кое-что делать, хотя и не всегда удачно.

Очень тяготит меня положение на фронте. Переживаю это как свое самое большое личное горе. Готов пойти на все, лишь бы этим зловещим гадам настал скорее конец. Ох, как я их ненавижу, этих немцев!

Сегодня немножко порадовали наши успехи на Западном и Калининском фронтах.

Книжка моя в «Советском писателе», очевидно, застряла. Ни слуху, ни духу. Если она даже выйдет — радости от этого не будет никакой. Уж очень поздно.

Слышал по радио главы из твоей новой поэмы. То, что слышал, мне понравилось. Подробно говорить не могу, так как для этого надо бы прочесть глазами. Но вполне уверен, что поэма твоя будет иметь большой успех. Жаль только, что печатаешь ты ее (по словам Марии Илларионовны) в журнале не совсем солидном. Лучше все же было бы в газете.

Кланяются тебе все наши. Если будет время — напиши.

Твой М. Исаковский

1 сентября 1942 г.

Дорогой Саша!

Рассказывала мне Мария Илларионовна, что ты очень обиделся на нас по поводу того, что она тебя упрекнула в том, что свою поэму ты напечатал не в газете. Аз, грешный, по своему незнанию также вроде как бы упрекнул тебя в том же (в своем последнем письме). Прости, Саша, если я сделал тебе больно. Я ведь не знал всех обстоятельств дела.

Хочу еще тебя спросить — неужели тебе нельзя приехать сюда хоть недели на две? Ведь если ты сидишь и пишешь, то ты можешь делать это и здесь с большим успехом. А то ведь, поскольку я знаю, опять-таки от Марии Илларионовны, быт твой крайне неустроен и это не может не отражаться на работе. Право, набрался бы ты смелости и доказал бы своему начальству, что тебе во всех смыслах полезно побыть некоторое время здесь.

На днях я получил, наконец, знаменитое послание ко мне, сочиненное тобой, Маршаком и Фадеевым (привезла его жена Фадеева, Ангелина Осиповна). Очень приятно было его читать, хотя, конечно, мне и не верится, что на всю компанию была всего поллитровка.

О себе, Саша, писать ничего не буду — уж очень много накопилось всяких горестей и лучше их не трогать.

Низко кланяется тебе Лидия Ивановна, а также Алик, а также Наталья Ивановна. Если будет время — пиши. Но лучше приезжай.

Твой М. Исаковский

«...ты очень обиделся на нас...» Речь шла о том, где должен был печататься «Теркин». Мне и М. В. — тыловикам, жившим, как большинство жителей страны, газетами, — казалось самым целесообразным отдать поэму в одну из центральных газет. Не зная всех возможностей автора, не представляя его обязательств перед газетой, в которую он был назначен и для которой должен был работать, мы усиленно советовали ему не отдавать «Теркина» в малоизвестный и, как нам казалось, малочитаемый журнал «Красноармеец». Автор и сам, возможно, предпочел бы «Красную звезду», «Правду» или «Известия» этому тонкому журналу, но, связанный определенными служебными обязательствами, он не мог воспользоваться нашими советами. И тем обиднее они ему казались.

«...знаменитое послание...» В архиве М. В. пока не обнаружено.

7 октября 1942 г.

Дорогой Саша!

Хочу сказать тебе, что очень хороший ты человек, хороший друг и товарищ.

Меня до глубины души трогает твоя заботливость. И знаешь, если бы у меня не было таких друзей, как ты, то мое существование здесь было бы совсем невеселым. И, конечно, оно было бы во много раз лучше, если бы ты был где-то рядом. А то ведь, честное слово, живу я здесь очень одиноко и некоторые моменты переживаю весьма горестно. Взять хотя бы такой случай. Не так давно здесь устраивался платный («благотворительный») литературный вечер. Конечно, главное место среди участников вечера занимали находившиеся здесь «классики». Но был приглашен также и аз, грешный. Вообще, меня приглашают на литературные вечера, хотя в душе вряд ли считают меня за поэта. А приглашают потому, что не могут не пригласить, хотя бы уже по той причине, что я, единственный из «чистопольцев», печатаюсь в газетах. Мне было сказано, что поэты будут читать на вечере «ранние стихи». Таковыми должен быть представлен и я. И как-то в голову сразу не пришло—в чем тут дело. А дело было в том, что «ранними стихами» люди пытались отгородиться от современности, от войны. Это я особенно остро почувствовал на самом вечере. Публика тоже подобралась «подходящая». Некоторым весьма замысловатым поэтам она аплодировала вовсе не потому, что понимала прочитанное, а потому, что это прочитанное было не теперешним и пр. Очень больно было видеть все это. Но так или иначе пришлось выступить и мне. И тут я с горечью вспомнил тот анекдот, который ты рассказывал про себя. А именно: одна девушка спросила свою подругу—знает ли та стихи поэта Твардовского? И та ответила: как же, мол, знаю,—что пишет про хомуты и вожжи.

Ну, так вот было и со мной. Я ведь тоже пишу «про хомуты», и я почувствовал, что здесь, на этом вечере, среди «изящных словес» мои хомуты и оглобли никому не нужны, что выступал я зря. Ушел я домой крайне огорченный.

Я рассказал тебе про этот случай, чтобы ты понял то «окружение», в котором здесь мне приходилось жить. Что же касается «хомутов», то, конечно, им я никогда не изменю. И несмотря ни на что, я уверен, что как раз «хомуты», которые так презираются некоторыми ценителями «изящной словесности», важнее, чем многие, может быть, красивые, но пустые слова.

От всех зол я стараюсь найти спасение в работе и делаю, что могу. Правда, не всегда у меня получается как бы этого хотелось. Бывает чаще всего так, что на пять плохих стихотворений пишется одно хорошее, но и то хлеб!

Немного не повезло мне с Захаровым. Для него как раз хочется сделать что-либо хорошее. Однако песня—дело капризное. Вообще-то говоря, хорошая песня—это находка. А находки попадаются редко. А тут я взялся написать сразу несколько песен и, конечно, вышли они «так себе». Трудно писать по прямому заказу да еще несколько штук! Это как-то связывает, и только необходимость заставила меня согласиться на это дело.

В ближайшее время здесь состоится твоя радиопередача. Организует ее Дерман и сделает, наверно, хорошо (речь идет о «Василии Теркине»). Дерман очень хорошо к тебе относится, и ко мне как будто тоже. Сейчас это, пожалуй, единственный человек из оставшихся здесь, с которым можно встретиться, поговорить и пр.

Не знаю, слышал ли ты по радио новые откровения Кирсанова. Но это очень смешно: Кирсанов—и вдруг начал писать раешником («в народном духе!»). Смешно и противновато. Уж очень пахнет подделкой под народ.

Получил я от Войтинской очень хорошее письмо. Сам не знаю—чем я заслужил такое отношение к себе. Хотелось бы в ответ послать ей тоже что-либо хорошее и вообще посылать чаще, но тут я до некоторой степени связан. Об этой связанности расскажу тебе как-нибудь при встрече—тут тоже любопытная история.

Сегодня собираюсь навестить Марию Илларионовну. Она вчера заходила к нам, но меня случайно не было дома. Мы с ней при встречах почти всегда обсуждаем проблемы войны, ее перспективы и пр., но так как стратеги мы плохие, вернее, никакие, то никак не можем договориться до определенных результатов. Верим в одно, что война кончится нашей победой. А это главное.

Шлет тебе низкий поклон моя благоверная, которая по-прежнему работает в госпитале и очень устает. Кланяются тебе также Наталья Ивановна и Алик. Все мы были бы рады, если бы тебе удалось заглянуть в Чистополь. А для меня это был бы настоящий праздник.

Ну вот, Саша, пока и все. Пиши, не забывай, поскольку будет возможно. А лучше всего постарайся приехать.

Твой М. Исаковский

18 октября 1942 г.

Дорогой Саша!

Определенно не везет мне на посылку писем: как пошлю тебе куда письмо—так, глядишь, ты уже оттуда уехал. То же случилось и теперь: написал я тебе на полевую почту, а Мария Илларионовна говорит, что ты уже в Москве и, возмож-

А. Т. Твардовский, А. Е. Корнейчук и Н. М. Грибачев на Пленуме ЦК КПСС (1962 г.).



но, что письмо мое не дойдет до тебя. Поэтому посылаю тебе эту открытку. Хочу сказать, что очень тебе благодарен за твое дружеское участие в моей судьбе. Право же, это сильно поддерживает меня. Буду рад, если выберешь время и напишешь.

Твой М. Исаковский

Низкий поклон тебе от всех моих домочадцев.

27 октября 1942 г.

Дорогой Саша!

Спасибо тебе за книжку, которую я получил сегодня. Ты молодец—пишешь много и хорошо. А я вот не могу тебе послать даже то тщедушное издание, которое недавно вышло в «Советском писателе». Мне почему-то прислали только 8 экземпляров. Я их роздал в надежде, что пришлют еще, и сам остался с тем экземпляром (одолженным), который ты прислал Марии Илларионовне со своей надписью.

Ничего сколько-нибудь любопытного сообщить тебе не могу. Все по-старому—однообразно, тошно. Приехал бы ты все-таки сюда—веселей стало бы. Когда будет время—пиши.

Привет от всех наших.

Твой М. Исаковский

«Спасибо тебе за книжку...» «Юго-Западный фронт». Изд-во «Молодая гвардия», 1942 г.

19 декабря 1942 г.

Дорогой Саша!

Письмо напишу тебе после, а сейчас, наскоро, хочу послать хоть эту открытку.

Вчера получил посылку. Очень тронут твоим вниманием. Ты даже не представляешь себе, как я тебе благодарен и как много значит для меня все сделанное тобою.

Чемодан твой, предназначенный для Марии Илларионовны, я вчера же отнес ей. Все были очень рады, хотя Валя в первую минуту была разочарована тем, что за чемоданом не оказалось тебя. Увидя знакомый чемодан, она решила, что приехал ты и что впереди несут твои вещи.

Привет и спасибо тебе от всей моей семьи.

Твой М. Исаковский

21 декабря 1942 г.

Дорогой Саша!

Я получил действительно царский подарок от своих друзей. Не знаю теперь—как и благодарить их. Получил я все, о чем ты пишешь в письме, но получил также и такие вещи, которые в твоем письме не перечислены, и теперь не знаю—кому за них сказать спасибо. Папиросы, конверты—это от тебя. Но, вероятно, от тебя также и сухари, и кофе, хотя об этом ты, очевидно, из скромности не на-

писал. От Фадеева—шоколад н печенье (сахару, о котором ты пишешь, не оказалось). От хора—консервы (11 банок), бутылка вина от Казьмниа и табак от Прокошнной. Все это я перечисляю, чтобы создать себе полную ясность, и прошу тебя написать мне—так ли я все понял.

Но так нли иначе, Саша, сделали вы для меня много. Честное слово, просто не знаю—какимн словамн ответнть на все что. Однм словом—спаснбо, спаснбо! Буду встречать Новый год (теперь есть с чем)—разреши выпить за твое здоровье, за твои дальнейшие успехи.

Мария Илларионовна цитнровала мне твое письмо, а также рассказывала о вступлении ко второй частн «Васнлия Теркина», в котором (вступленнн) говорится по поводу газеты, которую должен разложнть перед собой поэт н пр. н пр. Знаешь, все это мне очень нравится. В связн с этим мне хотелось бы подсказать тебе еще одну темку, которую можно было бы хорошо обыграть мимоходом. И еслн ты скоро прнедешь в Чнстополь (а я на это надеюсь), то я изложу тебе все подробно.

Письмо это я дописываю после того, как сходил в баню, чем я очень доволеи, потому что выполннл одну нз своих обязанностей, что сделать в Чнстополе ие всегда возможно.

Хотел бы тебе написать кое-что о своей работе, но, честное слово, похвалнться нечем. Пишу я главным образом такие вещи, которые нужны для газеты, да и то пншу мало: дни сейчас очень короткне, часто пасмурные, и я почти ннчего не могу делать. Живу очень одиноко, друзей у меня здесь нет, н я почти ннгде не бываю. Есть хороший старик Дерман, к которому иногда приятно зайтн, но сейчас у него сильно больна жена, н поэтому не хочется беспоконть ни его, нн ее. Вообще говоря, живет он довольно скудно н никак нельзя помочь ему. Он, между прочим, в совершенном восхищеннн от Гроссмана (Васнлия), и это, конечно, правильно. Я не знал раньше Гроссмана, как пнсателя, а теперь он мне нравится все больше н больше. Война несомненно выдвннет целую группу очень хороших пнсателей, подходящнх к своей работе со всей серьезностью, пншущнх правднво, глубоко, нскренне. Не обойдется, конечно, и без того, что кое-кто постарается выдвинуться незаслуженно, но, очевидно, тут ничего не сделаешь. «Издержки пронзводства» (кажется, я выразнлся не совсем так) должны же быть.

Тебя, Саша, я тоже хотел бы поздравнть с большим успехом. «Васнлий Теркин»—очень хорошее произведение.

В конце хочу попросить тебя вот о чем: еслн тебе на глаза попадется моя тщедушная книжонка, возьми ее и пришли мне сколько можно экземпляров. Не делай этого спецнально, чтоб зря не утруждать себя, но **при случае** вспомни. Прнвет тебе от всех нашнх и большое спасибо. Простн за столь плохую бумагу.

Твой Исаковский.

«...о вступлении ко 2-й частн...» М. В. нмеет в виду стихи, не входящне теперь в канонический текст позмы. Вот этот фрагмеит из главы «От автора» ко 2-й частн «Василия Теркина»:

На войие душе солдата
Сказка мириая мнлей.
Сказка-быль о жеиах, семьях,
Об огиях столиц и сел,
О родиых советских землях,
По которым враг прошел.
О какой-нибудь Колодие,
Ныиче спалеииой дотла.
О гуляике средь села,
О реке, что там текла,
О судьбе, что в гору шла,
О той жизни, что была,
За которую сегодия
Жизнь отдай,—хоть как мила.
Вот что иам всего дороже,
Вот за что и в бой идешь.
Вот чем сердце растревожить

Мог бы каждому...
Ну что ж!
Друг-читатель, не печалься—
Делу время ие ушло.
Все зависит от иачальства,
А иачальство все учло:
Все коицы и все иачала,
Сердца вздох, запрос душн.
Увязало, указало
И позволило: пиши!
Отрази весиу и лето,
Место осени отмерь.
И задача у поэта
Просто детская теперь.
Разложи перо, бумагу,
Сядь, газетку почитай:
Чтоб ии промаху, ни маху
Не случнлось, н катай...

(«Красноармейская правда», 12 декабря 1942 г.)

Москва, 17 января 1943 г.

Мнлый Миша, пишу тебе накоротке, касаюсь основных вопросов. Первое—это относительно Кулешова. Ты можешь потнхоньку ужимать вещь, где очеиь уж захочется, нбо и он еще не считает вариант окончательным. Но работать над ней нужио. Она будет иметь успех, прннесет тебе барыш. Да н сама вещь стоящая.

Приехал Захаров, рассказывал, как чудесно удалось переправить посылки в Чистополь. Хороший они народ, пятницкие!

Между прочим, ему и тебе будет приятно узнать, что «И кто его знает» переведен на английский язык. Маршак говорит, что перевод замечательный, и знатоки песенного дела предполагают, что песенка обойдет Англию и США, так как, помимо всего прочего, необходимо учитывать интерес ко всему русскому в этих странах.

Твое беспокойство относительно мнимого беспокойства, причиненного якобы тобою, лишено всяких оснований. По совести сказать, мною и Фадеевым сделано и дано слишком мало, чтобы мы могли приписывать себе заслугу оказания внимания и т. д. Основное это доля хора и его забота о доставке.

Миша, терпи до весны все, что бы ни пришлось. Весной все вы приедете.

Привет мой Лидии Ивановне, Наталье Ивановне, Алику.

Александр.

29 января 1943 г.

Дорогой Саша!

Пишу тебе по просьбе одного человека. Здесь живет ленинградский актер А. Д. Авдеев. Он усиленно читает на концертах твоего «Василия Теркина». Однако у него имеются только отрывки поэмы, а он хотел бы иметь ее всю. Поэтому его и моя просьба к тебе—прислать, если можно, «Теркина», по возможности всего.

Я сейчас усиленно перевожу Кулешова, но работа идет что-то плохо, переводится как-то трудно. Поэма Кулешова—вещь хорошая. Однако при ближайшем рассмотрении находятся в ней места довольно слабые. Вот с такими местами особенно много возни. Если бы здесь был сам автор,—можно было бы посоветоваться, кое-что переделать или даже сократить. Но автора здесь нет, и поэтому все приходится брать на себя.

Очень часто мне хочется писать тебе письма, но я не всегда делаю это, зная, что ты по горло занят, и учитывая трудную обстановку жизни в Москве. В таких условиях, конечно, тебе не до писем.

Я здесь довольно основательно страдаю от холода—за столом мерзнут руки и трудно работать. С деньгами в последние дни дело немного наладилось—получил аванс от «Знамени». Некоторое время могу быть спокойным, хотя и недолго.

Вообще же говоря, живу сейчас надеждой на то, что весной удастся выбраться отсюда. Если этого не случится, то уж и не знаю—что будет. Мария Илларионовна также очень хочет в Москву и ждет весны. Да и во всей колонии разговоры идут только об этом.

Кланяются тебе все наши—Лидия Ивановна, Наталия Ивановна и Алик.

Твой М. Исаковский.

3 февраля 1943 г.

Дорогой Саша!

На днях с Хесиным я послал тебе небольшое письмишко, а вчера получил твое и хочу немедленно же ответить.

Сейчас занят исключительно Кулешовым. Перевожу. Как я уже писал тебе, поэма Кулешова мне весьма нравится. Места в ней есть исключительно хорошие. Но она в ряде деталей совершенно не отделана, и это меня очень удручает. Удручает потому, что хорошие места как-то и переводятся легче, над ними работаешь с увлечением, а как попадется какая-нибудь «рогоза»—так и не знаешь, что с ней делать. И времени уходит много, и плохо получается. Есть несколько мест, которые просто не соответствуют друг другу. Так, например, пятая глава начинается с того, что «месяц стежку в дубняк застилает холодными лучами» и пр. А буквально через несколько строк, без всяких переходов, говорится, что «я иду возле жита». И весьма непонятно—при чем был дубняк, почему его надо было упоминать. Есть немало мест чисто прозаических, которыми связываются отдельные куски или объясняются поступки героев. Например, в одном месте говорится так:

На реке оборону держать
Их бригада отведена в тыл.
Нас в бригаду решили послать,
Чтоб прибавить им сил.

Такое объяснение по ходу действия необходимо, но согласись с тем, что в нем нет ничего поэтического.

Так или иначе поэму я все же переведу, хотя срок мне дали не весьма большой—всего 2 месяца (а переводится трудно).

Ах, Саша, если б ты знал—как я жду весны и какие надежды на нее возла-

гаю! Поэтому твоя приписка—ждите, мол, весны, весною вас всех заберем—иа меня подействовала крайне ободряюще. Вообще ты меня стараешься всячески ободрить и сообщаешь приятные новости—иапример, новость о переводе на английский язык песни «И кто его знает». Это хоть и не крупное событие, но все же радостно. Спасибо тебе.

У Марии Илларионовны, кажется, все в порядке. Я с Лидией Ивановной был недавно у нее на именинах твоей дочки Оли. Там же были Петровых, Стрельченко и Дерман (очень хороший старик, а живется ему тут плохо).

Сейчас тороплюсь на почту—какая-то добрая душа прислала иемиого денег. Надо их получить и, кстати, отправить это наспех начириканное письмо.

Кланяются тебе все наши.

Твой М. Исаковский.

«...п о з м у я в с е ж е п е р е в е д у...» Замедлениость переписки в условиях военного времени привела тогда к единствеино правильному решеиию, приинятому во время первой читки «Стяга бригады», которая происходила на квартире у Твардовского. Переводчику (М. В.) был послаи изначальный вариаит позмы, и одновремеино автор иачал работу по усовершенствованию ее текста: сокращались длиниоты, дорабатывались слабые места.

Когда пришел перевод М. В., А. Кулешов проделал иад ним работу, уже произведенную в подлиннике. Для редактирования иовых связок н переходов, иеизбежио появившихся в позме, журиал выделил в помощь автору редактора—поэта В. В. Казина.

Хочется отметить, что теперешний (каиоиический) текст «Стяга бригады» отличается от изначального довольно существенио: ои ужат автором примерно иа 500 строк.

К. С т р е л ь ч е н к о—вдова поэта В. Стрельчеико, погибшего на фроите в январе 1942 г.

М. П е т р о в ы х—поэтесса, переводчик.

6 марта 1943 г.

Дорогой Саша!

Числа 10 марта из Чистополя уезжает в Москву очеиь хороший человек и столь же хороший писатель Гроссмаи В. С ним я хочу послать в «Знамя» перевод позмы Кулешова «Знамя бригады». Наконец-то я закончил этот перевод. Я уже тебе как-то пнсал, что переводилось по ряду причин трудно. И как это ни странио, меня больше всего обескураживало то обстоятельство, что поэму авансом расхвалили. Обескураживало, хотя сам я отношусь к поэме совсем не отрицательно. Было такое чувство, что читатель ждет чего-то необыкновенного, а тут есть и «необыкновенное» и самое «обыкновенное». И так как ты до некоторой степени являешься «внновником» того, что позму так расхвалили, то я и хочу сказать тебе несколько слов о ней. Мне бы очень хотелось также поговорить с Кулешовым, но так как я не могу сделать зтого, то, может быть, ты при возможной встрече с ним передашь ему мое мнение (если, конечно, оно что-либо значит для него). Я очень люблю стихи Кулешова. По-моему, сейчас ои самый талантливый из белорусских позтов. Поэма его также хорошая. Много в ней мест по-настоящему поэтических. И именно позтому мне хотелось бы, чтобы вся поэма до последней строки была отделана, «как игрушка», чтобы в ней все было пригнано и пр. Но этого, к сожалению, нет. Ты, конечно, читал позму и поэтому знаешь, как хорошо в ней сделана первая глава (а разговор с куклой—зто настоящая находка), как прекрасна песня подневольных жней, построенная умно и тонко и с таким неожиданным, но в то же время самым естественным коицом. Как хороша Лизавета н пр. Но наряду с зтим есть в позме места совершенно невыразительиые. Например, место, где рассказывается о том, как Рыбка Алесь учился воеиному делу. Очень хорошо задумана легенда о цимбалисте, но до конца она недодумана, написана кое-где неряшливо и поэтому не производит должного впечатления. А конец этой легенды чересчур обычный, трафаретный н ни в какое сравнение не может идти с концовкой «песни подневольных жней».

Недавно я получил новый зкземпляр поэмы, сокращенный Кулешовым строк на 200 и кое-где исправленный. Однако, как мне кажется, все зто сделано наспех и никакого улучшения не внесло, а в иных случаях наоборот. Насколько поспешно сделаны исправления, говорит хотя бы такой случай. В одном месте поэмы Кулешов говорит, что «Проснулся сегодня рано. Ночью где-то слышались пушки» и пр. Немного ниже говорится, что пушки слышны уже **днем** (т. е. надо понимать, что фронт приблизился). Сокращая поэму, Кулешов выбросил первую часть (ночью) и оставил только «**днем**». Получилась неувязка.

Очевидно, кто-то ему посоветовал нзъять из позмы агронома. Он отовсюду его вычеркнул. По-видимому, у Кулешова не было времеии свести концы с концами, и позтому в иных случаях он выбрасывал очень хорошие строки. Так, например, он выбросил место, где Лизавета провожает уходящих:

Нас у жніўныя далі
Кабета праводзіла з дому,
Доўгі час пазіралі
Вочы шэрыя услед аграному.

Яго стомленым крокам
Яны гаварылі нібыта:
Да Урала далёка,
Далёка, далёка, Мікіта.

Это место не надо было выбрасывать. Но тут, очевидно, нужно было все переделать, перерифмовать, чтобы «изъять агронома», а времени для этого не было, и поэтому Кулешов просто механически выбросил это место. Это жаль.

Много, конечно, есть и других мелких неполадок, на которые можно было бы указать. И мне кажется, что надо как-то внушить Кулешову, чтобы он при первой же возможности доделал свою поэму. И если он сумеет сделать ее всю на таком же уровне, так же старательно, как сделаны лучшие места ее, то получится просто замечательное произведение. Я, например, как-то по-другому сделал бы конец. Он должен быть сильней. Я, например, изъял бы такие чисто прозаические, «справочные» строки, как строки о немецком старосте Медведском:

Ён судзіўся калісь за падпал
Птушкаводчае фермы.

Все это требует другого подхода, не такого прямого, не такого газетного.

Пишу, Саша, сегодня письмо Фадееву. Хочу, чтобы Союз как-нибудь забрал меня весною отсюда. А то становится просто невыносимо. В частности, лечиться мне здесь совершенно невозможно, и глаза мои дошли до такой степени, что читать я уже не могу и писать мне трудно. Кулешова, в частности, я едва одолел. Видно, нельзя мне браться за такие длинные вещи. Боюсь также, что потом и жить в Москве мне будет негде. По последним сведениям, квартирой моей завладела какая-то бойкая воинственная баба. Она покусала милиционера, взломала двери и снова там живет и никого к себе не пускает. А что же я могу сделать с ней—слепой и слабый? Да она меня на порог не пустит. А там бегай, ищи на нее управу.

Так что, Саша, хочу в Москву. Пусть даже трудно будет, но все же буду, как говорится, на месте.

Мария Илларионовна говорила мне, что с Хохловым ты посылаешь мне письмо. Жду этого письма с нетерпением—я уже давно от тебя ничего не получал.

Между прочим, кто такая Михайлова, что работает в «Знамени»? Я никак не могу решить—знаю я ее или не знаю.

От Бурштына получил недавно открытку. Он уехал добивать немцев, находится в артиллерии.

«Василия Теркина» получил. Спасибо. Его тут усиленно читает Авдеев (по радио и на концертах), поэтому книжка находится у него.

Пиши, Саша, когда будет возможность.

Твой М. Исаковский.

20 марта 1943 г.

Дорогой Саша!

Сегодня я по радио услышал постановление о присуждении Сталинских премий. И первой моей мыслью было написать тебе. Знаешь, это не фраза, что к радостному чувству, которое я испытывал, примешивалась большая горечь по поводу двух людей: тебя и Г. Мне просто больно это, как, впрочем, и многим другим членам нашей колонии. И если я хоть отчасти могу себя утешить тем, что ты еще будешь в списке, что сейчас тебя нет лишь потому, что произведение не закончено и пр., то по отношению к Г. я просто не могу дать себе никакого объяснения. Надеюсь, что упущение будет в дальнейшем исправлено, что тут произошло, быть может, недоразумение.

Это письмо дописывается уже 22 марта. Вчера я и Лидия Ивановна были у Марии Илларионовны. Она устроила роскошное угощение, и я, грешный, выпил ту водку, которая была приготовлена на случай твоего приезда. Собственно говоря, угощение должен был устроить я, но обстоятельства сложились так, что постановление о премиях застало меня без копейки денег. Поэтому пришлось отложить.

Сейчас думаю относительно приезда в Москву. Вначале это решение было твердым—с открытием навигации приехать всей семьей. Но сейчас я стал уже раздумывать—не преждевременно ли это? Ведь неизвестно, как сложится обста-

новка на фронте. Можно было бы (временно хотя бы) уехать мне и Лидии Ивановне (один я не могу), но как оставить одну Наталью Ивановну—больную старуху? Алик сейчас уже в счет не идет, потому что его уже вызывали в военкомат и не сегодня-завтра он пойдет в армию. Но в общем, все как-нибудь устроится.

Получил несколько предложений дать для издания сборник избранных стихов. Но сделать такой сборник здесь я не могу, так как под руками ничего нет.

А знаешь ли ты, что наш общий друг—Б. Бурштын некоторое время был в армии (в артиллерии), там он заболел и теперь снова вернулся в Йошкар-Олу.

Пиши, Саша, если будет время. Низко кланяются тебе Лида, Наталия Ивановна и Алик.

Твой М. Исаковский.

«...угощение должен был устроить я...» М. В. была присуждена Государственная премия за ряд популярных песен: «И кто его знает», «Катюша», «Шел со службы пограничник», «Провожанье» и др. Это событие и было отмечено нашими семьями.

25 мая 1943 г.

Дорогой Саша!

Давно я тебе не писал ничего. Это потому что думал скоро быть в Москве и лично тебя увидеть. Но с отъездом получилась чепуха, и все потому, что вовремя не могли прислать пропуска. Сначала думали мы уехать с первыми пароходами. Потом—в конце мая. Наконец, Хесин прислал телеграмму, что отъезд назначен на 10 июня. А теперь опять отложили до 20 июля (до 20 ли?). Такая неопределенность (едем—не едем?) совершенно выбила меня из колеи. Дважды я собирал деньги на дорогу и дважды их уже истратил. Теперь уж и не знаю—откуда их собирать: все, что полагалось, получил, получил даже ссуды, откуда только можно было, и все же очутился «на бобах».

Все по той причине (то едем, то опять не едем) я как-то и работать по-настоящему перестал, и это весьма прискорбно.

После твоего отъезда Мария Илларионовна находилась в унынии—очень беспокоилась за тебя. Я пытался ее утешать, всячески доказывая, что ничего плохого быть не может. Но на нее это, кажется, слабо действовало. Сейчас она, получив твои письма, успокоилась. Я тоже рад, что ты чувствуешь себя уверенно, несмотря на некоторые неприятности.

А я, Сашенька, как видно, и в самом деле старею. Вероятно даже, что скоро стану дедушкой. Смешно, но факт. Недавно получил письмо от своей дочки Лены. Пишет, что вышла замуж. Вот, брат, дела-то какие!

Недавно слышал по радио о присвоении звания генерал-лейтенанта Фадееву Александру Александровичу. По всем признакам, это как будто наш Фадеев. И я хотел даже поздравить его. Но потом подумал—а вдруг другой Фадеев? Конфуз получится, как получился у меня однажды, когда я поздравил одного человека с получением ордена, а орден-то получил не он, а его однофамилец.

Кстати, еще о Фадееве. В нашем доме живет невестка Фадеева (жена его умершего брата). А у нее есть дочка Мура—девочка лет 6—7. Как-то эта Мура попросила меня нарисовать кота. Я нарисовал кота, вернее, что-то совсем не похожее на кота, потому что рисовать я абсолютно не умею. На всякий случай я подписал печатными буквами, что это кот, и печатными же буквами написал такие стихи:

Вот он вышел кот какой!—
Толстомордый, хмурый.
Я его своей рукой
Рисовал для Муры.
У нее наверняка
Он попросит басом:
— Дай мне, Мура, молока
И кусочек мяса.

Так я начал работать на поприще детской литературы (дошкольный писатель). И вот, видишь, какое влияние может оказать на писателя племянница Фадеева. (Здесь я хотел пошутить, но что-то вышло неинтересно.)

А письмо это я дописываю два дня спустя после того, как начал.

Сейчас получаю довольно много писем—все еще поздравительных. Они приходят так поздно потому, что адресуют их не прямо сюда, а на Союз писателей или «Правду». Есть даже такие, на которых просто написано «Москва—такому-то». Среди писем есть очень приятные для меня. Много писем (большинство) с фронта, что особенно хорошо. Пишут отдельные бойцы и командиры, но пишут также и целые воинские подразделения. Отыскалось немало знакомых, земляков—в частности, учительница из Оселья (помнишь?) Наталья Ивановна Мака-

рова (она же Четыркина). Она сейчас в Тамбовской области. Иногда приходят письма от таких людей, о которых думалось, что их уже и в живых нет. А они, оказывается, живы, здоровы и бьют немцев.

Вот, Саша, письмо мое подходит к концу. Собираясь писать, хотел тебе рассказать что-либо путное, а заполнил четыре страницы (именно столько разрешено писать наркоматом связи—не больше) всякой чепухой. Но думаю, что и о пустяках иногда можно поговорить. Поэтому письмо посылаю. Спрашивал у Марии Илларионовны, на какой адрес тебе лучше писать—на московский или на полевую почту. Она мне посоветовала на московский—там, мол, тебе перешлют. Так я и делаю. Ну, ты уж мне на Чистополь не отвечай—вряд ли меня застанет твое письмо. А по приезде я постараюсь встретиться с тобою или в крайнем случае заново списаться.

Поклон тебе от моих.

Всего тебе хорошего.

Твой М. Исаковский.

Москва, 4 июля 1943 г.

Дорогой Саша!

Собирался вчера зайти к тебе, но ничего не получилось. С утра ходил по поводу телефона и радио, был где-то возле еврейского кладбища и очень устал. А в 4 часа меня просили приехать в «Правду», где я и пробыл часов до 7. Вообще жизнь беспокойная. Сегодня же с ночи почему-то страшно разболелась нога (коленка) и я едва хожу. Так что опять не судьба мне попасть к тебе. Но у меня есть теперь секретарь, который и вручит тебе эту записку. Тебя я прошу поискать мой перевод «Лесной песни» Леси Украинки и прислать мне сейчас. Это очень нужно, так как в понедельник я обещал дать его для прочтения одному человеку.

[...]

Твой М. Исаковский.

15 ноября 1943 г.

Дорогой Саша!

Посылаю тебе письмо, полученное от Марьенкова из Татищева (вероятно, Саратовской обл.). Письмо адресовано и тебе, и мне, и поэтому я думаю, что ты должен познакомиться с его содержанием. Положение у Марьенкова, судя по письму, крайне тяжелое.

Моя с Фадеевым поездка в родные места откладывается на неопределенное время: Фадеев усиленно пишет повесть и не хочет отрываться от работы. Это, конечно, хорошо. Я рад за него и не тороплю его, не тормошу с поездкой. Тем более, что и сам я сейчас поехать не могу, ввиду того, что остался без шубы. Рассчитывал получить промтоварный лимит и купить шубу, но мне его не дали.

Сейчас я выполняю разные «заказы» газет, и очень меня тяготит это. Хоть я и стараюсь внести в эти «заказы» что-то свое, но все же получается не совсем то. Кроме того, «заказы» и сроки их исполнения действуют на меня странным образом: как только мне скажут, что к такому-то сроку я должен сделать то-то, так немедленно голова моя как бы делается пустой, самые рядовые вещи мне кажутся трудными, непреодолимыми. И прямо не знаю, что делать.

Хор им. Пятницкого задумал меня и тебя снабдить картошкой. Кажется, картошку они купили, но никак не могут привезти ее на квартиру мне и тебе (по 4 пуда)—нет транспорта. Поэтому чувствуют себя, очевидно, неловко. Я, конечно, молчу—мне неудобно напоминать. Боюсь только, что они запрягут в тележку своих хористок. Это было бы крайне плохо.

Если будет время—напиши о своем житье-бытье. А то без тебя и без твоих писем как-то очень пустынно.

Жена моя Лидия Ивановна низко тебе кланяется, как и все остальные члены семьи.

Твой М. Исаковский.

4 декабря 1943 г.

Дорогой друг Миша!

Третьего дня я послал тебе письмо, но нет полной уверенности, что оно дойдет: почта уже была упакована, дал его «дополнительно» незнакомому человеку, который обещал дать ему ход в пути.

Кратко повторю, что писал я о Марьенкове. Не можешь ли ты послать ему от меня еще рублей 300. Я очень хотел бы это сделать, но денег у меня здесь нет. Если не очень затруднительно—будь другом, сделай. Напоминаю адрес: Татищево Саратовской обл., до востребования.

Я ему уже написал, передал его письмо как реликвию его жене и дочери, ко-

торая на днях родила девочку. С ними здесь большие хлопоты. В поезде их держать не хотят, комнату достать уже почти невозможно. Обещают, дело тянется.

Живу я, Миша, скудной трудовой жизнью, очень похожей на твою чистопольскую. Об этом я подробнее говорю в том письме, что уже послал тебе. Пишу, но мало радуюсь написанному. Порой очень одиноко на душе, кажусь иной раз себе таким умным, что и поговорить не с кем: все дураки вокруг. Вроде того получается. А проще сказать—устал. В сущности, третий год я пишу, как линотип, ничего, кроме неприятностей от начальства, не последовало за сей период. Не то, говорят. А я знаю, какое «то» требуется, да не выходит у меня то «то». Однако дух мой бодр и готов к новым длительным испытаниям.

Страшно хочу в Москву, словно не был там несколько лет, а приедешь, наверно, тоже не все так хорошо, как начинает казаться здесь.

Крепко обнимаю. Поклон Лидии Ивановне и всему дому. Привет друзьям—Фадееву.

Твой подполковник А. Т.

11 января 1944 г.

Дорогой Саша!

Непосредственным поводом к написанию этого письма явилось письмо Марьенкова, который все разыскивает тебя и никак не может найти. Сейчас он сам переменил адрес (Новоузенск Саратовской обл., Дом инвалидов—Е. М. Марьенкову). Просил он меня, между прочим, поговорить о нем в Союзе писателей. Я бы даже сделал это, но считаю, что время для переговоров сейчас крайне неподходящее. В Союзе ожидаются некоторые перемены—возможно, значительные. И мне очень жаль Александра Александровича, хотя сам он как будто чувствует себя бодро. Но я-то знаю, что «братья-писатели» постараются выместить на нем все свои неудачи и мелкие обиды, хотя он в них и не повинен.

Вероятно, тебе будет неприятно, но я все же хочу написать об одном факте, имеющем отношение к тебе. Под Новый год я получил подарок—твой портрет. Портрет подписан: «Автор «Василия Теркина». На обороте процитированы некоторые твои высказывания. К портрету было приложено письмо на мое имя довольно странного содержания. Кто принес портрет—я не знаю. Дело было вечером. Я в это время лежал. Кто-то позвонил, открыл дверь Алик, и ему был вручен сверток, в котором, как потом оказалось, был твой портрет. Вот и все.

Живу я, Саша, скучновато. А главное, с моими глазами происходят какие-то нехорошие штуки и вижу я все хуже. Вот хорошо, что сегодня выдался солнечный день—поэтому я имею возможность написать тебе письмо.

Лидия Ивановна и все остальные тебе кланяются. Алик дней через пять, кажется, уходит в армию.

Всего тебе хорошего.

Твой М. Исаковский.

22 июля 1944 г

Дорогой Сашенька!

Очень хотел тебя видеть, когда был в своем родном городе, но, как ты знаешь, попал я туда в такое время, когда ты отправился дальше и встреча наша состояться не могла. Пробыл я там три дня, пережил уже давно не испытываемую неприятность (ночную), но в общем все обошлось благополучно. Очень мне понравился Попов и, хотя я разговаривал с ним всего три раза по нескольку минут, но я понял, что человек это умный и хороший. Если будешь у него, передай ему мой привет.

Город произвел на меня грустное впечатление своими разрушениями. Но в нем я, может, впервые почувствовал, что жизнь есть жизнь и, что бы ни случилось,—она идет вперед, не зная остановки. Люди живут, работают, влюбляются, ходят на свидания и прочее, как будто ничего не случилось. Сначала мне казалось это немножко странным, а потом я понял, что это так и должно быть.

Пишу тебе это письмо из своей новой резиденции на ул. Горького. Получил я квартиру в доме, что напротив твоего (наискосок), и нахожусь в ней уже третий день. Стоило неимоверных трудов и большой трепки нервов переехать сюда из-за отсутствия транспорта. Литфонд уверил меня, что все будет сделано, и я, как дурак, три дня сидел на чемоданах и смотрел в окно—вот-вот должна подойти машина. Но ее все не было. Когда на другой день я звонил туда, мне говорили, что вчера, мол, не могли, но сегодня все есть—и машина, и бензин, и люди—и все будет сделано. Однако ничего сделано так и не было. И в конце концов меня выручил все тот же всесильный хор им. Пятницкого. Они достали машину и бензин; их певцы и гармонисты перетаскали мои вещи.

Сейчас я впервые в жизни имею свою отдельную квартиру, свой «кабинет». В этом большое преимущество новой квартиры. Ее большим недостатком является то, что все окна выходят на улицу Горького,—поэтому страшно шумно. Это мешает и работать и спать. Точно такую же квартиру (три комнаты) и в том же самом подъезде, но только на 6-м этаже (моя на 2-м) получил Захаров. Казьмину же пока ничего не дали, хотя, кажется, пообещали дать через некоторое время.

О нашем коллективном произведении пока ничего не слышно. После того, как мне пришлось срочно переделывать припев (вернее, писать новый), произведение наше было представлено Потемкиным в Совнарком РСФСР и так как никаких новых указаний не последовало, то я полагаю, что в Совнаркоме РСФСР оно прошло. Но ты сам понимаешь, что если его там и приняли, то все же не будут публиковать без согласования с высшими инстанциями. А время для такого согласования, очевидно, еще не подошло.

Союз писателей усиленно навязывает мне одну работу. Он созывает совещание по песне и хочет, чтобы я сделал на нем главный доклад. А разве я могу это? Ведь я же двух фраз связать не умею. Кроме того, мне потребовалось бы прочесть всю песенную литературу, чего я не в силах сделать физически, так как почти не могу читать—так плохи мои глаза. Но Союз (Поликарпов и Тихонов) очень настаивает, и я не знаю, как быть. Во всяком случае, это для меня большое огорчение, и я сильно нервничаю, отчего чувствую себя еще хуже.

Если будет время—напиши. Буду рад твоему письму.

Твой М. Исаковский.

«...давно не испытываемую неприятность...» Бомбежку города.

«О нашем коллективном произведении...» Речь идет о совместно написанном стихотворении «Наше солнце над нами», которое рассматривалось в соответствующих инстанциях с точки зрения пригодности его в качестве гимна РСФСР.

Потемкин В. П.—народный комиссар просвещения Российской Федерации.

Поликарпов Д. А.—секретарь Союза писателей, позже—ответственный работник ЦК партии.

3-й Белорусский, 30 июля 1944 г.

Дорогой мой Миша, прости меня, что я до сих пор не собрался тебе написать. В Смоленске мы разминулись с тобой на день. А с тех пор у меня пошла жизнь совсем иного порядка. По внешним признакам передвижения, усталости и тому подобному это напоминает мне первое лето, только по существу все совсем иное. Я счастлив, что своими глазами вижу этот, заключительный этап того, что так перегрузило мою душу в своем начале. Я, может быть, и не в силах сейчас же найти для всего этого соответствующие слова выражения на бумаге, я пишу всякую газетную всячину, но это меня даже не удручает сейчас. Я к тому, что период этот меня настолько замордовывал физически, что не было сил собраться написать даже жене. Поверь, что это так. Я только последние дни немного осел на одном месте, а то три четверти суток проходили на колесах. И это бы ничего, если б не требовалось писать в газету, иногда в состоянии предельной усталости. Напишешь то, что в номер безотлагательно, а потом уж и сил нет писать что-либо. Так, несмотря на то, что я обогатился тетрадями (я не забыл моего старого друга, для него у меня есть тетрадь, какой он еще не имел), мои личные записи очень скудны. Вот это все в объяснение моего неписания. А тебе большое спасибо за твое письмо, так радостно было узнать твою руку на обрезанном и вновь склеенном конверте. Поздравляю тебя и Лидию Ивановну, а также Наталью Ивановну с переездом на новую квартиру. Приятное соседство,—вот бы не война, так в гости можно ходить друг к другу по два раза в день. Я надеюсь, что еще у нас будет время использовать эту возможность и, может быть, очень скоро. Дела идут нечего говорить, как хорошо. Ты сам все знаешь, хотя бы по салютам, которые тебе наблюдать теперь особенно удобно с балкона новой квартиры. Кстати, кланяйся Захарову и другим при случае (я подумал о твоих затруднениях с переездом и вспомнил о нашем Хоре).

Миша, ты будь спокойнее относительно всяческих вокальных совещаний и выступлений. Все это переливание из пустого в порожнее, и нужно это только тем, кто тебя привлекает. А коль ты уж привлекся, то будь еще более спокоен относительно того, что и как там скажешь—все будет хорошо, как бы ни сказал. Я одно время здесь (до наступления) волею судеб сделался знаменитым докладчиком и убедился, что докладывать мы можем не хуже других.

Крепко тебя обнимаю, дорогой друг, очень хочу поскорей встретиться с тобой, очень рад буду каждой твоей строчке.

Привет всем твоим домашним.

Твой А. Твардовский.

13 марта 1945 г.

Дорогой Саша!

Наверно, ты не получил моего письма, которое я отправил тебе уже довольно давно.

Очень бы хотелось встретиться с тобой и крайне жаль, что попытка вызвать тебя в Москву окончилась безрезультатно. Возможно, что удастся вызвать тебя к пленуму правления Союза писателей. Во всяком случае я буду стараться сделать это.

А я понемногу тут тебя «редактирую». Мария Илларионовна, наверно, пишет тебе, чем это вызвано. Боюсь только, что ты когда-нибудь рассердишься и напишешь юмористический рассказ «Как меня редактировал Исаковский».

Составил я книжку для Смоленска. Мария Илларионовна составила для той же цели твою книжку. Теперь ждем приезда в Москву Рыленкова, потому что посылать почтой такие рукописи — дело весьма ненадежное.

Хотелось бы написать тебе несколько больше, рассказать некоторые смешные и грустные вещи, но уж очень у меня холодно — руки замерзли окончательно. Прошу поэтому простить за плохой почерк. Сижу я в валенках и в шубе, как в Чистополе. Топят отвратительно. Вообще живу я невесело. Часто вспоминаю тебя и очень жду встречи. Если будет возможность — напиши несколько строк. Лидия Ивановна и Наталья Ивановна кланяются тебе.

Твой М. Исаковский.

«А я понемногу тут тебя редактирую». В Воениздате готовилась книжечка А. Т. «Возмездие», в связи с чем потребовались некоторые изменения в тексте. Позже автор восстановил свой текст.

«...книжку для Смоленска». М. Исаковский. Стихи. Песни. Поэмы. Смоленск, 1947.

«Мария Илларионовна составила... твою книжку». А. Твардовский. Избранное. Смолгиз. 1946.



ЗРЕЛОСТЬ МАСТЕРА



А. Звонак. С вами и наедине. Перевод с белорусского. Издательство «Художественная литература», Москва, 1976

После войны мне пришлось редактировать книгу избранных стихов Алеся Звонака «Тебе одной». В ней я не нашел многих стихотворений 30-х годов, которые помнились еще с юношеских лет. Я поинтересовался, почему автор не включил их в избранное. Оказалось, что в разрушенном Минске трудно отыскать подшивки довоенных газет и журналов. А рукописи пропали.

В одном из этих стихотворений — «Шаги эпохи» — были такие строки: «Ты ідзеш над зямлёю, падзеямі узрушаны час, ты ў агні рэвалюцый нясеш чалавецтву збавенне...»

Настоящие произведения искусства трудно забыть. Так бывает и со стихами, в которых слиты воедино глубокая мысль, художественный образ и совершенная поэтическая форма.

Алесь Звонак (Петр Борисович Звонак) принадлежит к поколению тех поэтов, что пришли в литературу в середине двадцатых годов. Родился он в 1907 году в Минске в рабочей семье. Алесю Звонаку было восемнадцать лет, когда в газете «Савецкая Беларусь» было опубликовано первое его стихотворение «Красноармеец — мой брат».

В 1926 году вышел коллективный сборник «Пунсовае ранне», в котором поэт был представлен уже широко. Потом появились новые книги стихов и поэм: «Буры ў граніце» (1929), «На лініі агню» (1932), «Мая радзіма» (1935).

Много и плодотворно работал Алесь Звонак и в послевоенные годы. И вот — книга избранных стихов в переводе на русский язык «С вами и наедине».

Конечно, трудно в небольшом по объему сборнике представить все созданное известным белорусским поэтом, но определенное представление о его творческом пути, о характере его лирики всесоюзному читателю эта книга дает.

Стихи Алеся Звонака, как бы давно они ни были написаны, созвучны нашему времени. И это вполне объяснимо: тема труда, любви к Родине, партии и народу всегда волновала поэта. Сам он прошел большую трудовую жизнь. Еще в детстве ходил с отцом по селам, строил печи, дома. В 1921 году вступил в комсомол. Стал одним из организаторов литературного объединения «Маладняк», возглавлял его Полоцкий филиал. Плодотворными были и годы учебы сначала в Белорусском, потом в Московском уни-

верситетах, в Ленинградской академии искусствознания.

Долгие годы провел поэт на Севере, был простым шахтером и начальником шахты, рабочим экспедиции и главным геологом, золотодобытчиком. Одновременно он повышал свою квалификацию в Свердловском политехническом институте. И никогда не расставался с поэзией. Она в любых условиях была неизменной спутницей его жизни. Много ездил он по родной Белоруссии, по братским советским республикам. Украина и Прибалтика, Казахстан, Узбекистан, Грузия... Через всю нашу огромную страну пролегли пути-дороги поэта. Итогом каждой такой поездки были вдохновенные стихи о советских людях, об обновлении родной земли. Подтверждение тому читатель найдет в книге «С вами и наедине». Поэт как бы проводит нас от пограничного Бреста и Минска до далеких таежных просторов, где ночью у костра «геолог беседу ведет, где бывал он, какие разведал края...»

В малейшем обломке породы
Читал он разгадки природы,
Копался в долинных размывах,
Брал пробы в расселинах скал,
Сбирал золотые песчинки—
Богатство искал для народа—
Спускался в глубокие шахты,
Где в кварце сверкает металл.

(«Ночь у костра». Перевод Б. Кежуна).

Поэт восхищается плодами созидательного труда советского человека, его самоотверженностью и мужеством. Трудовой и ратный подвиг народа всегда радовал и вдохновлял поэта, был и остался источником его проникновенной лирики.

За наукой мы шли на рабфаки
за парты,
а оттуда—на стройки и в пекло войны.
Шли туда, где нужнее всего были
партии,—
С нею жили дыханьем и чувством
одним.

(«Мое поколение». Перевод Гр. Куренева).

В этом же стихотворении он говорит и о том, что нас учила эпоха быть мудрыми и смелыми, ибо только мудрость и смелость берут города.

Да, время—великий учитель. А мы прожили бурное, незабываемое время и многому научились. В бою и в труде, на фронте и в условиях сурового Севера советский человек всегда оставался мужественным и смелым, был патриотом своей Родины, до конца преданным идеалам великого Ленина. Таков и лирический герой Алеся Звонака, таким он предстает перед читателем от первого до последнего стихотворения книги «С вами и наедине». У поэта не найдешь мелких, поверхностных и декларативных рассуждений. Любая тема разработана им глубоко и основательно, со знанием того, о чем он пишет. Ясность мысли, стремление к философским обобщениям, простота и доступность поэтического письма делают творчество Звонака близким широкому кругу читателей.

Обратимся к двум стихотворениям, написанным в разные годы: «Красное урочище» и «Озеро Джека Лондона». На первый взгляд, они навеяны красотами природы. Но это только на первый взгляд. Под умелой рукой мастера они заговорили и о красоте человеческого труда:

...Я шел. Молоток, ватерпас мой
со мною,
Да кельма, да руки в мозолях—со мной,
Сады, напоенные брагой хмелькою,
Да липы, шумящие над головой...

Года пролетели... Просторы Сибири,
Полярные стужи дружили со мной.
Я снова на родине. Синие шири
И небо глубокое над головой.

(«Красное урочище». Перевод Н. Брауна).

В этом бывшем лесу на окраине Минска, давшем название цитировавшемуся выше стихотворению, через много лет поэт увидел гигант индустрии—Минский автомобильный завод, проспекты и улицы нового города.

Истинный поэт, Алесь Звонак с большой теплотой пишет о далеких северных краях, еще по-настоящему не обжитых человеком. Он восхищается их первозданной красотой, но—чувствуешь по взволнованным строкам—поэту не менее близка и рукотворная красота городов. Характерно в этом отношении стихотворение «Озеро Джека Лондона».

Мало кому известно это озеро в Якутии, да оно и не отмечено на карте. Очевидно, рассуждает поэт, геолог, впервые попавший на берега этого озера, был большой романтик. Он пришел сюда, чтобы преобразить здешние края, поставить их богатства на службу человеку. И поэт уже рисует в своем воображении будущее этой земли:

Что ж, хвала и честь его отваге,—
Первым он открыл сюда маршрут.
Резвые якутские коняги
Склон за склоном весело берут...

А начальник нашего отряда,
Старый волк таежных мест глухих,
Все толкует нам, как здесь каскады
Загрохочут между скал крутых...

Как пошлют турбины по-над краем
Блеск огней в немую эту ширь...
Внемлет молча, слезы утирая,
Речи той погонщик-юкагир...

А пока сюда ведут дорогу,
Сотрясают взрывы тишину...
И глядятся горные отроги
В этих тайн открытых глубину.

(«Озеро Джека Лондона». Перевод Н. Брауна).

Разве не сбывается в наши дни мечта геолога-романтика о преображении ранее дикого края? Не так давно первый поезд прошел в Якутию по новой железной дороге—северному ответвлению БАМа, где началось создание огромного

территориально-производственного комплекса. Именно там работает немало строителей-белорусов, земляков поэта.

Обратят на себя внимание и другие стихотворения Алеся Звонака, но особенный интерес, мне кажется, вызовет цикл сонетов, созданных им за последнее время. Известно, что сонет—трудный вид поэтического творчества. В белорусской поэзии впервые эту классическую форму возродил Максим Богданович. Есть отдельные сонеты и у других поэтов. Однако Алесь Звонак взялся основательно за разработку этого жанра, он создал тридцать сонетов. Они разнятся тематически, но если искать в них что-то общее, кроме формы, то нельзя не почувствовать того общественного звучания, которым они все наполнены.

Пять из сонетов под общим названием «Весны мелодии живые»—«Удивление», «Вечера» «Март», «Ожидание» и «Тебе»—помещены в сборнике «С вами и наедине». И нужно сказать, что это несомненная удача поэта.

В переводах стихов Алеся Звонака участвовали многие русские поэты. Нужно сказать, что они успешно справились со своей задачей. Им удалось передать все особенности творчества поэта, сохранить своеобразное звучание его стихов.

В феврале Алесю Звонаку исполнилось семьдесят лет, и книга избранных стихов «С вами и наедине», вышедшая как раз накануне юбилея, стала творческим отчетом поэта перед всесоюзным читателем.

Рыгор НЕХАЙ

УТВЕРЖДЕНИЕ НОВИЗНЫ

●



Алесь Жук. Снег под солнцем. Рассказы и повести. Перевод с белорусского. Издательство «Молодая гвардия». М., 1976.

Эта книга рассказов и повестей Алеся Жука завершает целый этап в развитии молодого прозаика, этап, который можно условно назвать ранним.

Но обратимся непосредственно к книге «Снег под солнцем».

...Светло и тревожно армейскому старшине Юре Спицыну от того, что он видит чистые глаза сына, «в которые не заплыла и не застыла там тень обиды, издевательства или жестокости». Светло, потому что видит в нем себя, свое продолжение. Тревожно, потому что знает, какие испытания ждут в жизни эту детскую душу. Он знает: «идти надо далеко и долго».

«Идти долго» (так называется рассказ писателя)—в этих словах целое миросозерцание. И не только героя, но и самого автора. Человек рожден для долгой жизни. Быстротечной она представляется лишь тогда, когда мысленно абстрагируешься от ее действительного течения, от всего, что было прожито и пережито и что ждет впереди. На самом деле ее вполне хватает, чтобы человек смог проявить себя, свою подлинную человеческую сущность в каком-нибудь большом и важном деле. Все зависит в конечном счете от него самого, от его способности быть на высоте своего великого назначения очеловечивать мир, гуманизировать самого себя. «Идти долго»,—как бы напоминает молодой писатель,—и нужно быть по-человечески добрым и чутким, чтобы, идя по жизни, не растратить первичной чистоты души, непосредственности восприятия, ощущения своей кровной связи с природой и миром людей. Именно такой высокой мерой—мерой человечности, духовности—выверяет А. Жук сущность своих героев.

Главный герой произведений молодого прозаика чаще всего находится в состоя-

нии, когда человек подводит итоги какого-то периода или даже всей своей жизни. Спокойный и привычный ритм его существования вдруг нарушается, и он невольно оказывается наедине с самим собой и целым миром. Обычно это происходит либо глубокой осенью, либо зимой. Счастливое душевное равновесие, когда человек уверен в себе, смело смотрит вперед, когда он увлечен тем, что находится непосредственно перед глазами и что создает видимость полноты жизни, внезапно исчезает, а на их место приходит непонятная глухая тревога, смутное состояние беспокойства. Это состояние обнаруживает неудовлетворенность героя самим собой, своей жизнью, тревожное ощущение чего-то такого, что должно было быть, но так и не случилось. Он снова и снова предпринимает попытки осознать причины своей неудовлетворенности и не боится сказать правду самому себе.

Жаждет простоты, искренности, непосредственности в отношениях с возлюбленной лесник Голуб («Отблески звезд»). Он болезненно переживает двойственность своего положения, когда нужно притворяться потому, что его подруга отказывается принять окончательное решение. Он чувствует, что любви нужен простор, открытость души, что ложь ей враждебна.

Вспоминает в трудные минуты одиночества о светлом дне своего единения с природой герой рассказа «Снег под солнцем», и это воспоминание о дне «праздничной чистоты и полноты души» помогает ему превозмочь свое беспокойство и тревогу.

«Человека потеряли. За поллитрой, за рублем, за машиной... И все с этого начинается...» Именно с этого —с погони за лишним рублем—началось все у бульдозериста Павла («Заметенные дороги»): разлад с женой, разрушение семьи, непонятная грусть. Он со временем осознает ложность своих устремлений, и странно и дико видеть ему, как люди, с которыми он случайно встретился в пути, повторяют его же жизненную ошибку—вещи и деньги ценят выше действительного человеческого счастья.

Герой произведений А. Жука неожиданно для самого себя открывает в глубине своей души нечто такое, что заставляет его мучительно размышлять о самом главном в жизни. Какое место занимает он в мире? Что такое судьба и правда ли, что человек является ее хозяином? Ради чего все наконец? Он ощущает в себе большие возможности и с тревогой думает о том моменте, когда нужно будет дать отчет перед своей совестью, реализовал ли он эти возможности, не остались ли они неиспользованными. Он пытается мобилизовать свои душевные силы и вырвать себя из плена обыденного. Уже это одно открывает в нем потенциальную способность изменяться к лучшему. Конфликт, который, на первый взгляд, является чисто моральным, перерастает, таким образом, в конфликт морально-социальный и выражает стремление нашего современника быть активным, деятельным участником жизни во всех ее проявлениях.

Насыщенность повествования жизненными реалиями, конкретикой, предметный, детальный, подробный показ быта—во всем этом четко обнаруживается желание молодого прозаика глубоко и точно анализировать обстоятельства, саму атмосферу, в которой действуют герои. Расширение диапазона реалистических средств, которые использует А. Жук,—результат его усилий исследовать жизненную диалектику характеров, их связей со средой, коллективом, обществом. Он ставит своей целью обнаружить новые духовные ценности, созданные на современном этапе строительства коммунизма и свидетельствующие о зрелости нашего общества, показать значение человеческой личности в сложных условиях современного мира, неисчерпаемость возможностей свободного человека, его сознательное стремление брать на себя огромную ответственность за жизнь.

Иногда создается впечатление, что А. Жук повторяется. Но так ли это? Всякое новое явление, чтобы быть понятным и признанным, должно пройти длительный путь проверки на прочность, долговечность, жизнеспособность. Оно обязано убедить. Обращаясь снова и снова к изображению человека в условиях, когда он находится в состоянии размышления, выбора единственно верного пути, молодой прозаик стремится утвердить настоящие человеческие ценности, называя среди них—чувство родственности с окружающим миром, умение видеть себя на месте других, светлый дар человечности.

Именно эти чудесные душевные качества привлекают внимание автора к образам людей старшего поколения. И замечательно, что он, хорошо знающий своих сверстников, обладает удивительной силой проникновения в душу людей иного возраста, непохожего опыта, отличного мироощущения.

Вот одинокая старуха Антосиха («Осенние холода»). Она потеряла во время войны обоих сыновей: младший, партизан Петрик, погиб, старший, полицейский Андрей, по вине которого убит брат, хоть и остался жить и, отбыв срок наказания, пробовал вымолить у матери прощение, проклят ею. О чем рассказ? О неизбежности расплаты? О высокой мере материнской любви? Да, и об этом! Но—в первую очередь—о большой человеческой драме одинокой старой женщины, которая тем более впечатляет, что внешне никак не обнаруживается, исчезая, теряясь в ежедневном, не отмечен-

ном значительными событиями течении деревенской жизни...

Кстати, переводчица И. Сергеева почему-то сочла нужным опустить эпизод, где старший сын приходит к матери просить прощения. Конечно, рассказ выигрывает в смысле динамичности сюжета. Однако как раз в этом обнаруживается неточное понимание переводчицей не самого текста произведения, а скорее индивидуальной самобытности автора. Мимо внимания переводчицы проходит та неслучайная особенность таланта А. Жука, которая выражается в стремлении видеть жизнь во всей ее реальной сложности, во внимании к бытовой стороне действительности, к самым простым и обыденным явлениям, к подробностям, частностям человеческого существования. Обобщенная картина мира, человеческого бытия как бы просвечивает сквозь изображение отдельного, случайного, бытового.

В оригинале совершенно иной ритм повествования, чем в переводном варианте, а вместе с ним и другая атмосфера произведения—атмосфера лирического размышления, неспешного, обстоятельного, внимательного к мелочам и подробностям, что придает ощущение достоверности происходящего. В переводе исчезают многие детали, отдельные слова, которым переводчица не «находит» аналога в русском литературном языке: радзіны, крупнік, мыцельнік, бяседа, абозия... Переводчица иногда использует интонации произведений других авторов, например, «Последнего срока» В. Распутина: «А я уже и помирать было собралася, да услышала, что вы все разом сошлися, меня не забыли, спасибо вам!» Конечно, старуха Анна из распутинской повести в чем-то близка старухе Антосихе. Но не в главном. Трагедия белорусской женщины совсем иная. И потом Антосиха, в отличие от старой Анны, не одинока: ее родня—вся деревня. Ее душевный опыт переходит по наследству к другим людям. В то время как старая Анна все свое уносит с собой, потому что дети оказались недостойными ее.

Следует заметить, что переводчица почему-то ориентируется не на последние варианты произведений белорусского прозаика. Это касается рассказов «Горький дым», «Туман», «Вечернее солнце», «Жена героя», «Давняя память», повести «Такая осень».

Случаются и неприятные погрешности. Белорусское слово «сабака»—мужского рода. В переводе мы читаем и «собака» и рядом же—«пес», хоть первое слово в русском языке женского, а второе—мужского рода (стр. 37)...

...А. Жук постепенно расширяет границы повествования до показа целой человеческой истории, а не только одного его момента. Идейная и образная система его произведений усложняется, чтобы охватить все действительное богатство жизни современника. Расширение масштабов писательского мышления замечается уже в том, что автор обращается к жанру повести. Для этого жанра сегодня характерны проблемность, острота коллизий, социальность в лучшем смысле этого слова.

Повесть «Такая осень» по-своему обобщила найденное в рассказах. Она решает те же проблемы, что и рассказы, ее главный герой находится в том же состоянии—«на распутье».

Старый учитель Василий Алексеевич почувствовал, что с ним происходит что-то неладное. Нет, не только болезнь не дает уснуть. Другое—непонятная тревога поселилась в сердце и нет-нет да и напоминает о себе. Откуда она, почему—ведь все шло так, как и было запланировано им самим. Но ощущение, будто он стоит на песке, а тот течет, плывет из-под ног, не оставляет героя. И он с завистью смотрит на своего коллегу, молодого учителя, у которого все впереди и который может строить свою жизнь так, чтобы впоследствии не казнить себя. «Страшно было подумать о непогоде, которая за одну ночь обколотит, разнесет по миру дорогую, золотую плату за пережитую радость первого зеленого листика, за доброту июньской звездной тишины, за августовский запах полей». А платить доводится по большому счету.

Был в жизни Василия Алексеевича момент, когда он жил с ощущением, что живет не зря. Тогда он добровольно пошел выполнять опасное задание. Потом ему показалось, что этого уже достаточно, чтобы считать свой долг исполненным. Все последующие после войны годы он жил, по существу, для себя одного. Шел по жизни легко, усвоив простую истину: вырываться вперед—опасно, плестись в хвосте—пятки оттопчут. Но вот пришла пора утренних туманов, осенняя тишина, когда все располагает к раздумью над прожитым, и уже не уйти ему от прямого ответа на вопросы: так ли ты жил? Доволен ли ты собой? Постиг ли ты житейскую мудрость, которая позволяет человеку и в последние дни быть спокойным и несуетливым?

Житейский принцип его духовного преемника Александра Петровича—взять больше, чем дать. Герой скатывается от невинной беззаботности к безразличию к окружающим, от обычного нежелания вникать глубоко в смысл своей работы к приспособленчеству, от поисков приятных удовольствий к неразборчивости в средствах. Александр Петрович—воплощение абсолютной опустошенности, эгоизма.

А. Жук работает неторопливо, но настойчиво. Его новая повесть «Звезды над полигоном», напечатанная в журнале «Маладосць» и не вошедшая в сборник, открывает новый этап в его творческом развитии. Герой ее, лейтенант Карпович,

входит в сложные отношения с большим миром и в коллективе находит свое единственное, свое настоящее место, становится гражданином, раз и навсегда решая для себя сложные проблемы свободы и необходимости, человека и обстоятельств, личного и общественного. Так происходит духовное и нравственное становление героя молодого автора—представителя поколения, которое приближается к важному в своей жизни порогу, когда необходимо будет взять на себя огромную ответственность за происходящее в мире. А. Жук хорошо это сознает. Сознает он и то, какая большая задача лежит на современном писателе, произведения которого должны готовить людей к жизни, к борьбе. «В творчестве, как и в жизни,—пишет он в статье «Среди людей»,—в молодую пору не сдержать радости от красоты, необычности, неповторимости жизни и невозможно не поделиться своей радостью со всеми людьми. И потому так вдохновенно, хорошо и легко пишутся страницы о чудесных родных просторах, о близком и понятном тебе по общему делу современнике.

Но за юностью приходит суровая пора зрелости, когда начинаешь быть строже к себе, и сдержаннее в чувствах, и знаешь уже дорогую цену прекрасного, и не тогда ли начинают мучить художника мысли о том, чтобы рассказать не об отдельном человеке, а обо всем своем народе, о своей отчизне, о своем времени...

Нет ни одного большого художника и не может быть, который бы не ставил перед собой такие вопросы и не пытался их решить».

Это очень важно, чтобы писатель не боялся ставить перед собой большие задачи и не боялся решать их в течение всей своей жизни. Большая цель освобождает скрытые в личности творческие силы, вызывает к деятельности потаенные возможности сознания. Творчество А. Жука—творчество больших проблем, касающихся всех вместе и каждого в отдельности.

Михась ТЫЧИНА



Светлана АЛЕКСИЕВИЧ

РОМАШКИ СПРЯТАЛИСЬ...

Спросите в любой библиотеке книгу о растениях — и вам скажут: «Она на руках». Вышла недавно в Минске, в издательстве «Наука и техника», книга «Лекарственные растения и их применение», так ее раскупили молниеносно, хотя, пользуясь случаем, торговые работники давали в нагрузку к ней один, а то и два неходовых сборника.

Фитотерапия — наука о лечении травами и их препаратами — сегодня, как утверждают медики, переживает свой звездный час. Все чаще можно услышать от лечащего врача: «Попробуйте попить травку. Должно помочь, и в то же время безопасно, никаких побочных явлений». Спрос на лекарственные травы у населения стремительно увеличивается, а в аптеках одних трав совсем нет, других постоянно не хватает. Главное аптечное управление Минска завалено письмами. Вот пишет киевский адресат: «Прочитал в книге «Лекарственные растения и их применение» о высоких целебных свойствах сухих листьев брусники. Теперь у меня надежда на эту ягоду, а у нас, на Украине, она не растет. Прошу уважить просьбу — прислать мне несколько пакетиков сухих листьев брусники...» Это письмо, как и многие другие, что лежат грудой на столе инспектора по заготовкам лекарственных растений Таисии Андреевны Козловой, осталось без ответа. А не ответила Таисия Андреевна не потому, что равнодушна к чужим бедам,— как раз человек она мягкий, душевный,—дело в другом: лечебных трав катастрофически не хватает. И не только брусничных листьев. Давно исчезли с аптечных витрин ягоды шиповника, желтоглазая ромашка, цветы бессмертника...

Диву даешься! Начиная с XII века и до первой мировой войны Белоруссия снабжала лекарственным сырьем половину Западной Европы, агенты иностранных фирм разъезжали по деревиям и скупали его, считай, за бесценок. Писательница Элиза Ожешко, заинтересовавшись этим фактом, много лет путешествовала по Гродненщине и собирала народные названия растений, расспрашивала знахарок о таинственных свойствах травяных настоек и различных мазей, собрала богатейший гербарий и около 228 народных названий растений с описанием их целебных действий. О своих наблюдениях Элиза Ожешко рассказала потом в книге «Люди и цветы над Неманом», в которой первая упомянула о том, что белорусский первопечатник Георгий (Франциск) Скорина называл себя «в лекарских науках доктором», занимался составлением «снадобий и зелий». О медицинской деятельности Скорины можно судить и по известному его портрету, где он изображен в своем кабинете среди книг, висящих на стене рисунков лекарственных растений, специальных сосудов для дистилляции настоек из трав.

В общем, в старину люди очень верили в чудодейственную силу растения. Даже рукописи о целебных свойствах

растительного мира назывались красиво и почтительно: «Тайная тайных», «Зельник знахарский, или собрание легенд о растениях». Врачи древнего Востока, например, знали около 2700 лекарств, получаемых из растений. Особенной известностью в те времена пользовался труд таджикского врача и ученого-энциклопедиста Авиценны «Канон врачебной науки». Как-то советские ученые взялись подсчитать по этой книге, сколько лекарственных трав употреблялось народами древнего мира, и получилась фантастическая цифра — количество названий доходило до 12 тысяч! Сегодня же во Всесоюзном институте лекарственных растений (ВИЛАР) испытываются и уточняются целебные свойства лишь 2,5 тысячи видов растений отечественной и зарубежной флоры. Внушительная разница! Ученые объясняют ее так: исчезли многие виды растений, о некоторых потерялись накопленные ранее сведения, поэтому они широко применяются в народной медицине, а в научной на них наложен запрет, нужны новые исследования, новые подтверждения лекарственных свойств многих трав.

Станислава Ивановича Вилькоцкого, заведующего Рубежевичской сельской аптекой, большого энтузиаста и ревностного поклонника лечебных трав, конечно, волнует, что ученые так долго не снимают «табу» с многих ценных для современной медицины растений, но пока он занят другим: где добыть в нужных количествах всеми признанный шиповник, как заготовить ромашку, сушеную чернику и другие, ставшие дефицитными, лекарственные растения. Заведующий и его помощники всю весну и лето «просиживают» в лесу, на лугах, поэтому Рубежевичской сельской аптеке удается лучше других аптек удовлетворять спрос людей на целебное сырье. «Если бы мы надеялись только на то, что нам приходит по государственным разнарядкам, а не собирали травы сами, нам пришлось бы отказывать каждому второму больному,— говорит Станислав Иванович.— Однако, как ни стараемся, все равно не в состоянии обеспечить всех нуждающихся. Силы у нас малые — всего четыре человека».

На столе Станислава Ивановича я увидела пачку писем, не меньшую, чем в Главном аптечном управлении Минска. Непостижимо, как он успевает на них отвечать. А в том, что он успевал это делать, убеждали сами письма.

«Здравствуйте, Станислав Иванович! Вы, вероятно, меня не помните, так как Вам многие пишут, но я Вас не забыл и, видимо, никогда не забуду. Я Ваш старый знакомый по письмам А. Антонов из Запорожья, больной диабетом. Пришлите, если есть возможность, еще посылочку с травами...»

«Сегодня получила от Вас очередную посылку с мазями,— сообщает в письме минчанка С. Роговская. Просто не знаю, как Вас отблагодарить за Ваше внимание ко мне, старой пенсионерке».

«Чувствую себя значительно лучше,— делится радостью В. Громович из Гомеля.— Большое спасибо за травы!»

— Станислав Иванович не умеет отказывать людям. Все свободное время, даже ночами, мази сам делает, мешочки с травами для отсылки обшивает. Мы ему не раз говорили: «Ты бы, Иванович, хоть для себя немного пожил, а то все для людей». Кое-кто чудаком его называет, а кто со слезами за сделанное добро вспоминает,— единодушно говорят о нем сотрудницы в аптеке.

Сам же Станислав Иванович оценивает свою работу просто: «Надо помогать людям». Это его убеждение, жизненная позиция. И спасибо ему за это!

Но напрашивается вопрос: есть же у нас специальная служба заготовок лекарственных растений, почему она так слабо помогает Станиславу Ивановичу? Работай она, как положено — и ему и многим таким, как он, не пришлось бы сидеть допоздна над посылками с травами и весь свой летний отпуск тратить на их заготовку. Как все-таки помочь Станиславу Ивановичу?

Заготовка лекарственных трав возложена на районные заготконторы. Работы у заготовителей, что называется, по горло: сотнями тонн отправляются на областные базы картофель, помидоры, огурцы, капуста, яблоки... Успеть бы со всем этим богатством, а тут еще какие-то травки, цветочки...

— Осенью до наших забот никому нет дела,— рассказывал мне исполняющий обязанности начальника отдела заготовок лектехсырья, дикорастущих плодовых ягод и грибов Белкоопсоюза Станислав Федорович Пахомов.— Звоним в заготконторы, просим: товарищи дорогие, мы понимаем, что картофель и овощи важнее всего, но и о травах не забывайте. Где там! Отвечают: подождите, руки не доходят. А чего ждать-то? Травы переспевают, и медицинской промышленности мы поставляем зачастую брак, а не ценное лекарственное сырье. Ну, а что заготовителям до этого? Им нужен вал, нужны деньги. Яблоко снял, уложил — сотнями килограммов считаешь, а ромашку собирать — мороки больше, чем копеек. За овощи, фрукты с них строго спрашивают, а за травы никто не беспокоит: собрал — хорошо, а нет— так нет.

Да, сбор лекарственных трав у нас считается делом третьестепенным. И что получается? Пока из растительного сырья делается лишь 40 процентов всех выпускаемых медицинских препаратов. А ученые говорят, что можно и должно делать гораздо больше, для лечения некоторых болезней лекарства из трав про-

сто незаменимы. Например, боли в желудке хорошо снимает березовый гриб — чага, но встретить его в аптеках практически невозможно. И аспирин, который мы с вами глотаем, как только простудимся, можно делать из трав, что было бы безопаснее и естественнее для нашего организма, который связан с растительным миром множеством невидимых нитей, соткавшимся за тысячи лет эволюции. Но не хватает лекарственного сырья, которое подчас не менее ценно для нас, чем картофель и фрукты, а в критические моменты, когда на человека наступает болезнь, ценится на вес золота.

Предусматривался бы в штатах районных заготконтор человек, занимающийся исключительно заготовкой трав, было бы кому отвечать и с кого спросить за это дело. Но такого человека в районе нет. А в областной заготовительной конторе он хотя и есть, но, по словам Станислава Федоровича Пахомова, «формально числится как ответственный за лектехсырье, а работает, как и все, на картофель и овощи». Кстати, и в самом Белкоопсоюзе, которому подчиняются все заготовительные службы республики, всего лишь год назад создан отдел заготовки лектехсырья в составе четырех человек. (Раньше этим занимался один специалист на всю республику.)

Написала слово «специалист» и тут же поймала себя на неточности. Нет в республике специалистов по заготовке лекарственных трав, нет людей, которые бы получили соответствующую профессиональную подготовку. Есть практики, но специалистов в полном смысле этого слова нет. Их не готовят ни в одном вузе страны. Немудрено, что районные и областные заготовительные конторы укомплектовываются товароведами, которым по профилю больше подходит работать в столовых, ресторанах или на базах райпотребсоюзов. Правда, год назад на базе Львовского торгово-экономического института открылось отделение, где начали готовить работников для заготовок, но оно единственное в стране, и учат там заготовителей вообще, а не тех, кто специально занимался бы лекарственным сырьем.

Как тут не вспомнить, что даже в старые времена сбором трав занимались специалисты своего дела. Как только подрастали у них детишки, они учили их, что лекарственные «зелья» надо искать: один — «по местам песковатым», другие — «по дебрям», третьи — «коло рек и озер», а сушить «на ветру или в избе на легком духу, чтоб от жара не зарумянило». Травы зашивали в холстины, бережно укладывали в лубяные короба, обшивали рогожами, «чтоб из тое травы дух не вышел». Только так мог быть «корень девясилов сохраняем есть на три лета без умаления силы его». Беспрекословно действовал указ, изданный при Петре I: следить за качеством растительного «зелья», чтобы не причинить больному «никакого внешнего, ни внутреннего зла».

Вернемся, однако, в нашу сегодняшнюю действительность, в которой все великие блага цивилизации почему-то обошли маленькую райзаготконтору, — ничего здесь не появилось взамен «лубяных коробов, обшитых рогожей». А ведь не простое это дело — лекарственные травы, их надо вовремя собрать, так как количество целебных веществ у некоторых колеблется даже в течение дня, надо хранить при определенной температуре и в специально приспособленном помещении. Тут бы в самую пору присоединить к человеческим усилиям современные приборы и автоматы. Но вот какую картину пришлось наблюдать во многих райзаготконторах: в больших деревянных сараях, приспособленных под склады, рядом с костями, макулатурой и металлоломом лежат... разбросанные как попало снопики зверобоя, возле бочек с засоленными овощами подмокает хрустящий корень аира, впитывают влагу сухие лепестки ромашек.

Нельзя сказать, что сами заготовители не замечают этих беспорядков. Замечают, а в оправдание говорят: «Сами знаем, что часто поставляем заведомый брак, а не целебное сырье, которое больные люди ждут не дождутся. А что делать? Помещений специальных нет. Существующие склады маленькие, в них вечная теснота. Аппаратуры научной никакой: качество, влажность и все другие показатели стандарта заготовленных трав определяем, как деды наши, на глаз.

И вот результат. Ежегодно с баз Центросоюза, где заготовленные Белкоопсоюзом травы подвергаются настоящей научной оценке, возвращается три-четыре десятка тонн забракованного лекарственного сырья. Так, в прошлом году его было возвращено двадцать тонн.

— Беда наша еще и в том, что культура нынешних сборщиков, можно сказать, первобытная. В некоторых местах, например, уничтожили полностью ценную толокнянку, потому что не выбирали ее, как рекомендуется, по одному растеньицу, а жали серпом, а то и косой косили. В наших лесах стало меньше брусничника. Как надо заготавливать листья брусники? Оторвал с куста несколько листочков и довольно, пусть растение в силе остается. Так нет же, гребут с корнями, мешками несут из лесу. А этому растению, хотя оно и маленькое — поднимается на семь — десять сантиметров — расти надо десять лет. Заготовителями становятся случайные люди, молодежь этим делом не интересуется: оно кажется им несерьезным, малопрестижным, — делился своими тревогами

директор Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Виктор Иванович Парфенов.

Кто же поставляет травы на деревенские заготпункты? Чаще всего пенсионеры и школьники. Хорошо, если есть в школе такой знаток растительного мира, как Захар Степанович Пархимчик, биолог из пионерского лагеря «Дружный» Минского района, под руководством которого в прошлом году пионеры лагеря собрали 1540 килограммов лекарственных трав. Ребята отдыхали, интересно проводили время и между тем незаметно, себе в удовольствие делали полезное дело. Познание и работа становились для них радостной игрой, когда отправлялись с Захаром Степановичем в лес и учились там распознавать травы, слушали удивительные легенды, которые рассказывал учитель. И как можно было бездумно сорвать и бросить в дорожную пыль василек после рассказа Захара Степановича о том, что когда-то любимая девушка вылечила этим цветком могучего Геркулеса, раненного в бою отравленной стрелой.

Ребята учились смотреть по-другому и на полынь, о которой раньше слышали, дескать, приятного аромата она не имеет, и не зря, мол, в народе говорят: «Жизнь горька, словно полынь», «Не я полынь-траву садила, сама, окаянная, уродила». Захар Степанович рассказывал о том, что греки называли полынь артемезией — «травой здоровья», что ею лечат от ревматизма, заживляют раны, что из нее недавно выделили новое целебное вещество, названное тауремизином, и успешно лечат им сердечно-сосудистые заболевания. Совсем необычные вещи узнали воспитанники Захара Степановича и о растении, которое все видят, знают, но не обращают на него внимания. Подумаешь, подорожник! Его на всех дорогах по обочине сколько угодно. Но это только у нас подорожник — растение обычное. А в Южной Америке он никогда не рос и появился с приходом европейских завоевателей. Наблюдательные индейцы сразу приметили: необычное для них растение появлялось везде, где прошел белый человек, они так и назвали подорожник — «след белого человека». А так как завоеватели несли местному населению смерть и горе, оно стало ненавидеть подорожник. Зря, конечно, поняли ребята со слов учителя, индейцы так относились к ни в чем неповинному растению, сегодня из подорожника делают множество различных мазей и лекарств...

Таких прирожденных природоведов, как Степан Захарович, в наших школах, к сожалению, пока еще мало. Нужны сотни таких энтузиастов, чтобы организовать всепионерский поход за лекарственными травами, спасающими людей от недугов, возвращающими им жизнь. Многие подростки во время летних каникул помогают родителям в поле, на сенокосе, но немало и таких, которые не знают, чем заняться, кому взрослая работа еще не под силу. Собирать же травы нетрудно и интересно, заодно это и прогулка по свежему воздуху, настоенному на луговых и лесных запахах, приобщение к природе, к прекрасному.

Думается, что и аптечные работники должны быть теснее связаны со школами и со всеми, кто занимается сбором трав. Пока еще редко приходят они в школы, клубы с лекциями о лекарственных растениях. Нет в достаточном количестве специальных памяток сборщику трав. Две-три такие памятки обычно висят в аптеке, между тем не такая уж это сложность — отпечатать памятку в нужном количестве, чтобы ее имел у себя каждый сборщик. С вкладышем-плакатом о лекарственных растениях и о том, как их собирать, мог бы один-два раза в год выходить наш популярный журнал «Работніца і сялянка». Московский журнал «Крестьянка», например, такие вещи практикует.

В сельской местности аптечным работникам проще: там луг и лес рядом — ищи травы, суши их во дворе под навесом или на русской печи. А в городе? Инспектор Главного аптечного управления Таисия Андреевна Козлова рассказала, с каким трудом работникам минских аптек удается собрать хотя бы немного трав: на это занятие летом и осенью у них уходит часть выходных дней. Собрать соберут, а сушить и обрабатывать негде, так как в аптеках не предусмотрены специальные комнаты для работы с травами, где должны быть духовые сушилки, полки или настилы для хранения готового сырья — каждая с термометром, измерителем влажности.

Заготавливая целебное сырье, аптеки не поставляют его организациям Белкоопсоюза, а сами же обрабатывают и продают клиентам. Но как тяжело обрабатывать сухие травы, когда под рукой единственное орудие — ножницы... Ведь даже самая маленькая аптека заготавливает не меньше тонны сырья. Попробуйте представить, каково двум-трем работникам переработать его с одними ножницами в руках. Специальные измельчители, крошители имеются лишь в центральных аптеках, да и то не во всех.

Много проблем возникает из-за того, что в республике нет единого хозяина, который бы полностью отвечал за сбор лекарственных трав. Сбором занимаются и организации Белкоопсоюза, и аптеки, и лесхозы, не столько дублируя друг друга, сколько мешая один одному. Вот пример.

Приехал осенью в отдаленную деревню работник аптеки, чтобы побеседовать с людьми, найти себе помощников, а ему

говорят: мнл человек, от нас только что уехал представитель райзаготкоиторы. А заготовнтельные организацнн богаче аптек, взамсн принятого сырья могут предложить сборщикам дефнцитные товары: цветные платки, нитки для вышивания. Кроме того, заготовнтели райзаготкоитор не так внимательны н требовательиы прн прнемке сырья, как аптечные работникн, берут все подряд, не обращая особого внимания на качество сырья, не нитересуясь, как собрал его человек, не нанес ли прнроде вреда.

Такая разъеднненность ведомств, ведущих заготовку лекарственного сырья, порождает между нимн раздоры, не лучшие формы конкуренции. Давно назрела необходимость все организации, заиимающиеся лекарственным сырьем, слить в едниую систему. Это необходнмо для улучшения эффективности н качества нх работы, важио и для медицннской промышлениости, которая нз года в год недополучает миогие виды целебиого сырья.

— Запросы медицииской промышленности растут быстрее, чем самн растения,— с тревогой задумывается директор Инстнтута экспериментальной ботаники Внктор Ивановнч Парфенов.— И поставь мы сегодня сбор трав на промышленную основу, конечно, в аптеках лет пять-десять многие травы будут в избытке. Ну, а дальше? Что будет дальше?..

Противоречия между природой и человеком — это противоречня не только сегодняшнего дня. Еще древних римлян упрекали за то, что они беспощадно вырубали н вывозили лес из Африки во время Карфагенскнх войн. Не упрекнут ли нас нашн потомки, что мы оставим нм землю без цветов и трав?.. Не задумайся мы над этим уже сейчас, может случиться, что наши внуки только нз книжек будут узнавать, какая она была из себя, круглолнцая ромашка.

Институт зкспериментальной ботаникн взял под контроль промышленный план Белкоопсоюза по сбору лекарствеиных растений. Теперь уже не сами заготовители с «потолка» берут цнфры — сколько н чего сдать, а ученые решают, какне растення надо поберечь, дать нм время восстановнться. Но, к сожалению, заготовнтели не всегда прислушиваются к зтнм рекомендацням, по-прежнему считают, что наша зеленая земля — неисчерпаемая кладовая. Оттого н стала исчезать целебная толокняика, все меньше становнтся голубой перелески — первого вестника весны, под Мннском уже с трудом наберешь букетик сон-травы...

Да, заготовители, наконец, протянулн ученым руку дружбы н... тут же вступили в очередной конфликт, на зтот раз с медицннской промышленностью. Оиа требует тонны, десяткн тоин трав, которые Институт зкспериментальной ботаинкн запрещает собнрать, заботясь о том, чтобы редкие виды растений совсем не исчезли с белорусской земли. Той же толокнянки промышлениость ждет 20 тонн, а ученые на основе строгих научных даиных разрешают заготовить лишь 0,5 тоииы. А вот аир, который растет в основном на Полесье н может исчезнуть в ближайшие годы, как только там осушат болота н торфяннки, ученые предлагают собрать весь, а медициская промышленность н базы Центросоюза отказываются принимать свыше плана. Пройдет еще лет пять — н анр или вовсе нсчезнет, или сохранится в настолько малых колнчествах, что массовые заготовкн его вести будет уже невозможно.

Сам собой иапрашнвается вывод: медицинская промышленность тоже должна дружить с наукой. На террнтории нашей республнки распространено 1453 внда растенпй, прнмерно треть нз них — 264 вида — нспользуется в иародиой н научиой медицине. А промышленность дает заявки только на 60. 204 вида растений остаются без применения, зато первые 60 потребляются в таких количествах, что иарушается равновесие растительного мира. По-научному лн зто?

На состоявшемся в 1974 году в Лениниграде Международном ботаническом конгрессе известные ученые на разиых языках мира повторяли знаменитые слова Фридриха Энгельса: «...и так на каждом шагу факты иапомниают нам, что мы отнюдь ие властны над природой так, как завоеватель властвует иад чужим народом, ие властвуем иад иею так, как кто-лнбо находящнйся вие природы,— что мы, наоборот, иашей плотью, кровью н мозгом прннадлежим ей и иаходимся внутри иее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильио их прнменять. И мы в самом деле с каждым днем иаучаемся все более правильно понимать ее законы и позиавать как более близкне, так и более отдаленные последствия нашего актнвного вмешательства в ее естественный ход». В этом высказывании содержится огромиой силы обобщение, касающееся всех былых и сегодняшних столкновений человека с природой. У англнйского фантаста Рея Бредбери есть рассказ о том, как исчезновение одного внда мотылька обернулось через много лет велнкнм несчастьем для человечества. Вслед за мотыльком исчезли насекомые, которые им пнтались, и так по цепочке прнблизнлась катастрофа, грозившая вымнранием всему живому. Надо полагать, что исчезновение хрупкой весенней перелескн тоже не так уж безобидно, н что-то нарушает в окружающем нас живом мире.

Сегодня остро стоит вопрос: как иаучиться шнроко использовать возможиости растнтельного мира и в то же время сохранить его в первозданной красоте?

Такое представляется возможиым, иесмотря на то, что человек уже столько взял у природы, что рассчнтывать на ее милость ему не прнходится. Но вот что происходнт, когда он разумно, в содружестве с иаукой, осваивает каждую пядь землн: с единицы площади европейских угодий снимается во миого раз больше продукцин, чем в нашей дикой тайге. Что касается лекарствениых растений, то дикорастущие травы начинают вводить в культуру, их окультурено уже 50 видов.

В Мннском ботаническом саду тоже ведутся опыты с целью прижнвания дикнх лекарственных трав и плодовых деревьев на домашних огородах. Кусты черноплодной рябииы и калины красной, принесенные нз лесу и посажеиные руками людей, начинают постепеино появляться на обочинах дорог и в городских парках. Поскольку зтих ценных лекарствениых ягод стало больше, то поулеглись немиого н страсти заготовителей. Раньше они подчистую выносили нз лесу ягоду калины. Общество охраны прнроды вынуждено было взять ее под защнту, так как оставались на знму без корма снегирн, воробьи и другие лесные обитатели.

В республике уже есть хозяйства, которые частично илн полностью заияты прonзводством лекарственных трав. Подъезжая к деревне Аронова Слобода Минского района, сразу замечаешь ровиые, ухожеиные ряды зеленого кустарника. Это плаитация черноплодной рябнны совхоза «Озериый». Кустарннком занято 42 гектара. Чистый доход от реализации плодов в 1975 году составил 40 тысяч рублей. На плантации совхоза «Большое Можейково» Щучниского района, специализнруемого на выращиванин лекарствеииого сырья, растут ромашка, валериана, синюха голубая, зверобой, ноготки, ревеиь таигутский, спорыиь, а год назад здесь на трех гектарах заложилн шиповиик. На зксперимеитальном участке «акклиматизируется» китайский лимонник и таииствеииый кореиь жизни — женьшеиь. Белорусская земля в общем-то понравнлась далеким пришельцам. «Корень жизни», пользующийся славой всеисцеляющего средства, оказался, правда, довольио капризным. Знмой н осенью он пребывает в состоянии покоя, а весной и летом набирает силу. Первый цветок на нем появляется только через 8—10 лет. Растеиие не терпит прямых солиечиых лучей, поэтому живет за «решетками», похожими на зоитики. Словом, женьшень у нас сохраняет хорошее самочувствие н дает неплохие урожаи.

Ученые пытаются распозиавать язык живой природы, найти, привлечь на свою сторону как можно больше «зеленых друзей». Настало время по-новому ответить на вопрос: что могут растения? Недавно в издательстве «Ураджай» вышла небольшая кннжка «Лекарственные свойства сельскохозяйственных растений». Для миогих аптечных работников и даже для ученых ее выводы явились неожиданностью. Что ромашка может лечить — к этому мы уже привыкли, а вот о лекарственных способностях обыкновенной фасоли или кукурузы слышать не приходилось. А они могут, многое могут! Уже создан Всесоюзный координационный совет по проблемам лечебного садоводства. В научных лабораториях исследуются многие виды грибов. Даже мухомор, который мы все так ие любим, пригоден не только на то, чтобы мух травить. Им тоже лечат. Да, хитра на выдумки природа. В одном из московских детсадов провели зксперимент. В помещение внесли и разбросали по полу только что сорванные ветви пихты и багульника. Через несколько дней врачи убедились, что дети, больные коклюшем, спокойнее спят и в ночное время у них нет приступов мучительного кашля.

Почему, например, заболевшая собака бежит в лес и ищет там целебные растения? Гавриил Троепольский в книге «Белый Бим Черное Ухо» пишет, что умный пес Бим за три дня залечил себе в лесу тяжелую рану.

Нам пока неведомы инстинкты, что ведут собаку, оленя или другое животное именно к той траве, которая может их спасти. Но они находят ее и лечатся: «Бим стал есть осоку. Что ему подсказало об этой невзрачной травке, люди никогда так и не узнают, но он-то знал: обязательио надо есть именно ее. И ел. Потом попалась уже присохшая ромашка, а иа ней прижатые осенью полусухие цветы. Он ел и ромашку...» Человек не должен стыдиться подражания оленям,— уверяют нас сегодня ученые. За такой короткий в биологическом смысле срок, который прожило человечество в целом, человеческий организм не мог настолько измениться, чтобы в нем не осталось никаких следов прежних взаимоотношений между иашими предками, животными и растениями.

— В сегодняшней медицинской практике мы, врачи, снова повернулись лицом к лекарственным травам,— говорит главный терапевт Министерства здравоохранения БССР, профессор Юрий Павлович Матвеков, отвечая на вопрос о том, как он относится к фитотерапии и почему сейчас о ней так много говорят.— Собствеиио, старшее поколение медиков, воспитанное, так сказать, на уважении к травам, всегда охотно прописывало их больным. Недооценивали травы молодые врачи, воспитывавшиеся на принципах химиотерапии. Но сейчас и они глубже заинтересовались успехами фитотерапии, потому что химия не оправдала все возложенные на нее надежды. Да, благодаря синтетическим препаратам мы спасаем тысячи человеческих жизней, но нельзя уйти от того факта, что эти препара-

ты зачастую вызывают побочные, совершенно неожиданные явления, дают осложнения. Лечим, например, сердце, а незаметно поражаем почки, печень и т. д. Раньше мы в этом еще сомневались, доверяя химии, а теперь уже есть совершенно точные научные данные. Так что медикам нужны сами травы и лекарства из трав. Последних промышленность выпускает еще мало.

Так что совсем не случайно наши взоры сегодня столь пристально обращены «...на ту тоненькую травинку, от которой,— как писал Глеб Успенский,— находился в полной зависимости человек, огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть, земля может быть матерью и злой мачехой — что будет неизвестно решительно никому. Будет так, как захочет земля, будет так, как сделает земля...» Связь человека с травинкой чем дальше, тем больше приобретает планетарный размах. «Она все больше становится,— пишет биолог М. Т. Емцев,— выражением универсального закона жизни».

Человек не может бездумно использовать блага растительного мира, иначе этих бесценных благ будет становиться все меньше и меньше, но чтобы научиться беречь окружающий нас мир растений, надо его знать. Все настойчивее звучит призыв служителей науки о необходимости экологического образования для всех, особенно для сельской молодежи. Чего греха таить, сегодня даже деревенский ребенок не знает, как зовут тот или иной цветок, чем он может быть полезен людям. В Ростовском университете на всех факультетах ввели с 1971 года преподавание курса охраны природы. Такие курсы нужны и в других высших учебных заведениях, училищах и школах.

Необъятен мир природы. Ученые продолжают интенсивную разведку этого зеленого богатства, чтобы направить его на службу медицинской практике. Специальный научно-исследовательский институт (ВИЛАР), его зональные станции организуют экспедиции, которые занимаются не только поиском, но и определением запасов лекарственного сырья. Всех беспокоит одна мысль: чтобы и в аптеках всегда были целебные травы, и чтобы у нас на столе стояли свежие цветы. Ведь не только пользу несут людям растения. Нельзя нам строить свои отношения с «зелеными друзьями» на основе одной лишь выгоды. Мы — люди. Как нам жить без красоты, без маленького букетика на столе, без луга с его дивным ароматом?..



МАТРОС С БАЛТИКИ

В феврале 1917 года Стратоник Ильич Жбанков — уроженец Климовичского уезда — принимал участие в борьбе с самодержавием в городе Ревеле (ныне Таллин). Тогда же моряки-балтийцы избрали его председателем ревкома дивизиона. На комитет революционных моряков партия большевиков возложила ответственную задачу: покончить с царскими порядками на флоте, ограничить власть старого кадрового офицерства, распространять большевистское влияние на матросскую массу, установить среди моряков революционную дисциплину и подготовить их к решающим битвам за власть Советов.

В канун октябрьского штурма почти все матросы дивизиона подводных лодок, в котором служил С. И. Жбанков, целиком поддерживали требования большевиков. Комитет, таким образом, успешно справился с поставленной перед ним задачей. Попытка начальника дивизиона отдать под суд председателя комитета Жбанкова, как «смутьяна», закончилась провалом. Матросы поднялись в защиту предревкома, и начальник дивизиона был вынужден сдать свою должность и тайно бежать. С этого момента экипажи подводных лодок Балтийского флота стали надежным оплотом революции.

В начале декабря 1917 года Стратоник Ильич по заданию ЦК партии большевиков едет в Белоруссию. Не без его активного участия 6 декабря была провозглашена Советская власть в Костюковичах.

В январе 1918 года волостное собрание в Костюковичах избрало Жбанкова делегатом на четвертый Могилевский губернский съезд крестьянских депутатов. Там он был избран делегатом на III Всероссийский съезд крестьянских депутатов, который открылся в Смольном 13 января. С делегатами от губерний Белоруссии на этом съезде беседовал В. И. Ленин.

Из Петрограда Стратоник Ильич вернулся в Климовичи, где его избрали председателем уездного исполкома. Здесь он организует отряд Красной гвардии для обороны Советской республики от интервентов, создает первую партийную организацию...

В июле 1918 года С. И. Жбанков едет в Москву на V Всероссийский съезд Советов как делегат от Климовичского уездного Совета. Здесь ему снова посчастливилось слушать В. И. Ленина. В ноябре этого же года его переводят в Могилев. Он работает в губревкоме, а потом в губвоенкомате, устанавливает в районах, освобожденных от немецких оккупантов, Советскую власть, формирует здесь отряды Красной Армии, а затем и сам добровольцем вступает в ее ряды. До последних дней своей жизни (умер он в 1968 году) С. И. Жбанков оставался верным солдатом революции.

Владимир ЛАМИНСКИЙ,
директор Костюковичского краеведческого музея.

КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ



Сюда заходят молча, чтобы вспомнить что-то щемяще-дорогое, давно отошедшее в прошлое, но вечно живое. Это—комната боевой славы 13 воинских соединений и частей, участвовавших в освобождении города Борисова от фашистских захватчиков и получивших наименование «Борисовских».

Военно - патриотическое воспитание молодежи—это воспитание высокой гражданственности, чувства долга. Не случайно преподаватель политэкономии А. Каменецкий взял шефство над этим музеем, как его называют в 121-м Борисовском техническом училище металлистов. Ему ли, бывшему пропагандисту полка, участнику Великой Отечественной войны, подполковнику запаса, не знать действенной силы священных реликвий—оружия, фотографий, книг, писем фронтовиков.

Вот на пожелтевших от времени фотоснимках запечатлена боевая работа наших авиаторов, артиллеристов, пехотинцев, саперов, связистов. А вот выписки из приказов Верховного Главнокомандующего с благодарностями за успешные боевые действия лейтенанту А. И. Комякову, лейтенанту С. Т. Липпину и другим воинам, письма командира и комсорга роты родителям героически погибших воинов, подлинные письма самих фронтовиков, выписки из приказов о награждении орденами и медалями отличившихся на поле брани, вырезки из старых газет, и опять—фотографии, фотографии... Рядом со стендами—книги, альбомы, схемы боевых путей воинских частей, общий план-карта операции «Багратион», материалы, рассказывающие о действиях партизан борисовской зоны, фотопортреты освободителей Борисова—Героев Советского Союза.

Особое место в экспозиции комнаты боевой славы занимают документы о подвиге героического экипажа, которому благодарные жители Борисова поставили памятник—танк на въезде в город, у самого моста через Березину. Гвардии старший лейтенант Павел Рак, члены его экипажа Алексей Данилов и Александр Петряев первыми ворвались в город и пали смертью храбрых при его освобождении.

О былых сражениях с фашистскими захватчиками свидетельствуют и старые, обгорелые, прихваченные окалиной и ржавчиной стволы винтовок и пулеметов, щербатые, побывавшие в деле тесаки и штыки, и—как контраст—массивная настольная медаль во славу советских воинов и партизан, освободивших 3 июля 1944 года Минск.

Музей лишь зародился, он молод, как молодо само училище. Но то, что уже сделано, позволяет вести здесь большую военно-патриотическую работу с молодежью. К тому же учащиеся наладили связи с ветеранами-воинами, бывшими партизанами, чьи письма помогут уточнить еще многие детали боевой истории Борисова.

Игорь БОРИСОВСКИЙ



ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ СОЛДАТА

К бригадиру колхоза «Путь к коммунизму» Ивановского района Василию Михайловичу Грищуку односельчане обращаются с особым уважением:

— Приглашаем, Михайлович, на молодежный вечер.

— Дядя Василий, приходите, пожалуйста, в школу на заседание клуба интересных встреч...

И он никогда никому не отказывает. Бывалому фронтовику есть что вспомнить, о чем рассказать молодежи.



— Было это на Карельском фронте,— вспоминает бывший командир противотанкового орудия.— Наш полк оборонял там Лысую гору, которую фашисты все время пытались захватить. Бойцы отражали за день по пять-шесть атак, но не пропустили врага... Однажды командир полка вызвал по телефону командира нашей противотанковой батареи. Ответили: «Тяжело ранен».— «Позовите его заместителя».— «Контужен. Отправлен в госпиталь».— «Тогда кого-нибудь из командиров взводов». Отвечают, что и они, и старшина батареи выбыли из строя, остался только младший сержант Грищук. Командир полка велел позвать к телефону меня.

— Как настроение, младший сержант?

— Держимся, товарищ подполковник. Уцелело два орудия, да солдат человек сорок вместе с пехотинцами.

— В десять утра на вашем участке фашисты значительными силами перейдут в наступление. Приказываю любыми средствами удержать высоту! — говорит командир полка...

Ровно в десять показались вражеские танки, а за ними — цепи автоматчиков. Огня они пока не открывали. Молчали и защитники высоты. «Без приказа — не стрелять»,— велел младший сержант Грищук. Лишь когда до танков осталось метров сто пятьдесят, прозвучала уверенная команда: «Огонь!»

Дружно грохнули орудия прямой наводки, противотанковые ружья, застрекотали пулеметы, автоматы. Вспыхнул один танк, второй, третий... Фашистские автоматчики залегли, но через полчаса противник возобновил атаку, выкатив на прямую наводку свои орудия.

Два танка мчались прямо на позицию орудия Грищука. В решающий момент он сам заменил раненого наводчика и в упор расстрелял оба танка.

Вражеские артиллеристы засекли наше орудие и решили уничтожить его. Это заметил Грищук и прямым попаданием разбил вражеское орудие вместе с прислугой.

За этот бой младший сержант Василий Михайлович Грищук был награжден орденом Славы III степени. Позднее, во время боев за Будапешт, командир противотанкового орудия Грищук снова отличился и был награжден орденом Красной Звезды.

В родную деревню Стрельно, что на Брестчине, бывший фронтовик возвратился в конце 1946 г. Стал работать в колхозе. И вот уже двадцать с лишним лет возглавляет полеводческую бригаду. К его боевым наградам добавилось еще три ордена — Ленина, Октябрьской революции и «Знак почета» — уже за мирный труд.

Солдат — всегда солдат! В бригаде бывшего фронтовика в первом году десятой пятилетки собрано зерновых — 36,8 центнера с гектара, картофеля — 201 центнер. Это самый высокий урожай в колхозе.

Иван ТИТОВ

НОВИКОВ-ПРИБОЙ В БЕЛОРУССИИ

В 1940 году минчане тепло встречали известного писателя А. С. Новикова-Прибоя.

Андрей Силыч и до этого не раз бывал в Белоруссии, переписывался со многими читателями его книг, пристально следил за развитием белорусской советской литературы и был искренним другом Янки Купалы и Якуба Коласа. Не однажды он подчеркивал громадное значение их поэзии для братских народов страны, радовался, например, тому, что «Янка Купала, поэт Советской Белоруссии, стал на весь великий Советский Союз своим поэтом».

Особенно подружились А. Новиков-Прибой, Я. Купала и Я. Колас в дни совместного отдыха в Цхалтубо зимой 1938 года. Писатели почти все время проводили вместе, обсуждали новые произведения, интересовались грузинской культурой, любовались прекрасной природой Кавказа.

И вот новая встреча. В Дом партактива пришли советские и партийные работники, писатели, учителя, рабочие заводов и фабрик, бойцы, командиры и политработники Советской Армии. Писатель Михась Климкович во вступительном слове охарактеризовал литературную деятельность Новикова-Прибоя. Алексей Силыч прочитал отрывки из романа «Капитан первого ранга», над которым тогда работал, ответил на многочисленные вопросы.

Тепло встречали писателя и в пограничном Бресте. Воины в приветственном адресе Новикову-Прибою писали, что его книги учат любить Родину, бдительно охранять священные рубежи, а меньше чем через год после этой встречи первыми поднялись против фашистского нашествия, вписав легендарную страницу в историю борьбы за свободу и независимость Советской Отчизны.

С волнением следил А. С. Новиков-Прибой за событиями в Белоруссии и во время Великой Отечественной войны. Восхищение вызвал у него мужественный белорусский народ, единодушно поднявшийся на борьбу с ненавистным врагом. В очерке о столетнем партизане-патриоте деде Талаше писатель утверждал, что непобедим тот народ, где за оружие берутся такие люди. Этой же идеей проникнут другой его очерк — «Партизан Никита Шешко».

Тимофей ЛИОКУМОВИЧ



У ИСТОКОВ СОВЕТСКОГО ТЕАТРА

На титульном листе новых пьес, издаваемых в начале двадцатых годов в Москве, рядом с фамилией автора и названием произведения обычно стояла пометка: «Коллективно обработано Мастерской коммунистической драматургии и рекомендовано к постановке».

Одним из руководителей «Масткомдрамы» был наш земляк, член партии с 1904 года Дмитрий Николаевич Басалыга. Уроженец Слуцкого района, он учился в Харькове, потом вместе с младшим братом Константином принимал участие в революционных битвах 1905 года, в работе V съезда РСДРП, где встречался с В. И. Лениным.

Д. Н. Басалыга был одним из тех, кто видел в искусстве, в частности, в кино и театре, важное средство коммунистического воспитания масс. Оказавшись в 1918 году в Саратове, он создает там комитет искусств, помогает в становлении местных театров. В годы гражданской войны Дмитрий Николаевич занимается культурно-просветительной работой среди бойцов Северо-Кавказского военного округа.

Однажды в Ростов, где располагался отдел культуры политуправления округа, приехал нарком просвещения А. В. Луначарский. Состоялось собрание. На нем Д. Басалыга критиковал наркомат просвещения за слабое руководство театрами. Анатолий Васильевич слушал внимательно, время от времени делал пометки, а после собрания подошел к Дмитрию Николаевичу.

— Вы нас резко критиковали и очень правильно. Заходите ко мне, поговорим. Кстати, я, по-моему, где-то вас уже видел.

— В Лондоне, в 1907 году, — ответил Дмитрий Николаевич.

— Правильно! Вы были там с братом, и он вручал Владимиру Ильичу мандат делегата от Верхнекамской организации...

Они долго беседовали. Вспомнили немало общих знакомых. Расставаясь, Анатолий Васильевич сказал: «Мы пригласим вас в Москву. Вы нас критиковали за плохую работу, Вы и поправляйте ее».

Осенью 1920 г. Д. Н. Басалыга был уже в Москве и для улучшения репертуара театров, для создания советских пьес на современную тему тут же предложил организовать такое творческое учреждение, в котором бы драматурги, режиссеры, актеры, художники, композиторы, критики коллективно дорабатывали новые произведения, а затем распространяли их по театрам страны. А. В. Луначарский предложил назвать это учреждение Мастерской коммунистической драматургии — «Масткомдрам».

«В «Масткомдраме», — вспоминает один из старейших работников советского театра И. В. Нежный, — были три секции — литературная, постановочная, административная. Был и художественный совет. На заседаниях литературной секции нередко можно было встретить Демьяна Бедного. Художественный совет возглавлял А. В. Луначарский, его заместителем был Д. Н. Басалыга. На заседаниях художественного совета бывала Н. К. Крупская, нередко она смотрела новые спектакли».

Григорий ПАСТРОН

ПРАПОРЩИКИ ИЗ БЕЛОРУССИИ

Олимпийский пьедестал почета — самый высокий в мировом спорте, и подняться на любую его ступеньку очень нелегко. Не случайно победу на этих играх приравнивают к подвигу, и нет олимпийца, который не мечтал бы покорить одну из трех заветных ступенек славы.

Выдающегося успеха в Монреале добились прапорщики из Белоруссии, стрелки по мишени «Бегущий кабан», Александр Газов и Александр Кедяров, с первой попытки



Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Александр Газов.

взявшие золотую и серебряную медали Олимпиады-76.

До 1970 года будущие олимпийцы ничего не знали друг о друге. Впервые их пути пересеклись на чемпионате республики по пулевой стрельбе. Кедяров тогда обошел Газова и занял третье место. Талантливых армейских стрелков включили в сборную Белоруссии, они с тех пор стали друзьями в жизни и соперниками на огневом рубеже. Встречались на первенствах республики, вооруженных сил страны, на чемпионатах мира и Европы, и до Монреаля удача чаще сопутствовала Кедярову. Так, в 1972 году он установил свой первый рекорд страны, выбив 571 очко из 600 возможных. Этот результат превышал и официальное мировое достижение.

Крупной вехой в спортивной биографии прапорщиков стал ноябрь 1973 года. Вместе с одесситом Я. Железняком и снайпером из Петрозаводска В. Постояновым оба Александра в составе сборной успешно выступили на чемпионате мира в Мельбурне и в охоте на стремительного кабана в командном турнире завоевали золотые медали. В личном первенстве чемпионом стал Кедяров, серебряным призером Постоянов, Железняк был пятым, Газов — шестым.

Готовясь к Монреалю, друзья трудились особенно много и плодотворно. В мае 1976 года они прошли первую серьезную «проверку боем» на международном турнире в Сухуми. Много именитых стрелков ловили на мушку кабана, выскакивающего в пятидесяти метрах от «охотников», но лучше всех это делали Кедяров и Газов.

Через месяц они выступили в Лондоне, где Кедяров вновь поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета, а Газов занял второе место. После этого тренерский совет безоговорочно решил: оба прапорщика достойны выступать в Монреале!..

На Олимпиаде-76 уже после двадцати выстрелов по медленно бегущему кабану и двадцати по быстро бегущему оба наши спортсмена значительно оторвались от соперников: ближайший преследователь отставал от Газова на семь, а от Кедярова — на пять очков. Но во второй день удача отвернулась было от прапорщиков. Газов начал с «восьмерки», за ней выбил «шестерку», которую на соревнованиях такого уровня и за попадание не считают. Не заладилась стрельба и у Кедярова. Соперники подошли к ним вплотную.

В такой момент очень важно не дрогнуть, вести огонь особенно сосредоточенно, не думать о соперниках, которые знают о твоем срыве. И прапорщики выстояли! Александр Газов, выбив 579 очков, завоевал высшую награду Олимпиады и установил мировой рекорд. Александр Кедяров, отставший от чемпиона на три очка, стал серебряным призером.

А в августе 1976 года оба олимпийца отлично выступили на первенстве вооруженных сил в Минске. Газов выбил 580 очков. Всего на очко отстал от него Кедяров. Теперь оба мечтают выступить на летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году.



Серебряный призер XXI летних Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Александр Кедяров.
Фото Д. Терехова.

Николай ПОГРЕБНЯК

КНИЖКИН ДОМ

Сто двадцать тысяч книг и восемьдесят тысяч брошюр—то есть двести тысяч экземпляров печатных изданий ежедневно выпускает Минский полиграфический комбинат имени Якуба Коласа. Его продукция — художественная и политическая литература,



К. С. Левандовская

плакаты и буклеты, учебники и монографии, книги по искусству, науке, спорту... Полиграфкомбинат поддерживает творческие связи с двадцатью издательствами страны.

«Ассортимент» книг весьма разнообразен по названиям, объему, формату, художественно-графическому оформлению. Например, подарочный вариант поэмы Я. Коласа «Новая зямля» умещается



К. М. Помазанова

Фото А. Коледы.

на ладони, а самое фундаментальное издание—двенадцатитомная Белорусская Советская Энциклопедия — занимает целый шкаф. Продукция полиграфкомбината — высокого качества. БелСЭ, например, отмечена специальным дипломом библиотеки ООН как одно из лучших в мире изданий.

За высокохудожественное и качественное полиграфическое исполнение книг коллектив комбината удостоен многих медалей и почетных дипломов Всемирных и международных выставок, памятного Почетного знака ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть в девятой пятилетке», занесен на Доску почета ВДНХ страны.

Высокое качество продукции—результат добросовестного отношения к своим обязанностям каждого, кто трудится на Минском полиграфическом. А работает здесь более полутора тысячи человек, в том числе много молодежи. Их привела сюда любовь к книге. А производство книги, надо сказать,—дело сложное, требующее внимательного глаза, добрых и умелых рук. Три четверти работников комбината—женщины: наборщицы, линотипистки, печатницы, швеи, операторы всевозможных станков-автоматов, и в списках награжденных за трудовые успехи чаще всего встречаются женщины. Орден Ленина на груди у наладчицы швейных автоматов К. С. Левандовской, орденом «Знак Почета» отмечен труд лучшей линотипистки, депутата Верховного Совета БССР Э. И. Костевич, орденов и медалей удостоены швея К. М. Помазанова, фальцовщица Н. С. Пчельник, мастер крышечного цеха Н. М. Дражина и многие другие.

П. И. МАЗУР,
начальник планово-экономического отдела полиграфкомбината им. Я. Коласа.

ПОЧЕРК ГРАФИКА



Край таежный

Диапазон творческих интересов художника Владимира Садина широк: линогравюра, рисунок, монотипия, акварель, офорт, акватинта, пастель, масло. Ведущее место занимает индустриальный и мемориальный пейзаж.

Уже в ранних своих работах, посвященных строительству Солигорского калийного комбината, Садин сумел проявить свойственный ему мягкий лиризм, найти поэзию в том, что мы зачастую считаем будничным, не интересным для искусства. Правда, в листах «Бетонный завод», «Калийный комбинат», «Солигорск, Монтаж копра» еще чувствуются некоторая жесткость композиции, приблизительность тонового и пространственного решения, но позже в работах Садина появилась определенность авторского почерка, рука приобрела твердость и свободу. Лучшие листы его се-

рий «Ленкнские места в Подмосковье», «По ленкнсккм местам в Сибири», «Белоруссия индустриальная», «Северные мотивы» обладают строгой иомпозкционной заионченностью продуманных, стилистичесии последовательных произведений.

Желание преодолеть зависимость от конкретного особенно проявилось в листе «Аллея в д. Весен». Скольио ритмов, сколько силы к красоты увидел художник в обнаженных деревьях-ирасавцах, истинные размеры которых становятся ощутимо реальными лишь в сопоставленик с крохотными фкгурками людей, идущих по тенистой аллее. Таи же тонко к поэтично выгравировал В. Садин листы «Беловежсиая пуща. Косули», «Лебеди летят», «Солигорсиий иалнйный комбинат», «Дом Ленина в Гориах», «Радуга над иопрами» к другие.



Шушенское. Дом, в котором В. И. Ленкн жил в первый год ссылии.

Большкнство работ В. Садина возникло в результате творческкх поездок в Солигорск, Полоцк, на Балтийсиий флот, по ленинсиим местам и древним городам Росскк, на остров Диксон и в Крым, по сибирской тайге н Полесью, Пркбалтике, Кавказу. Память о юности вела его на землю России, где он родился, и в Белоруссию, которую освобождал от фашистов к которая стала его второй родиной, а частые встречи с В. Фаворским, Н. Жуковым, Ю. Непринцевым, длительная переписка с А. Пащенко, которые научили его любить и высоко понкмать свою профессню, многолетняя работа с детьмк в студии изобразительного искусства прк-Слуцком Доме пионеров сделали Садина ответственным за дело, которому он служкт.

Борис КРЕПАК

ЧАСЫ ДЛЯ КРАСЫ

Часы всюду: на столе, на полках, иа стеллаже... Кабинетные, напольные, настольные, каретные, карманные, иаручные... Их так много, что разбегаются глаза. И все они идут, отсчитывают время. Тиктаканье одних—солидно размеренное, басовитое, других—торопливое, на высоких нотах...

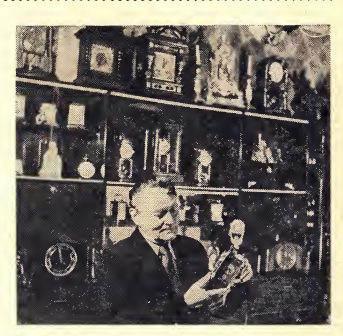


Фото Э. Кобяка.

Мир собирательства богат и разиообразен. Чего только не коллекционируют энтузиасты этого дела! Павел Иваиович Ермачков, учитель из Бреста, коллекционирует часы. У него уже более 200 часов, но среди них нет и двух одинаковых. А ведь не такто легко найти старинные ходики с оригинальным механизмом, представляющие к тому же художественную ценность.

Есть в его коллекции и собсем уникальные часы, как, скажем, вот эти: в окошечке, отсчитывая время, кукуют кукушки, поют перепела, играет гармоникт. Павел Иванович ценит их ие столько за механизм, сколько за корпус, его художественное оформление.

— Механизм меня интересует лищь постольку,—говорит он,—поскольку дает возможность проследить развитие технической мысли часовых дел мастеров. А вот кор-

корпусом часов нельзя не восхищаться. Обратите внимание: резчик использовал сюжеты басен Крылова. И сделал это с большим художественным вкусом.

К сожалению, часовые мастера не имели обыкновения ставить на изделиях свое имя и год изготовления. Но по манере работы, особенностям механизма Павел Иванович с достаточной точностью определяет «возраст» своих экспонатов. Большинство часов его коллекции сработано в XVIII—XIX веках. Многие из них, прежде чем попасть в его руки, десятками лет лежали на чердаках: износившиеся механизмы не брался ремонтировать ни один мастер. Месяцами колдовал Павел Иванович над давно застывшими, проржавевшими механизмами и не было случая, чтобы не разгадал их секрет, не заставил часы снова отсчитывать время.

— Родом я со Смоленщины,— рассказывает Павел Иванович.— Помню, мой дядя, участник первой империалистической войны, был награжден за отличную стрельбу именными карманными часами. Прошли годы, часы остановились и он подарил их мне, тогда ученику седьмого класса. Я решил их отремонтировать. Разобрал механизм, почистил, собрал. Часы пошли. С этого все и началось...

Кроме коллекционирования часов, есть у Павла Ивановича еще одно увлечение: игра на гармошке. Фронтовые друзья, когда окончилась война, подарили командиру батареи П. И. Ермачкову именной аккордеон, который и сейчас играет. Но предпочтение Павел Иванович отдает все-таки гармошке.

Владимир **МАЛАШЕВСКИЙ**

„ИЗЪЯТЬ КРАМОЛЬНЫЕ КНИГИ...“

1906 год. Брестский уезд— глухая окраина царской России. Но и сюда доходит свет идей первой русской революции. Учитель народной школы Антон Зенкевич совместно со студентами Петербургского университета Сергеем Романским и Сергеем Босяковым открывает в деревне Остромечево бесплатную народную библиотеку-читальню, одну из первых в Белоруссии. Библиотека была основана на средства прогрессивного русского книгоиздателя Флорентия Федоровича Павленкова, пополнялась за счет пожертвований крестьян и прогрессивной интеллигенции.

Об Остромечевской библиотеке знали Максим Горький и Янка Купала. Они приняли активное участие в ее создании, присылали свои книги, среди которых были «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике». Крестьяне читали эти книги вместе с революционными листовками.

Глухой осенней ночью 1906 года жандармский ротмистр с подручными устроили в библиотеке обыск. В предписании говорилось: «найти и изъять крамольные книги, а их распространителей—арестовать». Но крестьяне заранее позаботились о своей библиотеке: «крамола» была надежно спрятана.

Библиотека продолжала свою деятельность. В 1907 году ее фонд насчитывал уже 1039 книг. Тогда же белорусская газета «Наша нива» поместила корреспонденцию «Народная библиотека в Остромечево». Эпиграфом к ней были взяты стихи Я. Купалы:

К свабодзе, роўнасці
і знанню
Мы працярэбім сабе след,
І будзе ўнукам панаванне
Там, дзе сягоння плача
дзед.

Трудной была дальнейшая судьба библиотеки. Трижды ее фонд уничтожали пожары военных лихолетий, но каждый раз она возобновляла свою работу.

В январе прошлого года работники культуры области торжественно отметили 70-летие библиотеки. Ныне она носит имя Ф. Ф. Павленкова. Ее фонд насчитывает 13 тысяч книг, пользуются ими 600 читателей. Продолжая многолетние традиции, библиотека служит надежным помощником партийной организации совхоза в коммунистическом воспитании трудящихся.

Николай **БАСУЧКОВ**

г. Брест.

Художественный редактор **Л. И. Шанинко.**
Технический редактор **Г. Л. Калечиц.**
Корректоры **Т. А. Никифорович, Н. А. Черняк.**

Материалы, присылаемые в редакцию, должны быть напечатаны на машинке через два интервала. Рукописи объемом меньше авторского листа (22—24 стр. на машинке) не возвращаются.

Адрес редакции: 220600, г. Минск, Ленинский проспект, 39.

Телефоны: главного редактора—33-10-72, заместителя главного редактора—33-25-24, ответственного секретаря—33-14-62, отдела прозы—33-38-45, отдела поэзии—33-24-52, отдела публицистики и очерка—33-18-29, отдела искусства, критики и библиографии—33-41-88, отдела художественно-технического оформления и корректоров—33-14-61.

АТ 10522. Сдано в набор 10/XII 1976 г. Подп. к печати 26/I 1977 г. Зак. 660. Бумага 70×108 1/16. **Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 18,3. Тираж 140 853 экз. Цена 50 коп.**

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79.



Л. Шакинко. Зимняя дорога.

Цена 50 коп.

Индекс 74968

ЧИТАЙТЕ

в следующем номере:

«Невыдуманные истории» — новеллы Алексея Карпюка,

стихи Владимира Грядовкина, Федора Жички, Василя Зуенка;

«Следствие продолжается» — повесть Николая Чергинца (окончание).

«НЕМАН» СП БССР, № 3, 1—192.